

ЖАК ЛАКАН: Семинары, Книга I

ББК 87.3
Л 86

Перевод с французского –
Марии Титовой, А. Черноглазова (Приложения)
Редактура перевода –
А. Черноглазова при участии П. Скрябина (Париж)
Корректор – Д. Лунгина
Художественное оформление
Андрея Бондаренко

КНИГА ИЗДАНА ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРИ СОДЕЙСТВИИ ФРАНЦУЗСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ

OUVRAGE RÉALISÉ AVEC L'APPUI ET LE SOUTIEN DU MINISTERE FRANÇAIS DES AFFAÎRES ETRANGERES, DU CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE MOSCOU

Лакан Ж.
Л 86 Семинары, Книга I: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54). Пер. с фр. / Перевод М. Титовой, А. Черноглазова (Приложения). М.: ИТДГК "Гнозис", Издательство "Логос" 1998. – 432 с.

ISBN 5-7333-0477-4



LE SEMINAIRE

LES ÉCRITS TECHNIQUES DE FREUD

LIVRE 1

(1953/1954)

Texte etabli par Jacques-Alain Miller

ÉDITIONS DU SEUIL
PARIS
1975

ЖАК ЛАКАН

СЕМИНАРЫ КНИГА 1

РАБОТЫ ФРЕЙДА ПО ТЕХНИКЕ ПСИХОАНАЛИЗА (1953/1954)

В редакции Жака-Алэна Миллера

ГНОЗИС/
/ЛОГОС

МОСКВА
1998

ВСТУПЛЕНИЕ

Прервать молчание Мэтр может чем угодно – сарказмом или пинком ноги.

Именно так, согласно технике дзэн, поступает в изыскании смысла буддистский учитель. Искать ответ на их вопросы надлежит самим ученикам. Учитель не преподает *ex cathedra* уже готовую науку, он преподносит ответ в тот самый момент, когда ученики готовы его найти.

Такое обучение отказывается от всякой системы. Оно открывает мысль в движении – мысль, тем не менее, готовую к системе, поскольку в ней необходимым образом представлен аспект догматический. Мысль Фрейда более, чем какая-либо открыта пересмотру. Ошибочно сводить ее к избитым фразам. Каждое понятие живет у него собственной жизнью. В этом как раз и состоит диалектика.

Одни из этих понятий оказывались в какой-то момент нужны Фрейду чтобы дать ответ на вопрос, поставленный ранее в других терминах, и уловить их значимость можно лишь поместив их вновь в соответствующий контекст.

Однако одной историей, историей мысли, нам тут не обойтись. Недостаточно, сказать, что Фрейд появился в век сциентизма, ведь с "Толкованием сновидений" (на французском – "Науки снов") вводится нечто совершенно особой природы, нечто, обладающее конкретной психологической плотностью, – а именно, смысл.

Вычитывать что-то в снах – с точки зрения сциентизма, Фрейд возвращается к наиболее архаической мысли. Затем он вновь обращается к каузальному объяснению. Но толкование сновидений всегда целиком погружает нас в область смысла. Речь здесь идет о субъективности человека в его желаниях, в его отношениях к окружению, к другим, к самой жизни.

Наша задача – заново ввести регистр смысла, регистр, который и сам нужно поместить на подобающий ему уровень.

Брюкке, Людвиг, Гельмгольц, Дюбуа-Реймон установили нечто вроде принятой веры – все приводимо к физическим силам,

притяжению и отталкиванию. Задав себе такие посылки, исследователь не ищет оснований выходить за их пределы. Если Фрейд вышел за эти рамки, то потому, что его посылки были иными. Он решился придать значение тому, что происходило с ним самим – противоречиям собственного детства, невротическим расстройствам, собственным снам. И поэтому Фрейд предстает нам, как и любой другой человек, в окружении случайных подробностей своей частной жизни – смерти, женщины, отца.

Все это представляет собой возвращение к истокам и вряд ли заслуживает названия науки. Психоанализ подобен искусству хорошего мясника, с умением разделывающего тушу животного, разделяя суставы с наименьшим сопротивлением. Известно, что для каждой структуры существует свойственный ей способ концептуализации. Но поскольку на этом пути возникают осложнения, то многие предпочитают придерживаться монистического понятия логического выведения мира. Тут-то и возникает путаница.

Весьма уместно заметить, что расчленение мы производим не с помощью ножа, а с помощью понятий. Понятия обладают особого рода реальностью. Они не возникают из человеческого опыта – иначе бы они были уже готовыми. Первые наименования вытекают из самих слов, они являются инструментами для очерчивания вещей. Всякая наука, таким образом, долго остается во тьме, стесненная обыденным языком.

Сперва нам приходится прибегать к помощи такого чрезвычайно неудовлетворительного инструмента, как закостеневший в обыденной речи язык. И время от времени случаются вдруг резкие изменения – например, от "воспламеняющегося" (флогистона) к кислороду. Ведь Лавуазье одновременно с его открытием флогистона привносит качественное понятие – кислород. Трудность коренится в том, что ввести символы, математические или другие, можно лишь с помощью обыденного языка, поскольку необходимо объяснить, для чего они служат. Тогда поневоле оказываешься на определенном уровне человеческого обмена, в нашем случае – это уровень терапевта. То же самое было и с Фрейдом, несмотря на его отпирательства. Но как показал Джонс, он с самого начала дал себе аскетический зарок не заходить далеко в область спекулятивного мышления, к

которому от природы был весьма склонен. Он подчинил себя дисциплине фактов, лаборатории. Он отошел от некачественного языка.

Рассмотрим теперь понятие субъекта. Вводя такое понятие, вводят самого же себя. Человек, который говорит с вами, – это человек из ряда других: он пользуется некачественным языком. И тогда замешанным оказываешься ты же сам.

И поэтому Фрейд с самого начала осознает, что продвинется в анализе невротиков лишь в том случае, если будет анализировать себя самого.

Возрастающая важность, приписываемая сегодня контрпереносу, означает признание того факта, что в анализе пациент не остается один. В нем участвуют двое – и только двое.

Феноменологически, аналитическая ситуация является некоторой структурой, то есть тем, с помощью чего могут быть выделены и изолированы определенные феномены. Другая же структура, структура субъективности, позволяет людям думать, будто они понятны сами себе.

То, что человек является невротиком, может послужить ему на пользу как аналитику, как послужило это на пользу самому Фрейду. Подобно господину Журдену с его прозой, мы создаем смысл, противоречие смыслу и бессмыслицу. Оставалось лишь найти здесь линии структуры. В упоении, Юнг тоже открывает в символах снов и религий некоторые присущие человеческому роду архетипы. Это также структура, но отличная от аналитической.

Детерминизм, свойственный аналитической структуре, был введен Фрейдом. Отсюда двусмысленность, которую находят в его произведениях повсюду. Взять например, сон – это желание или признание желания? А эго, с одной стороны, является как бы пустым яйцом, поверхность которого дифференцируется посредством контакта с миром восприятия, с другой – именно от него мы слышим при каждой встрече слова "*нет*" или "*меня*", "*я*", а также безличные формы, оно говорит о других и выражает себя в различных регистрах.

Мы будем следовать технике искусства диалога. Как хорошему мяснику, нам нужно знать, какие мы встретим сочленения и сопротивления.

Сверх-Я является законом, лишенным смысла, однако опирается лишь на язык. Когда я говорю: "*Ты пойдешь направо*", я хочу позволить другому согласовать свой язык с моим. Я думаю о том, что происходит у него в голове в тот момент, когда я с ним говорю. Это усилие для нахождения согласия устанавливает свойственную языку коммуникацию. Это *ты* настолько основополагающе, что оно выступает до сознания. Ведь и цензура, являющаяся интенциональной, делает, тем не менее, свой ход в игре прежде сознания, она действует предупредительно. "*Ты*" – это не сигнал, но отнесенность к другому, это приказ и влюбленность.

Точно так же идеал собственного Я является средством защиты, увековеченным собственным Я ради продления удовлетворенности субъекта. Но вместе с тем это и функция наиболее гнетущая, оказывающая наиболее сильное депрессивное воздействие, в психиатрическом смысле.

Понятие "оно", *id*, нельзя сводить к чистым объективным данным, к влечениям субъекта. Анализ никогда не заканчивался определением доли агрессивности или эротизма субъекта. Точка, к которой продвигается анализ, предельная точка диалектики экзистенциального распознавания – "*Ты есть это*". Идеал этот в действительности никогда не достигался.

Идеалом анализа не является полное самообладание, бесстрастие. Речь идет о том, чтобы субъект стал способен поддерживать аналитический диалог, говорить не слишком рано и не слишком поздно. Вот к чему стремится дидактический анализ.

Введение порядка обусловленности в человеческое существование, в область смысла называется разумом. Открытие Фрейда – это открытие разума на новой, еще не возделанной почве.

18 ноября 1953 года[*]

---

[*] *Продолжение этой лекции и все лекции конца 1953 года отсутствуют.*



МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ

I

ВВЕДЕНИЕ К КОММЕНТАРИЮ РАБОТ ФРЕЙДА ПО ТЕХНИКЕ ПСИХОАНАЛИЗА

Семинар.
Путаница в анализе.
История не является прошлым.
Теория эго.

Пожелав вам всего наилучшего в Новом году, я охотно начну нашу работу со слов: "*Довольно смеха*!".

В течение последнего семестра вам ровно ничего не приходилось делать, кроме как слушать меня. Торжественно заявляю вам, что в этом начинающемся семестре я рассчитываю, надеюсь, смею надеяться, что также и мне случится вас немного послушать.

Таков уж закон и традиции семинара: те, кто в нем участвуют, привносят более чем одно личное усилие – сотрудничество в плодотворном общении. Плодотворным же может быть лишь участие тех, кто самым непосредственным образом заинтересован в этой работе, для кого наши семинары, посвященные текстам, полны смысла, кто вовлечен в разных статусах в нашу практику. Безусловно, и от меня вы будете получать ответы, насколько я способен буду дать их вам.

Особенно ощутимыми для меня были бы по возможности максимальные усилия всех вас в содействии новой стадии нашего семинара. А под этим максимумом я понимаю то, что в ответ на мое предложение заняться той или иной частью нашего общего дела, я не услышу вялых заверений об отсутствии времени именно на этой неделе.

Я обращаюсь к тем, кто входит в состав представляемой нами психоаналитической группы. Мне хотелось бы увидеть у вас ясное осознание цели создания нашей группы как автономной организации. Ведь затронуто здесь ни больше ни меньше как будущее каждого из нас, как смысл всего, что мы делаем и что предстоит нам сделать в дальнейшем. И я не понимаю, зачем вы

здесь присутствуете, если вошли в эту группу не для того, чтобы задаться вопросом об основаниях всей вашей деятельности. Для того, кто не почувствовал смысл этой задачи, лучше было бы с нами не связываться, а присоединиться вместо этого к какой-либо форме бюрократии.

1

Подобные размышления, на мой взгляд, особенно уместны теперь, когда мы приступаем к изучению того, что обычно называют "*Работами Фрейда по технике психоанализа*".

Термин "*Работы по технике психоанализа*" уже зафиксирован определенной традицией. При жизни Фрейда выходит маленький сборник in-octavo под названием "*Kleine Neurosen Schrifte*". Это был томик избранных работ Фрейда 1904-1919 гг., название, форма и содержание которых указывали на то, что речь в них идет о психоаналитическом методе.

Подобная форма была обусловлена необходимостью сделать определенные предостережения неискушенному практику, вознамерившемуся пуститься в анализ, и оградить его от ряда неясностей, касающихся практического метода и его сути.

Некоторые отрывки данных работ крайне важны для понимания того, какой путь был проделан за эти годы в плане теоретической разработки практики анализа. Здесь можно видеть постепенное появление основных для постижения способа действия аналитической терапии понятий: понятия сопротивления и функции переноса, способа действия и вмешательства в переносе и даже, в определенной степени, главной роли невроза переноса. Таким образом, излишне подчеркивать, что эта небольшая группа работ имеет для нас совершенно особый интерес.

Безусловно, такой способ группировки не полностью удовлетворяет нас, и, возможно, вовсе не термин "*работы по технике психоанализа*" придает этим текстам единство, что, тем не менее, не ставит под вопрос наличие такого единства как такового. Данные тексты в своей совокупности свидетельствуют об определенном этапе фрейдовской мысли, и в этом аспекте мы и станем их изучать.

Мы можем выделить тут некоторый промежуточный этап – "*зародышевый опыт*" Фрейда, как назвал его один аналитик (чье перо обычно читателя не балует, хотя в данном случае его находка довольно удачна и красива). Данный этап предшествует разработке структурной теории.

Начало этого промежуточного этапа следует отнести ко времени между 1904 и 1909 годами.

В 1904 году появляется статья о психоаналитическом методе, и с тех пор приходилось слышать, будто именно в ней впервые появляется слово "*психоанализ*". Само по себе это неверно, поскольку данное слово употреблялось Фрейдом гораздо раньше, однако здесь, наконец, оно употребляется строго терминологически причем даже в названии статьи. 1909 годом датируются лекции в *Clark University* и путешествие Фрейда в Америку в сопровождении его последователя – Юнга.

Если же мы обратимся к 1920 году, мы станем свидетелями создания теории инстанций – теории структурной или также метапсихологической, как назвал ее Фрейд. Здесь его опыт и открытие получают иную, дальнейшую разработку.

Как видите, так называемые технические работы выстраиваются в промежутке между двумя этими этапными моментами. Вот что придает им смысл, и неверно думать, будто единство их состоит в том, что речь в них идет о технике.

В определенном смысле Фрейд никогда не переставал говорить о технике. Мне нет необходимости напоминать вам о "*Studien über Hysterie*", в которых представлено подробное изложение открытия аналитической техники, где мы видим ее в становлении, и именно это составляет ценность данных исследований. Пожелавшему сделать полное систематическое изложение развития техники у Фрейда следовало бы начать как раз с них. Основанием тому, что мы не обратились к "*Studien über Hysterie*", послужила их элементарная недоступность, поскольку не все из вас читают на немецком, ни даже на английском. Впрочем, есть и другие основания, заставившие меня предпочесть "*Работы по технике психоанализа*".

Даже в "*Толковании сновидений*" речь постоянно идет о технике. Оставляя в стороне работы по мифологической, этнографической, культурологической теме, нельзя назвать ни единого

произведения, где Фрейд не прибавлял бы чего-нибудь о технике. Излишне подчеркивать, что такая работа, как "*Анализ завершенный и анализ без завершения*", вышедшая в 1934 году, является одной из самых важных работ, касающихся техники.

Теперь я хотел бы поговорить о том характере, который, на мой взгляд, должна носить в этом семестре наша работа над комментарием данных текстов. Важно определиться в этом уже сегодня.

2

Если бы мы собрались здесь, чтобы склониться в восхищении и изумлении над текстами Фрейда, мы, очевидно, получили бы полное удовлетворение.

Своей свежестью и живостью эти работы нисколько не уступают другим текстам Фрейда. Порой его личность столь непосредственно раскрывается в них, что невозможно не разглядеть ее. Простота и искренность тона уже сами по себе являются своего рода уроком.

В частности, та легкость, с которой Фрейд подходит к вопросу о подлежащих соблюдению практических правилах, свидетельствует нам о том, что для него самого речь здесь идет всего-навсего об инструменте – подобным образом говорят о подходящем молотке. "*Для моей руки он удобен*", – таков общий смысл его слов, – "*и вот как я привык его держать. Другие, возможно, предпочли бы другой инструмент, более для них подходящий*". В самих текстах найдутся отрывки, где та же мысль выражена еще яснее, чем в этом моем сравнении.

Значительная свобода характерна в этих работах и для трактовки проблемы формализации технических правил, что уже само по себе достаточно поучительно и даже при первом чтении приносит свои плоды. Нет ничего более здорового и раскрепощающего. Здесь как нельзя лучше видно, что суть вопроса совсем в другом.

Кроме того, в отрывках, возможно, второго плана, но довольно заметных, открывается еще и другой аспект. В способе, которым Фрейд выражает в них то, что можно было бы назвать путями истины его мысли, раскрывается страдающий характер его личности, не покидавшее его чувство неизбежности автори-

тарной власти, сопровождающееся умалением всего, что может ожидать от своих слушателей и последователей тот, кому есть что передать или преподать. В его текстах довольно часто встречается какое-то подспудное недоверие к способу понимания и применения его идей. Я думаю – да и вы сами убедитесь, – что ему свойственно было какое-то совершенно особое умаление предоставленного ему современной эпохой человеческого материала. Вот где кроется разгадка того, что Фрейд, в противоположность написанному в его работах, использовал весь вес своей власти чтобы обеспечить, как он думал, анализу будущее. Он был одновременно нетерпим ко всякого рода отклонениям – весьма действенным и не преминувшим проявиться – и беспрекословно требователен в отношении сложившихся вокруг него форм передачи психоаналитического учения.

Сказанное является лишь кратким обзором того, что дает нам это чтение для понимания исторического аспекта деятельности и влияния Фрейда. Безусловно, мы не станем ограничиваться этим аспектом, ибо предприятие это – сколь бы интересным, стимулирующим, приятным и раскрепощающим оно ни казалось – было бы все же не слишком плодотворным.

До сих пор я обращался к комментарию Фрейда лишь в поисках ответа на вопрос – *что мы делаем, когда занимаемся анализом?* В рамках той же традиции будет проходить и изучение "*Работ по технике психоанализа*". Итак, я буду ориентироваться на действительность аналитической техники, на все то, что вокруг нее говорится, пишется и практикуется.

Я думаю, если не большинство, то по крайней мере часть из вас уже усвоила себе следующее. Оценивая тот способ, каким различные люди, практикующие анализ, мыслят, определяют, понимают свою технику, можно без всяких преувеличений говорить о воцарившейся здесь полнейшей путанице – я говорю о настоящем дне, о 1954 годе, еще совсем юном и новом. Мне остается поставить вас перед фактом, что в настоящее время среди думающих аналитиков (что уже сужает их круг), возможно, не найдется и двух, одинаково представляющих себе действие, цели, возможности и смысл психоанализа.

Мы даже могли бы позабавиться игрой, которая состояла бы в сравнении крайних концепций, – мы увидели бы, что они

приводят к прямо противоположным формулировкам. Нам не пришлось бы тут искать любителей парадоксов, которые, впрочем, не так уж многочисленны. Уже одна сложность материала не побуждает теоретиков стремиться при его освоении к оригинальности, так что в измышлениях по поводу терапевтических результатов, их форм, методов и путей достижения и юмор, как правило, отсутствует. Исследователи довольствуются тем, что цепляются за балюстраду, парапет какой-либо части фрейдовских теоретических разработок. Только это и дает каждому гарантию, что он еще сохраняет нечто общее со своими собратьями и коллегами. Именно через посредство фрейдовского языка поддерживается обмен между практиками, создающими себе концепции, явно отличные от их терапевтической деятельности и еще более далекие от общей формы того типа межчеловеческих отношений, который называется психоанализом.

Произнося слова "*межчеловеческие отношения*", я, как вы видите, говорю об уже сложившемся на сегодняшний день положении вещей. В самом деле, разработка понятия отношения аналитика и анализируемого стала как раз тем путем, которому следуют современные доктрины в поисках основания, соответствующего конкретике опыта. Таково, безусловно, самое плодотворное направление, сложившееся в психоанализе после смерти Фрейда. М. Балинт называет его *two-bodies' psychology* – впрочем, этот термин не ему принадлежит, а был заимствован им у покойного Рикмана, одного из редких в среде аналитиков после смерти Фрейда людей, обладавших некоторой теоретической оригинальностью. Именно вокруг данной формулы легко объединяются все исследования об объектном отношении, о значении контр-переноса и о некоторых родственных им терминах, прежде всего – фантазме. Воображаемое взаимореагирование анализируемого и аналитика являются, таким образом, фактором, который нам придется принять в расчет.

Окажемся ли мы таким образом на пути к более ясному видению наших проблем? С одной стороны – да, с другой – нет.

Проведение подобного рода исследования представляет собой большой интерес, поскольку в нем особенно ясно выступает оригинальность всего, о чем идет речь по сравнению с *one-body's psychology*, обычной конструктивной психологией. Одна-

ко достаточно ли сказать, что речь идет об отношении между двумя индивидами? Именно через эту призму становятся видны тупики современной теории аналитической техники.

Я не могу сейчас ничего к этому добавить, хотя для тех, кто уже не впервые присутствует на моем семинаре, должно быть понятно, что не бывает *two-bodies' psychology* без вмешательства третьего элемента. Если принять речь – как и положено – в качестве центральной точки перспективы, то во всей своей полноте аналитический опыт должен формулироваться в тройственном, а не двойственном отношении.

Безусловно, некоторые фрагменты, отрывки, важные грани этого опыта возможно выразить и в другом регистре. Понятными тогда становятся те трудности, с которыми сталкиваются теоретики: если основание интераналитического отношения действительно представимо лишь в виде триады, то существует множество способов выбрать из этой триады два элемента. Можно поставить акцент на любое из трех диадических отношений, установившихся внутри триады. Вы увидите, что на этой основе легко построить практическую классификацию целого ряда теоретических моделей психоаналитической техники.

3

Мои размышления могли вам показаться несколько абстрактными, и я попытаюсь сказать вам нечто более конкретное, чтобы ввести вас в курс дела.

Я напомню вам вкратце "зародышевый" опыт Фрейда, о котором я только что говорил, поскольку, по сути дела, именно он в значительной мере составлял объект наших лекций последнего семестра, который целиком был посвящен той идее, что полное восстановление истории субъекта как раз и является главным, определяющим, структурирующим элементом аналитического прогресса.

Я думаю, мне удалось показать вам, что Фрейд исходил именно из этого. Всякий раз он пытался постичь случай в его особенности. Вот что составляет ценность каждого из пяти больших анализов. Мы уже продемонстрировали это на примере трех случаев, которые рассматривали, изучали, прорабатывали вместе в предшествующие годы. Новаторство Фрейда, его от-

крытие заключается в том, что он рассматривает каждый случай как единственный в своем роде.

При таком подходе интересом, сутью, основой анализа, особым присущим ему измерением становится реинтеграция субъектом собственной истории вплоть до ее последних ощутимых границ, то есть – до некоторого измерения намного выходящего за границы индивидуальные. Обосновать это, вывести, продемонстрировать на многочисленных примерах из текстов Фрейда – вот что было нашей общей задачей в течение последних лет.

К обнаружению этого измерения привело нас то, что в каждом случае Фрейд выделяет определенные точки, которые техника призвана завоевать и которые я называю ситуациями истории. Что это – акцент на прошлое, как может показаться с первого взгляда? Я уже замечал, что все не так просто. История не является прошлым. История есть прошлое лишь настолько, насколько прошлое историзировано в настоящем – историзировано в настоящем потому, что было пережито в прошлом.

Путь воссоздания истории субъекта принимает форму поиска воссоздания прошлого. В таком воссоздании следует видеть цель различных путей практики.

Вы увидите, что первоочередное внимание к воссозданию прошлого сохранялось на всем протяжении творчества Фрейда, как свидетельствуют о том повсеместные практические указания. Вот почему воссоздание истории оказывается в центре постановки тех же вопросов, что были выявлены фрейдовским открытием, – вопросы эти, которых анализ до сих пор избегал, касаются функции времени в реализации человеческого субъекта.

Если вернуться к корням, не в смысле историческом, а в смысле источника, фрейдовского опыта, то станет понятным, что именно воссоздание прошлого всегда позволяло выжить психоанализу, несмотря на существенное различие его конкретных облачений. Фрейд всегда вновь и вновь ставит акцент на воссоздании прошлого, даже тогда, когда с появлением концепции трех инстанций (или, точнее, четырех, как вы позже увидите) происходит существенное, с точки зрения структуры, развертывание, создавшее благоприятную почву для новой на-

правленности анализа, который все более и более будет ориентирован аналитическим отношением в настоящем, актуальностью сеанса в четырех стенах.

В качестве подтверждения моим словам, мне достаточно лишь напомнить вам о статье, опубликованной Фрейдом в 1934 году, "*Konstruktionen in der Analyse*", где речь еще и еще раз идет о реконструкции истории субъекта. Нельзя найти более показательного примера стойкости этой точки зрения на всем протяжении творчества Фрейда. Здесь мы видим как бы последнюю степень упорства в этой стержневой теме. Данная статья является как бы эссенцией, острием, последним словом того, что находится в центре внимания постоянно, например – в столь значительном труде, как "*Человек с волками*": какова ценность реконструкций прошлого субъекта?

Можно сказать, что Фрейд приходит здесь – но заметно это и во многих других местах его творчества – к представлению, выявившемуся во время наших бесед последнего семестра и состоящему примерно в следующем: тот факт, что субъект переживает вновь, припоминает, в интуитивном смысле слова, формирующие события его существования, не является сам по себе столь важным. Важно лишь то, *что* он таким образом реконструирует.

На этот счет есть поразительные высказывания. В конечном итоге, пишет Фрейд, *Träume*, сны, *sind auch erinnern*, также являются способом вспоминать. Он говорит даже, что воспоминания-экраны уже сами по себе являются вполне удовлетворительной репрезентацией того, о чем идет речь. Конечно, в их явленной форме воспоминания, они таковыми не являются, но, пройдя необходимую разработку, они дают нам эквивалент того, что мы ищем.

Ну, и к чему же мы, наконец, пришли? Мы пришли в рамках концепции самого Фрейда, к той мысли, что речь идет о чтении, о квалифицированном экспериментальном переводе тайнописи того, что занимает в настоящий момент сознание субъекта – тайнописи, рассказывающей о нем самом – вы думаете? – нет, не только о нем, но и обо всем, то есть – о всей совокупности его системы.

Воссоздание целостности субъекта, как я вам только что сказал, предстает в виде реставрации прошлого. Однако упор скорее делается на реконструкцию, нежели на переживание заново в так называемом аффективном плане. Как со всей определенностью указывают тексты Фрейда, главным является не вновь пережитое (воспоминание субъекта о чем-либо как о действительно к нему относящемся, как о действительно пережитом, что сродни ему и принято им), но реконструкция – термин, никогда не выходивший из употребления Фрейда.

Здесь есть нечто примечательное, и показавшееся бы прямо парадоксальным, если бы доступ к нему не был открыт для нас видением смысла, обретаемого им в регистре речи, о необходимости которого для понимания нашего опыта я не устаю повторять. Я сказал бы, что, в конечном счете, речь идет скорее не о припоминании, но о переписывании истории.

Я говорю вам только то, что есть у Фрейда. Это не значит, что он был прав, но эта мысль красной нитью проходит через все его творчество и никогда не была им оставлена. Ее невозможно сформулировать иначе, чем это сделал я – *переписывание истории* – вот формула, расставляющая по своим местам различные указания Фрейда по поводу мелких деталей анализируемых рассказов.

4

Излагаемой мной концепции Фрейда я мог бы противопоставить совершенно иные концепции аналитического опыта.

В самом деле, иногда анализ рассматривают как своего рода гомеопатическую разрядку фантазматического восприятия субъектом окружающего мира. Согласно таким взглядам, это фантазматическое восприятие должно внутри действительного опыта, имеющего место в консультационном кабинете, мало-помалу редуцироваться, трансформироваться, уравновешиваться в некотором отношении к реальному. Упор при этом (но далеко не у Фрейда) делается на трансформацию фантазматического отношения в отношение, которое называют, не утруждая себя дальнейшими поисками, реальным.

Безусловно, можно найти и другие формулировки, более открытые и утонченные, чтобы дать простор разнообразию вы-

ражения, как это сделал один уже упоминавшийся человек, писавший по вопросам техники. И все же, в конечном итоге, одно к другому сводится и порождает своеобразные последствия, о которых мы сможем поговорить попутно с комментарием текстов Фрейда.

Основной вопрос предпринятого нами изучения состоит в следующем: каким образом произошло преобразование практики, установленной Фрейдом, в только что упомянутый способ использования отношения аналитик-анализируемый?

Подобная трансформация обязана своим существованием тому, как были встречены, приняты, использованы понятия, введенные Фрейдом в следующий за этапом "*Работ по технике психоанализа*" период трех инстанций. Из трех инстанций самое большее значение приобрела первая – эго. Именно вокруг понятия эго разворачивается все дальнейшее развитие аналитической техники, и именно здесь коренятся основные сложности, связанные с теоретической разработкой данного развития практики.

Безусловно, целая пропасть отделяет наши действия в своего рода балагане, где с нами говорит больной и время от времени – мы с ним, от теоретической разработки, которую мы даем эти действиям. Даже у Фрейда такое расхождение, будучи бесконечно более сокращенным, все же остается.

Конечно, не один я задаюсь вопросом, что же, собственно, делал Фрейд? Без обиняков данный вопрос ставит Берглер и отвечает, что мы не много об этом знаем помимо того, что позволил нам увидеть сам Фрейд, когда он, также без обиняков, писал о плодах некоторых своих опытов, а именно – о пяти больших анализах. Здесь наилучшим образом открывается нам то, как действовал Фрейд. Однако вполне очевидно, что черты его опыта не могут быть воспроизведены в их конкретной реальности. И по очень простой причине – я уже настаивал на своеобразии аналитического опыта, говоря о Фрейде.

Фрейд, действительно, был первооткрывателем такого пути опыта. Как показывает его диалог с пациентом, уже одно это наделяло его совершенно особым видением. Пациент является для него, что всегда ощутимо, лишь своего рода опорой (вопросом, проверкой по случаю) на пути, по которому Фрейд

продвигается в одиночку. Отсюда и драма, в собственном смысле слова, его изыскания. Драма, продолжающаяся в каждом представленном нам случае вплоть до поражения.

Всю жизнь Фрейд следует этими путями, открытыми в ходе его опыта, и наконец, достигает того, что можно было бы назвать землей обетованной. Однако вступить на эту землю ему все же не удалось. Вот что под конец жизни не давало покоя его сознанию. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать "*Анализ завершенный и анализ без завершения*" – своего рода завещание, оставленное нам. Данная статья не является чтением, которое стоит предлагать всякому, умеющему читать, – к счастью, не так уж много людей умеет читать, – поскольку аналитику ее переварить сложно, а тем, кто аналитиком не является, тем наплевать на эту статью.

Как унаследованные нами пути будут приняты, вновь поняты, вновь обдуманы, важно для всех, кто считает себя последователем Фрейда. Поэтому нам остается лишь собрать воедино все, что мы разработаем, под рубрикой *критики*, критики аналитической техники.

Техника может иметь цену лишь постольку, поскольку мы понимаем, в чем состоит основной вопрос для аналитика, ее применяющего. Итак, отметим для начала, что нам приходится слышать об эго как о союзнике аналитика и не только союзнике, но единственном источнике познания. Как обычно пишут, нам знакомо лишь эго. Анна Фрейд, Фенихель – почти все, кто писал об анализе с 1920 года, не устают повторять: *Мы обращаемся лишь к собственному Я, лишь с собственным Я устанавливается коммуникация, всему необходимо пройти через собственное Я.*

С другой стороны, весь прогресс психологии собственного Я может быть резюмирован следующим образом: собственное Я структурировано точно так же, как симптом. Внутри субъекта оно представляет собой всего-навсего привилегированный симптом. Это исключительно человеческий симптом, душевная болезнь человека.

Толкуя собственное Я в анализе таким быстрым и кратким способом, мы как нельзя лучше обобщаем все, что вытекает из простого прочтения книги Анны Фрейд "*Человеческое Я и меха-*

низмы защиты". Вас обязательно поразит мысль, что собственное Я строится, размещается в совокупности субъекта в точности как симптом. Между ними нет ровно никакой разницы. На это чрезвычайно яркое свидетельство нечего возразить. Не менее поражает и путаница, в результате которой перечисление механизмов защиты, составляющих собственное Я, представляется одним из наиболее разнородных списков, какие только можно себе представить. Да и сама Анна Фрейд ясно это выделяет – сопоставлять вытеснение понятий с оборачиванием инстинкта против его объекта или с инверсией его целей значит ставить бок о бок элементы, которые ни в чем не однородны.

Вероятно, на данном этапе мы не способны продвинуться дальше. Но нам удалось выяснить глубокую двусмысленность концепции эго у аналитиков – вот все, чего мы достигли и что, тем не менее, является лишь своего рода заминкой, неудавшимся действием, ляпсусом.

В начале своих рассуждений об аналитической интерпретации Фенихель говорит об эго, как и все, и испытывает необходимость сказать, что эго играет главную роль, будучи функцией, посредством которой субъект узнает смысл слов. Итак, с первой же строки Фенихель попадает в самый центр проблемы. Все уже здесь. Речь идет о том, чтобы понять, превосходит ли смысл эго границы собственного Я.

Если данная функция является функцией эго (на чем, впрочем, Фенихель не настаивает), то все последующее развитие его мысли становится абсолютно непонятным. Как я сказал, данная мысль является ляпсусом, поскольку она не развернута, а развивая ее, Фенихель приходит к выводам противоположным и выдвигает утверждение, что в конечном итоге *id* и *ego* совершенно одно и то же – утверждение, которое мало что проясняет. Однако я повторяю: либо последующее изложение совершенно непостижимо, либо неверно, что эго является функцией, посредством которой субъект узнает смысл слов.

Что же такое эго? Субъект захвачен чем-то помимо смысла слов, чем-то по природе своей совершенно отличным – языком, роль которого является определяющей, основной в истории субъекта. Рассмотрение подобных вопросов относительно "*Работ по технике психоанализа*" Фрейда будет весьма плодо-

творным, с тем единственным условием, что прежде всего оно будет связано с опытом каждого из нас.

Когда мы попытаемся говорить между собой исходя из нынешнего состояния теории и техники анализа, нам важно будет также понять, что из этого состояния подразумевалось уже Фрейдом. Быть может, формулы, к которым мы пришли в нашей практике, были уже намечены Фрейдом? А в нашем способе видеть вещи – произошло определенное сужение? Или же, наоборот, развитие, происшедшее с тех пор, можно рассматривать как расширение, более строгую, более адекватную реальности систематизацию? Вот в каком регистре наш комментарий сможет обрести смысл.

5

Я хотел бы сейчас уточнить, как я себе представляю наш семинар.

Вы видели, что в конце моих последних лекций я приступил к прочтению того, что можно назвать психоаналитическим мифом. Это чтение направлено не столько на его критику, сколько на измерение масштабов реальности, с которой сталкивается этот миф, и которой он дает свой, мифический, ответ.

Что ж, когда речь заходит о технике, проблема становится более ограниченной, но и более насущной.

В самом деле, предпринятое нами исследование всего, что относится к разряду нашей техники, как раз попадает в сферу действия нашей собственной дисциплины. Если необходимо отличать акты и поступки субъекта от того, что он нам об этом сообщает на сеансе, я сказал бы, что наши конкретные действия во время аналитического сеанса так же далеки от теоретической разработки, которую мы им даем.

Однако это лишь первая истина, имеющая свое значение лишь постольку, поскольку она переворачивается и означает одновременно – *так же близки*. Глубинная абсурдность межчеловеческого поведения постижима лишь в связи с той *системой* – как счастливо назвала ее Мелани Кляйн, сама, как обычно, не понимая смысла своих слов – которая называется "собственным Я" и которая управляет, руководит субъектом, представляя собой серию защит, отрицаний, отторжений, подавлений, фунда-

ментальных фантазмов. Таким образом, наша теоретическая концепция, даже не совпадая с нашим поведением полностью, структурирует и мотивирует малейшее из наших действий в отношении пациентов.

Вот что важно. По сути дела, мы позволяем себе – ведь открыл нам анализ, что некоторые вещи мы позволяем себе без нашего ведома – вмешательство в анализ нашего эго. Но если речь действительно идет о реадаптации пациента к реальному, стоило бы все же знать, действительно ли эго аналитика предоставляет меру реального.

Безусловно, самой по себе определенной концепции эго недостаточно, чтобы впустить этого слона в посудную лавку нашего отношения к пациенту. Но, тем не менее, нельзя не сказать о существующей связи между некоторым способом понимания функции эго в анализе и пагубностью соответствующей практики анализа.

Я лишь ставлю вопрос. Решить его предстоит в ходе нашей работы. Что же, действительно, должно служить в анализе мерой? Может ли ею служить совокупность той системы мира, что у каждого из нас сложилась – я говорю о той конкретной системе, которой для ее наличия не обязательно быть сформулированной; она не относится к порядку бессознательного, но действует в способе нашего повседневного выражения в малейшей спонтанности речи.

Я полагаю, что достаточно представил тему, чтобы вы смогли увидеть для себя интерес нашей совместной работы.

Вам, Маннони, я предложил бы присоединиться к одному из ваших соседей, например Анзье, и изучить понятие сопротивления в работах Фрейда под общим заголовком "*О психоаналитической технике*" в издании *Presses Universitaires*. Вам стоит также обратиться к серии лекций "***Введения в психоанализ***". Может быть, Перье и Гранов тоже присоединятся к этой теме? Как нам поступить – будет видно. Позволим самому опыту руководить нами.

13 января 1954 года.

II

ПЕРВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Психоанализ впервые.
Материальность дискурса.
Анализ анализа.
Мегаломания Фрейда?

1

После выступления О.Маннони.

Мы рады поблагодарить Маннони за сделанное сообщение, удачно возвращающее нас к диалогу нашего семинара. Тем не менее, нельзя не отметить его явно феноменологический уклон; я же не думаю, что решение вопроса целиком лежит в такой плоскости – впрочем, он и сам, видимо, это почувствовал. Однако, говоря о межличностном механизме, он вполне верно ставит вопрос, даже несмотря на всю приблизительность в данном случае слова “механизм”.

2

Замечание, прерывающее сообщение Д.Анзье.

По поводу Люси Р. Фрейд поясняет, что он прибегал к воздействию руками тогда, когда ему удавалось достичь лишь неполного гипноза. Позже, по его свидетельству, он перестал беспокоиться на этот счет и даже не стал добиваться от пациента традиционного для классического метода ответа на вопрос: “*Вы спите?*”– поскольку ему приходилось слышать безрадостный ответ: “*Нет, я вовсе не сплю,*”– что ставило его самого в весьма затруднительное положение. Ему приходилось, объясняет он нам с чарующей наивностью, убеждать пациента, что речь идет не о том сне, о котором думает пациент, и все же, он должен быть отчасти усыплен. В этой крайне двусмысленной ситуации Фрейд совершенно ясно говорит, что испытывал страшные трудности до тех пор, пока не перестал об этом заботиться вовсе.

Однако он продолжает прибегать к надавливанию ладонями на лоб или с двух сторон головы пациента, предлагая ему сосредоточиться в этот момент на причине симптома. Здесь мы имеем дело с промежуточной между диалогом и гипнозом стадией. Симптомы рассматривались поочередно, независимо друг от друга, как прямо поставленные и ждущие ответа вопросы. Воздействие рук Фрейда убеждало пациента, что появившиеся воспоминания как раз и относились к сути дела, и больному оставалось лишь довериться им. Фрейд добавляет еще одну деталь: в момент снятия рук – мимическое воплощение снятия преграды – пациент оказывался в полном сознании и ему следовало лишь принять мысли, представшие его уму, чтобы ухватиться за нужную ниточку.

Примечательно, что для случаев, сообщенных нам Фрейдом, этот метод был безусловно эффективным. В самом деле, занятный случай Люси Р. был полностью разрешен, причем с той легкостью, которая обладает красотой итальянских примитивов. Во самом новаторстве открытия мы имеем дело со счастливым случаем, счастливым стечением двух обстоятельств. С Анной О. все сложилось иначе – перед нами предстает долгая работа *working-through*, чья содержательность и движущие силы, несмотря на используемый метод, вполне соответствуют самым современным случаям анализа – где вся совокупность событий, вся история неоднократно переживается заново, заново перерабатывается. Речь идет о работе глубокого проникновения, продолжавшейся около года. В случае Люси Р. события развиваются гораздо быстрее и поразительно элегантно. Все здесь, конечно, сжато, и мы не можем, по сути, разглядеть истинных пружин, но, тем не менее, все вполне приемлемо. Эта женщина страдала так называемыми обонятельными галлюцинациями – истерическими симптомами, значение, место и время действия которых были обнаружены исключительно счастливым образом. В связи с этим случаем Фрейд сообщает нам все детали своих процедур.

3
Idem

Я уже останавливался на совершенно особом, в силу особенностей техники Фрейда, характере рассматриваемых им случаев. О том, чем была эта техника, мы можем лишь строить предположения, исходя из некоторых данных им правил, которым он неукоснительно следовал. Признания лучших, лично знавших Фрейда авторов свидетельствуют о невозможности составить полное представление о его практическом способе действий.

Я настаиваю на том факте, что Фрейд предпринял исследование, отличное по стилю от всех прочих научных исследований. Его область – это область истины субъекта. Изыскание истины вовсе не сводимо к объективному, или даже объективирующему, исследованию в рамках общенаучного метода. Как я указывал во всех лекциях нынешнего года, речь идет об осуществлении истины субъекта как собственного измерения, которое должно быть выделено в его оригинальности по отношению к самому понятию реальности.

Фрейд целиком был погружен в исследование истины, затрагивавшее всю его личность, а следовательно, касавшееся и его воздействия на больного, его деятельность, скажем, терапевта – хотя данный термин отнюдь не достаточно определяет его позицию. По словам самого Фрейда, этот глубокий личный интерес придавал его отношениям с больными совершенно особый характер.

Безусловно, психоанализ как наука всегда изучает особенное. Всякое осуществление анализа является частным случаем, даже если такие частные случаи все же предполагают некоторую общность с тех пор, как аналитик существует уже не в единственном числе. Однако аналитический опыт Фрейда представляет собой предельную единичность в силу того, что Фрейд одновременно конституировал и верифицировал анализ как таковой. Мы не в праве отвернуться от того факта, что анализ происходит тут впервые. Конечно, отсюда выводится и метод, но методом он является лишь для других. Сам Фрейд метода не применял. И было бы ошибкой пренебречь уникальностью его опыта первопроходца.

Психоанализ является опытом частного, а поистине первоначальный опыт такого частного приобретает еще более единичный характер. Если мы не будем проводить различие между этим *первым разом* и всем, что за ним последовало, то, интересуясь не столько самой истиной, сколько возможными путями доступа к ней, мы никогда не сможем придать нужного смысла некоторым фразам, некоторым текстам, появляющимся в творчестве Фрейда и, при полном внешнем совпадении, принимающим впоследствии, в других контекстах, смысл, по сути, совершенно отличный.

Как вы сможете увидеть, да и видите уже теперь, подобный комментарий текстов Фрейда интересен тем, что позволяет нам детально рассмотреть вопросы огромной важности. Они не только многочисленны, но и скользки; собственно говоря, люди привыкли избегать их, доверяясь ритуальным, схематичным, обедненным, шаблонным формулам.

4

Анзье цитирует отрывок из "Исследований истерии", стр. 233-234 французского перевода. Лакан прерывает его.

В цитируемом вами отрывке поразительно то, что он выходит из псевдо-анатомической метафоры, которую употребляет Фрейд, говоря о словесных образах, фланирующих вдоль нервных проводников. В данном случае то, что наслаивается вокруг патогенного ядра, напоминает, скорее, пачку документов, партитуру, написанную для многих регистров. Подобные метафоры неуклонно ведут к мысли о материализации речи, не мифической материализации невропатологов, а вполне конкретной – речь начинает течь на листах отпечатанной рукописи. Вслед за тем возникает и метафора белой страницы, палимпсеста – ее можно встретить в работах многих аналитиков.

При этом возникает понятие множественности продольных наслоений, т. е. множественности нитей дискурса, предстающих в тексте в образе конкретной плотности пучков. Существует поток параллельных слов, которые, раздвигаясь в некоторый момент, окружают пресловутое патогенное ядро, также являющееся историей; они огибают его и затем соединяются вновь.

Место феномена сопротивления здесь в точности определено – в двух направлениях, продольном и радиальном. Сопротивление осуществляется в радиальном направлении в ответ на старания сблизить нити, находящиеся в центре пучка. Оно является следствием попытки перейти от внешних регистров к центру. Из ядра вытесненного исходит вполне определенная сила отталкивания. Всякое усилие добраться до нитей дискурса, наиболее близких к этому ядру, встречает сопротивление. Фрейд даже пишет – не в "*Исследованиях истерии*", а более позднем тексте, опубликованным под заглавием "*Метапсихология*", – что сила сопротивления обратно пропорциональна расстоянию от ядра вытесненного.

Я не думаю, что это точная фраза, но она просто поразительна. Она с очевидностью свидетельствует о материализации сопротивления, как его воспринимают в ходе опыта, а именно, по словам Маннони, в дискурсе субъекта. Чтобы узнать, где это происходит, где находится материальный, биологический носитель сопротивления, Фрейд смело обращается к дискурсу в качестве реальности как таковой, реальности, представляющей собой связку, пучок доказательств или же конгломерат дискурсов, перекрывающих друг друга, расположенных последовательно и формирующих собственное измерение, плотность, досье.

Фрейд не располагал понятием материального носителя речи как таковым. В наши дни он использовал бы в качестве элемента своей метафоры последовательность фонем, составляющих часть дискурса субъекта. Он сказал бы, что сопротивление становится тем сильнее, чем больше субъект приближается к дискурсу, который был бы последним и нужным, но который полностью отвергается субъектом.

В вашей попытке синтеза ускользает от внимания вопрос крайне важный для изучения сопротивления – вопрос об отношении бессознательного к сознанию. Появляется ли феномен сопротивления исключительно в анализе? Или же о нем можно говорить и тогда, когда субъект находится вне анализа и даже еще ни разу с психоанализом не сталкивался или уже прекратил посещать аналитика? Имеет ли сопротивление смысл вне анализа?

Я хочу упомянуть об одном тексте, где речь идет о сопротивлении в анализе сновидений. Никто из вас не ссылался на этот текст, между тем как он сообщает нам дополнительные сведения по некоторым представленным вами проблемам, поскольку Фрейд задается в нем вопросом о свойстве недоступности бессознательного. Понятие сопротивления имеет чрезвычайно долгую историю. И с самого начала, с первых исследований Фрейда, сопротивление было связано с понятием эго. Однако некоторые значительные фразы из текста "*Studien*", где речь идет не только об эго как таковом, но об эго как представителе идеациональной массы, наводят нас на мысль, что трудности, с которыми сталкиваются сегодня исследователи при работе с понятием эго, были заложены уже у Фрейда. Я сказал бы даже, что данное понятие оказывает свое воздействие задним числом. При чтении этих первых высказываний в свете того, что было выработано с тех пор вокруг эго, создается впечатление, что наиболее новые формулировки скорее скрывают, нежели проясняют суть дела.

Вы, конечно, почувствуете в выражении "*идеациональная масса*" нечто сродни предложенной мной формуле: контрперенос – это не что иное, как функция эго аналитика, как сумма его предрассудков. Точно так же у пациента можно обнаружить целую сеть убеждений, поверий, координат, отнесений, составляющих, собственно говоря, то, что Фрейд с самого начала называл идеациональной системой и что мы сокращенно можем назвать "*системой вообще*".

Исходит ли сопротивление единственно оттуда? Когда на границе той области речи, которая как раз и является идеациональной массой собственного Я, возникает, как я говорил, итог безмолвия, после которого вновь появляется другая речь (и как раз ее-то и нужно отвоевать у бессознательного, поскольку она является отделенной от истории субъекта частью), – есть ли здесь сопротивление? Верно ли, что просто-напросто организация собственного Я как таковая конституирует сопротивление? Этим ли обусловлена трудность доступа в "*радиальном направлении*" к содержанию бессознательного? Вот совсем простой вопрос, слишком простой – до неразрешимости.

К счастью, за первые 30 лет нашего века аналитическая техника достаточно продвинулась вперед, прошла достаточно много экспериментальных фаз, чтобы мы смогли данные вопросы дифференцировать. Итак, как видите, мы приходим к мысли – я предупреждал вас, что таковой будет модель нашего исследования, – что развитие, превратности аналитического опыта дают нам сведения о самой природе этого опыта, поскольку он также является человеческим опытом – опытом, скрытым от себя самого. Вот что значит применить к анализу обозначенную им самим схему. В конце концов, не является ли он сам окольным путем к бессознательному? Говорить так значит возвести проблему, поставленную неврозом, во вторую степень. Сегодня мне придется ограничиться лишь утверждениями, но доказательства вы получите в ходе нашей работы.

Что может являться моей целью как не выход из теперешнего тупика в мышлении и практике, характеризующего современное положение психоанализа? Как вы видите, уже предложенные мной формулировки преследуют далеко идущие цели – необходимо подчинить сам анализ операциональной схеме, которую он же нам и преподал и которая состоит в вычитывании в различных фазах его теоретико-технической разработки опорных точек для продвижения вперед в возобновленном завоевании субъектом подлинной реальности бессознательного.

Такой метод позволит нам намного превзойти простое формальное перечисление приемов или концептуальных категорий. Возвращение к психоанализу в аналитическом изучении его самого послужит шагом, который покажет его плодотворность в отношении техники, как это уже случилось в отношении клинических текстов Фрейда.

5

Выступления по ходу дискуссии.

Психоаналитические тексты изобилуют методическими неточностями. В них встречаются темы, которые сложно толковать, вербализовать, не подыскав сказуемому какое-нибудь подлежащее; так, читаем мы, от эго исходит сигнал тревоги, эго управляет инстинктом жизни, инстинктом смерти – и уже неясно, где же главное, направляющее, ориентир. Все это довольно

сомнительно. В аналитических текстах то и дело появляются маленькие демоны Максвелла, демоны проницательности, ума... Досадно только, что аналитики не располагают сколько-нибудь определенным понятием о природе демонов.

Нам предстоит разобраться в том, что обозначено использованием понятия эго в текстах Фрейда на всем протяжении его творчества. Невозможно уяснить себе, что представляет собой это понятие, в том виде, в каком оно стало выступать в работах 1920 года, в исследованиях групповой психологии и в "*Я и Оно*", если начать с попытки нивелировать все в некоторой общей сумме под тем предлогом, что речь идет о постижении определенной составляющей психической жизни. В творчестве Фрейда эго вовсе не соответствует такому пониманию. И с точки зрения требований техники, это функционально важно.

Нью-йоркский триумвират в лице Гартмана, Левенштайна и Криса, пытаясь разработать психологию эго, неустанно задается одним и тем же вопросом – что хотел сказать Фрейд в его последней теории эго? Удалось ли на самом деле извлечь из этой теории практические выводы? Я не перевожу, я лишь повторяю некоторые мысли из двух или трех последних статей Гартмана. В *Psychoanalytic Quarterly* за 1951 год вы найдете три статьи Левенштайна, Криса и Гартмана, посвященные данной теме – их стоит прочитать. Нельзя сказать, что итогом данных работ явилась какая-нибудь удовлетворительная формулировка, но изыскания авторов идут как раз в этом направлении. Исследователями были предложены теоретические принципы, содержащие важные прикладные следствия, как они утверждают, ранее не замеченные. Весьма любопытно проследить за этой работой по тем статьям, которые следовали друг за другом в течение нескольких лет, особенно в послевоенные годы. Я полагаю, что они являют собой очень показательный провал, который должен послужить нам уроком.

Во всяком случае, между понятием эго, представленным в *Studien* как идеациональная масса, как содержание процесса образования идей, и еще проблематичной для нас последней теорией эго, такой, какой создал ее сам Фрейд после 1920 года, существует промежуточное поле, изучением которого мы и займемся.

Каким образом появилась на свет последняя теория эго? Ее с полным основанием можно назвать пиком теоретической разработки Фрейда, чрезвычайно оригинальной и новой теорией. Тогда как Гартман приписывает ей стремление слиться с классической психологией.

И то и другое верно. Эта теория, замечает Крис, включает психоанализ в общую психологию и в то же время является беспрецедентным новшеством. Парадокс этот окажется для нас плодотворным независимо от того, займемся ли мы до каникул техническими работами или же станем изучать ту же проблему по работе Шребера.

....

В статье Бергмана в качестве *Germinal cell*, зародышевой клетки аналитического наблюдения рассматривается понятие обнаружения и восстановления утраченного прошлого. Автор ссылается на *"Studien über Hysterie"* чтобы показать, что для Фрейда, вплоть до последних моментов его творчества, до последних выражений его мысли, на первом плане всегда оставалось понятие прошлого в самых различных его видах, а особенно – в аспекте реконструкции. Таким образом, в данной статье опыт сопротивления вовсе не рассматривается в качестве центрального.

....

Г-н Ипполит намекает на тот факт, что анатомические работы Фрейда могут быть рассмотрены как значительные достижения и были приняты в качестве таковых. Проводя же опыты по физиологии, он остается, как кажется, довольно равнодушным. Вот одна из причин того, почему он не уделял большого внимания открытию кокаина. Его физиологические исследования были неактивными, поскольку они не выходили за пределы терапевтических целей. Фрейд занялся использованием кокаина в качестве анальгетика, но оставил без внимания его анестезирующее действие.

Что ж, мы должны тут упомянуть об одной черте личности Фрейда. Можно, конечно, задаваться вопросом, не была ли, как сказал *Z*, Фрейду уготовлена лучшая участь. Но мне представля-

ется неуместным говорить о том, что ориентация на психопатологию была для Фрейда своего рода компенсацией. Если обратиться к работам, опубликованным под заголовком "*Рождение психоанализа*", а также к первой из найденных рукописей, где присутствует теория психического аппарата, мы заметим, что Фрейд мыслил вполне в духе современных ему теоретических исследований механистического функционирования нервной системы – и это общепризнанно.

Стоит ли удивляться, что к этому примешиваются метафоры электрических процессов. Однако не следует забывать и о том, что именно в области нервной проводимости впервые был испытан электрический ток, когда еще никто не подозревал о его значении.

....

Z: – Я думаю, что с точки зрения клиники понятие сопротивления представляет собой опыт, который так или иначе все мы должны пройти почти со всеми пациентами в нашей практике – он сопротивляется, и это приводит меня в ярость.

Лакан: – Что вы имеете в виду?

Z: – Крайне неприятно, когда все время говоришь себе: пациент уже вот-вот увидит, он мог бы сам увидеть, он уже знает это, сам того не подозревая, ему стоит лишь посмотреть немного выше – но, глупец, идиот (и все прочие ругательства, которые приходят в голову), он этого не делает. Возникает лишь одно желание – принудить его силой...

Лакан: – Не увлекайтесь.

Ипполит: *– Единственное, что придает умный вид аналитику, – это сопротивление, когда анализируемый смотрится из-за него идиотом. Такая позиция весьма поднимает самооценку.*

Лакан: И все же ловушка контр-переноса, поскольку именно о нем идет речь, гораздо коварнее, чем то, о чем вы говорите.

....

Z: – Непосредственную власть над человеческими существами Фрейд заменяет на косвенную и более приемлемую власть, которую наука позволяет осуществлять над природой. Здесь мы снова встречаемся с механизмом интеллектуализации – понять природу и тем самым подчинить ее себе. Это не что иное, как классическая формула детерминизма, которая в данном случае косвенно отражает авторитарный характер Фрейда, оттеняющий всю его историю и особенно его отношения как с еретиками, так и с последователями.

Лакан: – Должен сказать, что если бы я и говорил в таком духе, то ни в коем случае не стал бы делать из этого ключ к открытию Фрейда.

Z: – Я вовсе не думаю, что это ключ, но это интересный момент, на который стоит обратить внимание. Если говорить о сопротивлении, то сверх-чувствительность Фрейда к сопротивлению субъекта имела отношение и к его собственному характеру.

Лакан: – Что позволяет вам говорить о сверхчувствительности Фрейда?

Z: – Тот факт, что именно он открыл сопротивление, а не Брейер, не Шарко, не кто-либо еще. Это удалось именно Фрейду, поскольку он более живо его чувствовал, и сумел разъяснить то, что ощущал.

Лакан: – По-вашему, тот факт, что функции сопротивления придается значение, свидетельствует об особой нетерпимости субъекта к тому, что ему сопротивляется? Но не наоборот ли – именно умение быть выше этой нетерпимости, действовать иначе и далеко за ее пределами позволило Фрейду сделать из сопротивления одну из пружин его терапии, фактор, который можно объективировать, назвать и применить. Вы полагаете, что Фрейд был более авторитарен, чем Шарко? – Но ведь именно Фрейд, насколько это ему удалось, отказался от внушения, чтобы позволить субъекту интегрировать то, от чего он отделен сопротивлениями. Другими словами, вопрос стоит следующим образом: кто менее авторитарен – те, кто не распознает сопро-

тивления, или те, кто признает его как таковое? Я скорее склоняюсь к мысли, что тот, кто в гипнотизме пытается сделать из субъекта собственный объект, своего рода вещь, сделать пациента мягким, как перчатка, чтобы придать ему желаемую форму, чтобы добиться от него желаемого, – тот гораздо более, чем Фрейд, движим жаждой доминировать, властвовать. Фрейд же, как представляется напротив, с уважением относится к тому, что обычно называют сопротивлением объекта.

Z: – Бесспорно.

Лакан: – Я думаю, что тут нужно быть крайне осторожным. Мы не можем с такой легкостью орудовать нашей техникой. Когда я говорю вам о необходимости проанализировать творчество Фрейда, то приступать к этому нужно со всей аналитической осмотрительностью. Нельзя делать из черты характера константу личности и еще менее – характеристику субъекта. В этом плане у Джонса есть очень неосторожные высказывания, но они все же менее резки, чем ваши. Полагать, что поприще Фрейда было лишь компенсацией его желания власти и даже откровенной мегаломании, чертами которых отмечены его работы, я думаю, это... Драма Фрейда в момент, когда он находит свой путь, не может быть резюмирована таким образом. Мы все же достаточно искушены в анализе, чтобы не чувствовать себя обязанными идентифицировать Фрейда, мечтающего о мировом господстве, с Фрейдом – зачинателем новой истины. Как мне представляется, речь здесь может идти лишь об общем либидо, но никак не об общем *cupido*.

Ипполит: – Мне все же думается – хотя я и не согласен полностью с формулировками *Z* и соответствующими заключениями – что в доминировании посредством гипнотизма Шарко речь идет лишь о доминировании над существом, сведенном к объекту, об обладании существом, которое не является более себе господином. Тогда как доминирование Фрейда представляет собой победу над субъектом – существом, которое обладает к тому же самосознанием. Таким образом, в господстве, выражающемся в победе над сопротивлением, присутствует более сильная воля к власти, чем в простом упразднении этого сопро-

тивления, – хотя отсюда и не следует заключать, что Фрейд хотел властвовать над миром.

Лакан: – Означает ли опыт Фрейда доминирование? Я всегда проявлял сдержанность в отношении многих вещей, которые в его процедурах остаются в тени. В частности, нас удивляет интервенционизм Фрейда, если сравнивать его с теми техническими принципами, которым мы придаем сегодня большое значение. Однако, вопреки сказанному Ипполитом, в этом интервенционизме нет ничего от удовлетворения одержанной победой над сознанием субъекта, чего нельзя с той же уверенностью утверждать о современных техниках, где все внимание уделяется именно сопротивлению. У Фрейда мы встречаемся с более тонким подходом, т. е. с более гуманным.

Фрейд не всегда определял то, что называют теперь интерпретацией защит (хотя это и не самое подходящее выражение). Однако в конечном счете, интерпретация содержания играет у него роль интерпретации защит.

И господин *Z* был вполне прав, упомянув об этом. Это то, чем данная интерпретация является для вас. Я постараюсь показать вам, какими окольными путями проявляется опасность принуждения субъекта посредством вмешательства аналитика. Эта опасность гораздо существеннее в так называемых современных техниках – как если бы речь здесь шла о шахматах, а не об анализе – нежели у Фрейда. Я не думаю, что теоретическое выдвижение понятия сопротивления может служить предлогом для формулирования в отношении Фрейда того обвинения, которое совершенно противоречит освобождающему эффекту его творчества и терапевтического воздействия.

Я не собираюсь порицать Вас, господин *Z*, за ваши склонности. Но склонности эти у вас налицо. Безусловно, нужно сохранять здравый критический ум даже имея дело с выдающимися работами, но в той форме, как это делаете вы, можно лишь сгустить тайну, а вовсе не пролить свет на возникающие вопросы.

20 и 27 января 1954 года.

III

СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЗАЩИТЫ

Свидетельство Анни Райх.
От эго к эго.
Реальность и фантазм о травме.
История, пережитое, пережитое вновь.

Сперва я хотел бы поблагодарить Маннони и Анзье за их выступления, где интересно были представлены животрепещущие стороны изучаемых проблем. Сообщения их отмечены остротой и даже полемичностью, вполне соответствующими уже сформировавшемуся мышлению, но лишь недавно вступившему в область если не применения анализа, то его практики. И это лишь оживляет обсуждение.

Наши коллеги затронули весьма деликатный вопрос, тем более деликатный, что, как я уже отмечал по ходу докладов, он вполне актуален для некоторых из нас.

Имплицитно в адрес Фрейда был высказан упрек в авторитаризме, как полагают, обусловившем его метод. Это парадокс. Если нечто и составляет оригинальность аналитического лечения, так это то, что с самого начала был почувствован проблематизм отношения субъекта к себе самому. Находка, в собственном смысле слова, открытие психоанализа, понимаемое в соответствии с тем, что я излагал вам в начале года, – состоит в соединении такого отношения со смыслом симптомов.

Отказ субъекта от этого смысла как раз и является его проблемой. Данный смысл не столько должен быть открыт пациенту, сколько должен быть принят им. Таким образом, психоанализ не только оказывается техникой, уважающей человеческую личность – как мы это сегодня понимаем, после того, как заметили, что это имело и свою цену – но и все его действие зависит от подобного уважения. Поэтому парадоксальными кажутся слова о том, что аналитическая техника в первую очередь имеет

своей целью силой преодолеть сопротивление субъекта. Хотя вообще данная проблема, конечно, существует.

В самом деле, не знаем ли мы, что сегодня такой аналитик ни шага не сделает в лечении, не поучая своих учеников постоянно задавать вопрос относительно пациента: *"Что еще он мог изобрести в качестве защиты?"*

Такое восприятие не является по сути детективным, в смысле обнаружения чего-либо скрытого, – данный термин более пригоден для обозначения сомнительных фаз анализа в его архаические периоды. Скорее, речь здесь идет о попытке навсегда понять, какое положение мог занять субъект, какую находку он мог сделать, чтобы оказаться в позиции, где все наши слова окажутся недейственными. Было бы неверным сказать, что они вменяют в вину субъекту некоторую недобросовестность. Поскольку такая *недобросовестность* слишком связана с причастностью порядка знания, совершенно чуждого такому состоянию ума. Подобное замечание является пока слишком проницательным. Здесь присутствует мысль о фундаментальной для субъекта злой воле. Все эти черты, я думаю, позволяют мне квалифицировать такой аналитический стиль как инквизиторский.

1

Прежде чем приступить к нашей теме, я хотел бы взять в качестве примера статью Анни Райх о контр-переносе, вышедшую в первом номере *International Journal of Psycho-analysis* за 1951 год.

Данная статья опирается на определенное практическое направление психоанализа, весьма глубоко укоренившееся в некоторой части английской школы. Исходным, как вы знаете, тут является положение, что любой анализ должен разворачиваться в *hic et nunc*. Все должно происходить в непосредственном контакте с намерениями субъекта здесь и теперь, в рамках сеанса. Безусловно, признается и то, что при этом мельком встречаются и обрывки прошлого, но считается, что, в конечном итоге, именно в опыте, испытании – я сказал бы даже, в испытывании психологической силы – внутри лечения разворачивается вся деятельность аналитика.

Вопрос именно в этом – в деятельности аналитика. Каким образом он действует? Что из его действий имеет значение?

Для упомянутых авторов, для Анни Райх ничего, кроме признания субъектом *hic et nunc* намерений его дискурса, не принимается в расчет. А данные намерения имеют ценность лишь в их значении *hic et nunc* для настоящей беседы. Пациент может описывать себя в перепалке со своим бакалейщиком или парикмахером – в реальности же он осыпает бранью персонажа, к которому он обращается, т. е. аналитика.

Здесь есть нечто правильное. И малая толика опыта супружеской жизни учит нас узнавать содержащиеся требования в том факте, что один из супругов сообщает другому о досадившем ему событии дня, а не нечто противоположное. Однако тут же может присутствовать и забота проинформировать другого человека о каком-либо важном событии, о котором важно знать. И то, и другое верно, поэтому нужно понять, о чем в конкретном случае идет речь.

Вещи, как это показывает нам история, сообщаемая Анни Райх, могут иметь и более глубокие корни. Некоторые моменты данной истории неясны, но все наводит нас на мысль, что речь идет о дидактическом анализе или, во всяком случае, об анализе человека, поле деятельности которого близко психоанализу.

Анализируемому пришлось сделать сообщение на радио по вопросу, живо интересовавшему и самого аналитика – и такое иногда случается. Оказывается, что это сообщение на радио он сделал несколькими днями после смерти своей матери. Соответственно, все указывает на то, что мать, таким образом, играет важнейшую роль в фиксациях пациента. Он, без сомнения, чрезвычайно взволнован ее смертью, но тем не менее выполняет свои обязательства совершенно блестяще. На следующем сеансе он оказывается в состоянии ступора, граничащего с помутнением рассудка. Он не только не может выйти из этого состояния, но и все, что он говорит удивляет своей несогласованностью. Аналитик дает смелую интерпретацию: "*Вы пребываете в таком состоянии, поскольку думаете, что я завидую успеху вашего радиовыступления по тому вопросу, который, как вы знаете, имеет для меня первостепенный интерес*". Вот как!

Продолжение наблюдения показывает, что субъекту потребовалось не менее года чтобы выправиться после этой интерпретации-шока, которая не была лишена определенного эффекта, поскольку пациент тотчас же пришел в себя.

Итак, вы видите, что сам по себе факт выхода субъекта из полубессознательного состояния вследствие вмешательства аналитика вовсе не доказывает, что это вмешательство было эффективным в собственно терапевтическом смысле, или, точнее, что оно было истинным в анализе. Напротив.

Анни Райх восстановила субъекта в смысле единства его собственного Я. Из смятения он резко вышел, сказав себе – *Нашелся человек, который напомнил мне, что, в самом деле, человек человеку волк и пора бы спуститься с небес на землю.* И он вновь возвращается к жизни, вновь оживляется – эффект оказывается незамедлительным. В аналитическом опыте никак нельзя рассматривать в качестве доказательства справедливости интерпретации смену субъектом стиля. Я полагаю, что доказательством справедливости интерпретации является лишь сообщение субъектом подтверждающего материала. Впрочем, на этом стоит остановиться.

По истечении года субъект замечает, что его состояние смятения было связано с оборачиванием его реакции траура, который он не мог преодолеть иначе чем изменив его направленность. Тут я отсылаю вас к психологии траура, депрессивный аспект которого достаточно известен многим из вас.

В самом деле, сообщение по радио было сделано в соответствии с совершенно особой формой речи, поскольку адресована она толпе невидимых слушателей невидимым же говорящим. Можно сказать, что в воображении говорящего эта речь была адресована не невольным ее слушателям, но точно так же всем вообще – как живым, так и мертвым. Таким образом, субъект находился в противоречивом положении – он мог сожалеть, что мать не способна быть свидетелем его успеха, но вместе с тем, возможно, нечто в дискурсе, адресованном невидимым слушателям, было предназначено именно ей.

Как бы то ни было, характер отношения субъекта становится явно обратным, псевдо-маниакальным, и его тесная связь с недавней утратой матери, привилегированного объекта его лю-

бовных уз, очевидно, является пружиной критического состояния, в котором он оказывается на следующем сеансе, после совершенного им подвига, после блестящего, несмотря на всю противоречивость обстоятельств, выполнения своих обязательств. Так, Анни Райх, будучи далека от критической оценки подобного стиля вмешательства, сама же свидетельствует о том, что интерпретация, основанная на интенциональном значении акта дискурса в настоящем моменте сеанса, подвержена всем влияниям, подразумеваемым возможным задействованием эго аналитика.

Важно не то, что сам аналитик ошибся и у нас даже нет никаких указаний на вину контр-переноса в этой интерпретации, явно опровергнутой последовавшим продолжением лечения. То, что субъект испытывал чувства, приписанные ему аналитиком, мы не только можем допустить, но, вероятно, так оно и было. Не страшно само по себе и то, что аналитик руководствовался этим в данной им интерпретации. Аналитик даже должен своевременно признаться себе в том, что он, единственный анализирующий субъект, испытывает чувство зависти, – и более того, он должен руководствоваться этим чувством как указателем. Никто не говорил, что аналитик никогда не должен испытывать чувств по отношению к своему пациенту, но он должен уметь не только не поддаваться им, ставить их на место, но и адекватно пользоваться ими в своей технике.

В данном случае именно потому, что аналитик считал необходимым искать причину отношения субъекта прежде всего в *hic et nunc,* – он и нашел ее в том, что, безусловно, существовало в интерсубъективном пространстве двух действующих лиц. Он имел удобную возможность знать об этом факте, поскольку сам испытывал враждебные чувства, по крайней мере, раздражение по поводу успеха своего пациента. Опасно то, что аналитик считал себя уполномоченным определенной техникой сразу же использовать этот факт, причем самым непосредственным образом.

Я постараюсь теперь указать вам, что я противопоставляю такому методу.

Аналитик, придерживающийся данного метода, считает законным давать интерпретацию, как я сказал бы, от эго к эго

(ego) или – позволю себе игру слов – от равного (egal) к равному, другими словами – интерпретацию, основание и механизм которой ни в чем не отличаются от механизма и основания проекции.

Когда я говорю "проекция", я не имею в виду ложность этой проекции. Важно, чтобы вы верно поняли мои объяснения. Перед тем, как стать аналитиком, я сделал одну формулу – учитывая слабость моих психологических талантов – основанием руководства, которым я пользовался для того, чтобы уравнивать некоторые ситуации. Я охотно повторял – *Чувства всегда взаимны*. И это абсолютно верно, несмотря на кажущуюся абсурдность. Если вы рассматриваете поле взаимодействия двух субъектов – я подчеркиваю, двух, а не трех, – чувства всегда окажутся взаимными.

Как вы понимаете теперь, аналитик вполне обоснованно полагал, что с тех пор, как у него появились подобные чувства, соответствующие чувства могли возникнуть и у другого. И в доказательство этому мы видим, что субъект принимает такие чувства. Хватило того, что аналитик сказал ему: "*Вы враждебно настроены, так как думаете, что я рассержен на вас*", – чтобы развить данное чувство у пациента. Оно было уже почти наготове, поскольку достаточно было малейшей искры, чтобы породить его.

У субъекта было достаточно оснований, чтобы принять интерпретацию Анни Райх, по той простой причине, что в таком близком отношении, какое существует между аналитиком и анализируемым, пациент был вполне осведомлен о чувствах аналитика, чтобы у него возникло нечто симметричное.

Весь вопрос в том, не приводит ли такой способ понимания анализа защит к определенной технике, которая почти неизбежно порождает особый род ошибок (и ошибки здесь не единичны) – нечто, предшествующее разделению на истинное и ложное. Существуют интерпретации настолько справедливые и правильные, что невозможно сказать, соответствуют ли они истине.

От такой интерпретации защиты, которую я называю от эго к эго, следует воздерживаться, какова бы ни была ее возможная

ценность. Необходимо, чтобы в интерпретации защиты всегда присутствовал по крайней мере третий элемент.

В действительности, необходимо большее. Я надеюсь, что смогу вам это показать. Но сегодня моей задачей было лишь очертить проблему.

2

Уже слишком поздно, чтобы я мог, как хотелось бы, углубиться в вопрос об отношении сопротивления к защитам. Но позволю себе, тем не менее, сделать несколько замечаний в этом направлении.

Прослушав сообщения Маннони и Анзье и продемонстрировав вам опасность, которую несет в себе определенная техника анализа защит, я считаю необходимым установить некоторые основополагающие правила.

Первое определение понятию сопротивления в свете психоанализа Фрейд дает в первой части седьмой главы "*Толкования сновидений*". Важнейшей фразой в нем является следующая: "*Was immer die Fortsetzung der Arbeit stört ist ein Widerstand*", – что означает: "*Все, что мешает продолжению работы*" – речь идет не о симптомах, а об аналитической работе, о самом процессе пользования, *Behandlung*, в том смысле, как говорят о пользовании объектом, задействованном в некотором процессе, – "*Все, что мешает продолжению работы, является сопротивлением*".

Данная фраза неудачно была переведена на французский как – "*Всякое препятствие интерпретации исходит от психологического сопротивления*". Я обращаю ваше внимание на этот момент, поскольку не так легко приходится тем, кто располагает лишь очаровательным переводом смелого господина Мейерсона. И весь предыдущий параграф переведен в подобном стиле. Этот пример должен послужить вам благотворным уроком недоверия по отношению к некоторым переводам Фрейда. К цитируемой фразе в немецком издании прилагается сноска, в которой поставлен следующий вопрос – если у пациента умирает отец, является ли это сопротивлением? Я даже не обращаюсь к заключению Фрейда, уже из вопроса вы можете увидеть, с какой

широтой ставится проблема сопротивления. И что же – во французском издании сноска опущена.

“Все, что мешает продолжительности – можно даже так перевести *Forsetzung – пользования, является сопротивлением”*. Нам необходимо исходить из подобных текстов, сохраняя их в уме, исследуя до мелочей и таким образом обнаруживая их смысл.

О чем же, в итоге, идет речь? Речь идет о протекании лечения, работы. Чтобы расставить точки над *i*, заметим, что Фрейд не сказал *Behandlung*, что могло бы означать исцеление. Нет, речь идет о работе, *Arbeit*, которая в своей форме может быть определена как словесная ассоциация, установленная только что упомянутым им правилом – основным правилом свободной ассоциации. Итак, подобная работа, поскольку речь идет об анализе сновидений, очевидно, является раскрытием бессознательного.

Теперь мы можем упомянуть о некоторых проблемах, в частности – той, что была представлена нам Анзье: откуда исходит сопротивление? Как мы видели в *“Studien über Hysterie”*, у нас нет никаких оснований говорить, что как таковое оно исходит от собственного Я. В *“Traumdeutung”* ничто нам также не указывает на его происхождение из вторичного процесса – появление данного термина в теории является крайне важным этапом развития мысли Фрейда. Если обратиться к 1915 году – времени публикации Фрейдом *“Die Verdrängung”*, первой статьи в ряду тех, что впоследствии будут объединены в работах по метапсихологии, – мы увидим, что сопротивление, безусловно, рассматривается как нечто исходящее со стороны сознания, но его специфика, главным образом, определяется удаленностью, *Entfernung*, от изначально вытесненного. Таким образом, связь сопротивления с содержанием бессознательного еще весьма ощутима в данной статье, относящейся к среднему периоду творчества Фрейда. Положение вещей меняется лишь позднее.

Что же в промежуток времени между *“Толкованием сновидений”* и периодом, названном мной переходным, рассматривается в качестве изначально вытесненного? Изначально вытесненным, как и всегда, является прошлое, которое должно быть восстановлено, и говоря о котором мы можем лишь вновь упомя-

нуть о двусмысленностях и пробелах, связанных с его определением, его природой и функциями.

К этому же периоду относится и работа над случаем "*Человека с волками*", где Фрейд задается вопросом, что такое травма. Как он замечает, травма представляет собой крайне двусмысленное понятие, поскольку клинический опыт со всей очевидностью показывает, что ее фантазматический облик гораздо более важен, нежели событийный. И поэтому событие отходит на второй план в системе субъективных соотнесенностей. Датировка же травмы, как я уже говорил на лекциях, посвященных случаю "*Человека с волками*", напротив, остается для Фрейда проблемой, значение которой он упорно сохраняет. Кто знает, что видел пациент? Но видел он что-нибудь или нет, а происходить это могло лишь в какое-то определенное время, лишь годом позже. Я полагаю, что не искажаю мысль Фрейда – чтобы убедиться в этом, достаточно уметь прочесть написанное черным по белому, – сказав, что единственно перспектива истории и признания позволяет определить субъективное значение каких-либо моментов.

Для тех, кто не достаточно знаком с этой диалектикой, уже довольно полно мной представленной, я хотел бы сообщить некоторые основные понятия. Всегда необходимо держаться уровня алфавита. Кроме того, пример, который я буду рассматривать, высветит для вас вопросы, связанные с признаванием, и отвратит вас от попыток затуманивать данную проблему обращением к неясным понятиям памяти и воспоминания. Если немецкое "*Erlebnis*" еще может иметь здесь смысл, то понятие "воспоминания" ("*souvenir*"), пережитого или нет, слишком благоприятствует возникновению всякого рода двусмысленностей.

Я поведаю вам небольшую историю.

Проснувшись как-то утром, я открываю глаза и замечаю в очертаниях бахромы занавески (это занавеска моего загородного дома, и я вижу ее не каждый день, а лишь раз в неделю-две, когда приезжаю в деревню) неясный профиль какого-то лица. Этот профиль, одновременно карикатурно заостренный и старомодный, смутно напоминающий мне стиль фигуры маркиза XVIII века, я вижу не впервые – я точно так же замечал его одна-

жды в прошлом. Вот вам одна из тех пустых игр воображения, которым предается ум при пробуждении. Такая игра происходит вследствие оформления гештальтов, как сказали бы в наши дни, говоря о признавании давно знакомых обликов.

То же самое могло произойти с пятном на стене. Поэтому я могу сказать, что ни одна складка занавески не сместилась за неделю. Ровно неделю назад при пробуждении я уже видел то же самое и, конечно, тут же и забыл. Но лишь по этой причине я знаю, что занавеска ничуть не сдвинулась. Все осталось в точности на своем месте.

Это лишь притча, поскольку все произошло в плоскости воображаемого, хотя вовсе не сложно наметить ее координаты в символическом. Пустяки – маркиз XVIII века и тому подобное – играют там крайне важную роль, поскольку если бы у меня не было некоторых фантазмов по поводу того, что представляет собой профиль, я не смог бы его распознать в очертаниях занавески. Но оставим это.

Посмотрим, что же тут происходит в плане признавания. Тот факт, что ровно то же самое было и неделю назад, связан с феноменом признавания в настоящем.

Точно такую же формулировку дает и Фрейд в "*Studien über Hysterie*". В то время, как он говорит, им были проведены некоторые исследования памяти, и он приписывает возникающее воспоминание, признавание той действующей в настоящем силе, которая не столько придает воспоминанию вес и плотность, сколько попросту делает его возможным.

И вот как действует Фрейд. Когда он уже больше не знает, какому святому молиться чтобы добиться реконструкции субъекта, он всегда обращается к нему, как он есть, кладет руки ему на лоб и перечисляет один за другим все года, месяцы, недели и даже дни – вторник семнадцатого, среда восемнадцатого и так далее. Он вполне доверяется подразумеваемому структурированию субъекта "*общественно-значимым временем*" (как это было затем определено) и полагает, что в тот момент, когда его перечисление дойдет до точки, где стрелка часов покажет критический момент субъективного опыта, пациент скажет: "*О да, именно в этот день у меня вертится в голове какое-то воспомина-*

ние". Заметьте, я не утверждаю, что это успешный путь, как убеждает нас в том Фрейд.

Я надеюсь, вы поняли значение моих слов. Центром тяжести субъекта является тот синтез прошлого в настоящем, который называют историей. Вот, чему мы можем доверять, продвигаясь вперед в нашей работе. Это исходное предположение психоанализа, которое еще ничем не опровергнуто. По правде говоря, если бы это было не так, то совершенно непонятно, что нового привнес тогда психоанализ.

Такова первая фаза. Достаточно ли ее?

Безусловно, нет. Сопротивление субъекта осуществляется, конечно, и в данной плоскости, но проявляется оно чрезвычайно любопытно. Такие проявления стоит изучить, и для этого у нас есть совершенно особые примеры.

Речь идет об одном случае, где Фрейду из уст матери пациентки была известна вся ее история. Он сообщает данную историю пациентке со словами: "*Вот что произошло; вот что вам сделали*". И каждый раз пациентка-истеричка отвечала небольшим истерическим приступом – воспроизведением свойственного ей припадка. Она слушала и давала ответ в форме собственного симптома. Что ж, тут есть ряд проблем, например – является ли данная форма ответа сопротивлением? Этот вопрос я оставлю на сегодня открытым.

Я хотел бы закончить следующим замечанием. В конце "*Studien über Hysterie*" Фрейд определяет патогенное ядро как то, что является искомым, но при этом и отталкивает дискурс – чего дискурс избегает. Сопротивление является уклонением дискурса при приближении к данному ядру. Итак, мы можем решать вопрос сопротивления лишь углубляя наше знание о смысле этого дискурса. Как мы уже говорили, это дискурс исторический.

Не будем забывать, что отправной точкой аналитической техники была техника гипнотическая. Речь пациента в гипнозе является исторической. Она даже поражает своим драматизмом, что подразумевает присутствие слушателя. Выйдя из гипнотического состояния, субъект более не помнит такой речи. Почему же это послужило отправной точкой аналитической техники?

Потому что здесь мы имеем дело с повторным переживанием травмы, которое само по себе является здесь непосредственным, хотя оно и не несет терапевтического эффекта и не остается непрерывным. Оказывается, что подобная форма произнесения речи лицом, которое может сказать "*я-сам*", касается субъекта.

И тем не менее двусмысленно говорить о переживании, переживании травматизма заново в состоянии истерическом, невменяемом. Вовсе не потому, что речь пациента предстает в драматичной, патетической форме, слово "*переживание*" может оказаться уместным. Что означает принятие субъектом его собственного пережитого?

Вы видите, что я задаю вопрос относительно той точки, в которой это переживание наиболее двусмысленно, то есть когда пациент находится в состоянии невменяемости. Но не происходит ли то же самое и на всех уровнях аналитической техники? Ведь всегда актуален вопрос, что означает речь, вести которую мы вынуждаем субъекта вменяя ему основное правило свободной ассоциации. В этом правиле говорится: "*В конечном итоге, ваш дискурс не имеет значения*". Предаваясь такому упражнению, пациент лишь наполовину верит своей речи, поскольку каждый момент ее сопровождается перекрестным огнем нашей интерпретации. "*Каков же субъект дискурса?*" – встает тогда вопрос.

Мы вернемся к нему в следующий раз и постараемся обсудить его в связи с нашей основной проблемой – проблемой значения и влияния сопротивления.

27 января 1954 года.

IV

СОБСТВЕННОЕ Я И ДРУГОЙ

Сопротивление и перенос.
Ощущение присутствия.
Verwerfung ≠ Verdrängung.
Опосредование и откровение.
Уклонение речи.

В прошлый раз мы остановились на вопросе, какова природа сопротивления.

Вы уже почувствовали, что наш подход к феномену сопротивления отличается не только сложностью, но и двусмысленностью. Многие формулировки Фрейда вроде бы свидетельствуют о происхождении сопротивления из того, что должно быть обнаружено, из вытесненного, из *verdrängt* или также *unterdrückt.*

Первые переводчики слишком нечетко переводили "*unterdrückt*" французским "*étouffe*" ("приглушенное"). Тождественны ли *verdrängt* и *unterdrückt*? Мы не станем сейчас углубляться в детали, но сделаем это лишь тогда, когда начнем видеть, как устанавливается различие между двумя данными феноменами в опыте.

Сегодня, говоря о "*Работах по технике психоанализа*", я хотел бы обратиться к одной из первых точек, где выстраивается перспектива рассматриваемой проблемы. То есть, перед тем как начать работать со словарем, стоит попытаться понять, о чем идет речь, и с этой целью занять некоторую позицию, в которой вещи предстают упорядоченными.

В пятницу, на представлении больных я объявил, что мы займемся чтением одного весьма знаменательного текста. Я постараюсь сдержать свое обещание.

В сборнике так называемых работ по технике есть текст под названием "*Динамика переноса*". Мы не можем сказать, что полностью удовлетворены переводом как данного текста, так и всех остальных работ сборника. В нем много неточностей, иногда

даже вовсе не соответствующих подлиннику. Среди таких неточностей немало удивительных, и все они похожи в том, что стирают рельефность текста. Мне остается лишь посоветовать тем, кто знает немецкий, обратиться к оригиналу. Во французском переводе может, например, обрываться фраза, стоять точка в предпоследней строке, отделяя, таким образом, небольшое предложение, взявшееся как бы непонятно откуда: "*Наконец, стоит напомнить, что никто не может быть убит* in absentia *или* in effigie". В немецком же тексте читаем: "*...поскольку стоит напомнить, что никто не может быть убит* in absentia *или* in effigie." То есть данная фраза связана с предыдущим предложением, а будучи отделенной, она становится совершенно непонятной, тогда как фрейдовский текст бессвязностью не грешит.

Сейчас я прочитаю вам упомянутый отрывок. Вы можете найти его на 55 странице французского перевода. Он непосредственно примыкает к тому важному месту "*Studien*", где речь идет о сопротивлении, возникающем при приближении в радиальном направлении, как говорит Фрейд, дискурса субъекта к глубинному образованию или *патогенному ядру*, в терминологии Фрейда.

"*Давайте исследуем патогенный комплекс, иногда вполне явный, а иногда почти неощутимый...*" Я перевел бы скорее: "*или в очевидной форме симптома, или недоступный восприятию, незаметный*" – поскольку речь идет о способе выражения комплекса, а именно о таком выражении говорят, что оно очевидно или неощутимо. И это вовсе не то же, что сказать, будто таков сам комплекс. Во французском тексте есть определенное смещение, которое может сбить с толку. Итак, я продолжаю: "*... как в его проявлениях в сознании, так и в его бессознательных истоках мы вскоре доходим до некоторой области, где сопротивление будет так сильно ощущаться, что печать его будет нести на себе возникающая ассоциация, которая явится компромиссом между требованиями такого сопротивления и требованиями исследовательской работы*". В оригинале – не "возникающая ассоциация", а "*nächste Einfall*", "ближайшая ассоциация", но в конечном итоге, смысл тот же. "*Опыт*, – и вот самое важное, – *показывает, что именно здесь возникает перенос. Когда нечто из элементов комплекса (из его содержания)*

становится способным обратиться на личность врача, то происходит перенос, который доставляет следующую мысль и проявляется в форме сопротивления, например, в прекращении ассоциаций. Подобный опыт учит нас, что идее переноса удается легче, нежели другим возможным ассоциациям проникнуть в сознание, именно потому, что она удовлетворяет сопротивлению." Последнее слово предложения подчеркнуто Фрейдом. "*В течение психоанализа подобного рода факт воспроизводится бесчисленное количество раз. Каждый раз при приближении к патогенному комплексу сперва в сознание проникает годная для перенесения часть комплекса и защищается с сильнейшим упорством*".

В данном параграфе необходимо выделить следующее. Прежде всего – "*мы вскоре доходим до некоторой области, где сопротивление будет сильно ощущаться*". Сопротивление проистекает из самого хода дискурса и его приближения, если можно так сказать, к патогенному ядру. Во вторых, "*опыт показывает, что именно здесь возникает перенос*". В третьих, перенос порождается "*именно потому, что он удовлетворяет сопротивлению*". В четвертых, "*В течение психоанализа подобного рода факт воспроизводится бесчисленное количество раз*". Речь идет о весьма ощутимом феномене, возникающем в анализе. И та часть комплекса, которая проявилась в перенесенной форме, "*проникает в сознание в этот момент и защищается с сильнейшим упорством*".

Тут же добавлено замечание, которое оттеняет данный феномен, не только наблюдаемый в действительности, но порой предстающий в необычайной чистоте. Это замечание совпадает с указанием из другого текста Фрейда: "*Когда пациент замолкает, вполне вероятно, что иссякание его речи обязано своим существованием некоторой мысли, относящейся к аналитику*".

В применении к технике (что используется довольно часто, но все же мы советуем нашим ученикам умерить использование данного приема) это выражается вопросом типа: "*У вас, конечно, есть какая-то мысль относительно меня?*". Подобное подбадривание иногда достигает того, что рассуждения пациента оформляются в замечание, касающееся либо манер, либо внешности, либо мебели аналитика, либо особенностей сегодняшне-

го сеанса и так далее. Данный прием не лишен основания. В такой момент нечто подобного рода может витать в уме пациента, и фокусируя данным образом его ассоциации, можно извлечь из них совершенно различные вещи. Но иногда феномен предстает перед нами в более чистом виде.

В тот момент, когда пациент вроде бы готов сформулировать нечто подлинное, самое животрепещущее, чего он еще никогда не мог добиться раньше, он иногда прерывается, и мы слышим, например, такое высказывание: "*Я вдруг ясно осознал факт вашего присутствия*".

Подобное не раз случалось в моей собственной практике, да и другие аналитики могут легко привести соответствующие свидетельства. Явление это выступает в совокупности с конкретным проявлением сопротивления, внедряющегося в ткань нашего опыта в связи с переносом. Его выборочный характер объясняется тем, что сам субъект переживает в этот момент как резкий поворот, перелом, заставляющий его перейти от одной стороны дискурса к другой, от одного акцента функции речи к другому.

Я счел нужным сразу же поставить это явление в центр нашего внимания. Оно разъясняет предмет нашего разговора и послужит исходной точкой для постановки проблем.

Прежде чем продолжить работу в данном направлении, я хотел бы на мгновение остановиться на тексте Фрейда и показать вам, насколько все, что я говорю, совпадает с тем, что говорит он. Откажитесь на секунду от увязывания сопротивления с построением, согласно которому бессознательное у данного субъекта, в данный момент, затаено и, как говорится, вытеснено. Что бы мы впоследствии не включали в понятие сопротивления, связывая его с совокупностью защит, – для Фрейда сопротивление является феноменом, локализованном в аналитическом опыте.

Вот почему так важно примечание к прочитанному мной абзацу: тут Фрейд расставляет точки над *i*.

"*Тем не менее, не стоит делать заключение об особенно высокой патогенной значимости* – именно об этом и я вам говорю; имеется в виду не созданное нами задним числом представление о том, что мотивировало (в глубинном смысле слова)

этапы развития субъекта – *об особенно высокой патогенной значимости элемента, выбранного с целью сопротивления переноса. Когда в ходе битвы разгорается отчаянное сражение за обладание какой-нибудь небольшой колокольней или отдельным хутором, мы не делаем отсюда вывод, что эта церковь является национальной святыней или что в доме хранятся сокровища армии. Ценность их может быть лишь тактической и существовать лишь на протяжении единственного боя*".

Именно посредством движения пациент признает, что появляется некоторый феномен – сопротивление. Когда это сопротивление становится слишком сильным, возникает перенос.

В тексте не сказано "*феномен переноса*" – это очевидно. Если бы Фрейд хотел сказать "*появляется феномен переноса*", он так бы и сказал. И окончание статьи является доказательством того, что данное различие существует. Последняя фраза, начинающаяся со слов: "*Признаемся, что нет ничего более сложного в анализе, чем...*" – во французском переводе "*сломить сопротивление*", тогда как в оригинале "*die Bezwingung der Übertragunsgsphänomene*", то есть преодоление феноменов переноса. Я обратился к данному отрывку, чтобы показать вам, что термин *Übertragungsphänomene* действительно принадлежит словарю Фрейда. Почему же, тем не менее, его перевели как сопротивление? Это не говорит о высокой культуре переводчика, а тем более – о глубоком понимании оригинала.

Именно это написал Фрейд: тут появляется, строго говоря, не сам по себе феномен переноса, а феномен, состоящий в существенной связи с ним.

Кроме того, на протяжении всей данной статьи речь идет о динамике переноса. Я не рассматриваю всей совокупности вопросов, поставленных в статье, поскольку они затрагивают специфичность переноса в анализе и перенос является здесь не тем же, что везде, но "*играет совершенно особую роль*". Я советую вам прочитать упомянутую работу. Теперь же я опираюсь на нее лишь в целях изучения сопротивления. Но тем не менее, как вы увидите, это ключевой момент всего, о чем идет речь в динамике переноса.

Что же можем мы здесь узнать о природе сопротивления? Мы можем найти тут ответ на вопрос "*Кто говорит?*" и узнать таким

образом, что значит отвоевать бессознательное, найти его заново.

Мы задавались вопросом, что значит память, воспоминание, техника воспоминания; что значит свободная ассоциация в той мере, как она дает нам доступ к формулированию истории субъекта. Но что же становится с самим субъектом? Остается ли он в ходе этого процесса неизменным?

Но вот перед нами феномен, где мы ощущаем узел этого движения, точку сцепления, изначальное давление или собственно говоря, сопротивление. И в определенный момент этого сопротивления мы наблюдаем возникновение переноса, как назвал его Фрейд, то есть, в данном случае, актуализацию личности аналитика. Опираясь на собственный опыт, я сказал вам, что вся острота и значимость феномена переживается субъектом как внезапное восприятие того, что не так уж легко определить, – присутствия.

Ощущение присутствия не является для нас постоянным. Конечно, мы подвергаемся влиянию всякого рода присутствий, а наш мир обладает прочностью, плотностью, ощутимой устойчивостью лишь потому, что мы определенным образом учитываем эти присутствия, но мы их не осознаем как таковые. От подобного рода ощущений, как вы понимаете, мы всегда пытаемся в жизни избавиться. Было бы нелегко существовать, если бы в каждый момент мы ощущали присутствие со всей его таинственностью. Это тайна, которую мы стараемся не замечать и к которой, вообще говоря, привыкли.

Здесь мы сталкиваемся с тем, на чем не умеем долго задерживаться. Мы постараемся найти другой край нити: ведь, как учит нас Фрейд, успешный аналитический метод состоит в обнаружении одних и тех же связей, отношений, одной и той же схемы, равно проявляющейся в пережитом, в поведении и в отношениях внутри анализа.

Таким образом, нам предстоит выстроить перспективу, глубокое и многоплановое восприятие. Вполне возможно, что такие понятия, как "Оно" и "Я", которые мы привыкли использовать довольно непродуманно, на самом деле не являются простой парой противоположностей и предполагают более сложную стереоскопию.

Тем, кто присутствовал (полтора года тому назад) на моем комментарии случая “*Человека с волками*”, я хотел бы напомнить отдельные, наиболее поразительные места данного текста.

Приступая к вопросу комплекса кастрации у своего пациента – вопросу, играющему совершенно особую роль в способе структурирования данного субъекта, – Фрейд формулирует следующую проблему. Когда для пациента встает вопрос о страхе кастрации, то появляются симптомы, располагающиеся в анальной, как мы ее называем, плоскости, поскольку речь идет о работе кишечника. Что ж, мы считаем, что все эти симптомы, интерпретируемые нами в регистре анальной концепции сексуальных отношений, свидетельствуют о некотором этапе инфантильной теории сексуальности. По какому праву? Исходя из того факта, что кастрация играет определенную роль, нельзя ли сказать, что субъект поднялся до уровня генитальной структуры? Каково объяснение Фрейда?

Хотя субъект и достиг, говорит Фрейд, первичного инфантильного созревания или предсозревания и вполне сложился, чтобы, по крайней мере, частично осуществить более специфически генитальное структурирование отношения между его родителями, – он отверг гомосексуальную позицию, предназначавшуюся ему в этом отношении, он не осознал эдиповой ситуации, он исключил, отбросил (немецкое *verwirft*) все, что относилось к плану генитального осуществления. Он вернулся к предыдущему способу оправдания этого аффективного отношения, отступил на позиции анальной теории сексуальности.

Речь тут идет даже не о вытеснении, где какой-либо элемент, реализованный в определенной плоскости, оказывается оттесненным. Вытеснение, говорит Фрейд на странице 111, – это нечто другое: “*Eine Verdrängung ist etwas anderes als eine Verwerfung*”. Во французском переводе, выполненном авторами, чья близость к Фрейду могла бы и лучше пойти им на пользу (причастности к ореолу выдающейся личности недостаточно, чтобы по праву стать хранителем его реликвий) – дан следующий перевод: “*вытеснение – это нечто другое, нежели отбрасывающее и отбирающее суждение*”. Нельзя ли иначе перевести *Verwerfung*? Конечно, это сложно, но французский язык...

Ипполит: – *Отбрасывание?*

Лакан: – Да, *отбрасывание* или, может быть, *отказ*. Но почему вводится вдруг *суждение* на тот уровень, где нет никаких следов *Urteil*? Здесь есть *Vewerfung*. Тремя страницами дальше, в одиннадцатой строке, после описания следствий такой структуры Фрейд заключает: "*Kein Urteil über seine...*" Тут впервые, завершая данный отрывок, он употребляет слово "*Urteil*", но в вышеупомянутом предложении данного слова нет. О существовании проблемы кастрации не выносилось никаких суждений, – *Aber etwas so*, но этого как бы, *als ob sie nicht*, не существует для субъекта вовсе.

Как указывает это важное замечание, изначально для самой возможности вытеснения необходимо, чтобы существовало нечто по ту сторону вытеснения, нечто последнее, первично конституированное, первичное ядро вытесненного, которое не только не дает о себе знать, но, не формулируя себя, пребывает буквально так, *как если бы его не существовало вовсе* – я лишь повторяю то, что говорит Фрейд. И тем не менее, в определенном смысле, где-то оно есть, поскольку, по словам Фрейда, оно является центром притяжения всего, что позднее вытесняется.

Вот в чем, как я думаю, состоит суть фрейдовского открытия.

В конечном счете, нет необходимости объяснять врожденной предрасположенностью то, как происходит вытеснение – по типу истерии или же невроза навязчивости. Фрейд допускает подобную предрасположенность в качестве самой общей основы, но никогда не рассматривает ее в качестве принципа. Чтобы убедиться в этом, почитайте "*Bemerkungen über Neurosen*", вторую статью 1898 года о неврозах защиты.

Формы, принимаемые вытеснением, притягиваются первичным ядром. Свойства этого ядра Фрейд признает за некоторым опытом, названным им "*изначальным опытом травмы*". Позже мы вернемся к вопросу *травмы* и ограничим данное понятие, но сейчас необходимо запомнить следующее: первичное ядро относится к другому уровню, нежели превратности вытеснения. Это ядро служит основой и носителем вытеснения.

В структуре того, что случается с "человеком с волками", *Verwerfung* реализации генитального опыта является совершен-

но особым моментом, выделенным из ряда других самим же Фрейдом. Чтобы справиться с тем, что было исключено из истории субъекта и о чем пациент не мог сказать, как ни странно, потребовалось принуждение со стороны Фрейда. Лишь тогда повторяющийся опыт детского сновидения приобрел собственный смысл и сделал возможным не переживание, а непосредственную реконструкцию истории субъекта.

Оставим на мгновение тему "*Человека с волками*" и обратимся к другому аспекту проблемы – заглянем в 7-ю главу "*Traumdeutung*", посвященную деятельности сновидения, "*Traumvorgänge*".

Прежде всего Фрейд вкратце излагает основные выводы книги. Пятая часть главы начинается с великолепной фразы: "*Изображать одновременность столь сложного явления при помощи последовательности*, – он еще раз перерабатывает все то, что уже объяснял о сновидении, – *и при этом все время казаться бездоказательным слишком тяжело для меня*".

Данная фраза прекрасно указывает на те сложности, что испытываю теперь я, будучи вынужденным без конца возвращаться к проблеме, всегда присутствующей в нашем опыте, и каждый раз в различных формах создавать ее заново, под новым углом зрения. Как указывает Фрейд, всякий раз построение приходится начинать заново, с самого нуля.

В этой главе нам дано ощутить нечто совершенно особое. Фрейд перечисляет все возможные возражения по поводу значимости воспоминания о сновидении. Что такое сон? Насколько точна его реконструкция субъектом? Какова гарантия, что в ней нет примеси позднейшей вербализации? Не является ли весь сон мгновенным процессом, которому речь субъекта приписывает историю? Фрейд не принимает подобные возражения и показывает их необоснованность. Проводя доказательство, он подчеркивает один особый момент: чем меньшей уверенностью сопровождается текст пациента, тем большим он наделен значением. Более того, самое важное Фрейд, слушающий, ждущий и открывающий смысл сказанного, признает именно в моменте сомнения, которым окрашены определенные части сновидения. Поскольку субъект сомневается, можно быть в чем-то уверенным.

Однако в течение изложения такой подход становится еще более утонченным. И в пределе самым значимым будет полностью забытый сон, о котором субъект ничего не может сказать. Приблизительно так Фрейд и пишет: "*Часто в психоанализе можно вновь обнаружить все то, что было утрачено забыванием; по меньшей мере в целом ряде случаев какие-то клочки позволяют вновь отыскать не само сновидение, являющееся в данном случае второстепенным, а мысли, лежащие в его основании*". "*Какие-то клочки*" – именно об этом я и говорю вам: от самого сна уже ничего не осталось.

Фрейда интересуют мысли, лежащие в основании сновидения.

Нет ничего более сложного для человека, изучавшего психологию, чем использование термина "*мысль*". И поскольку мы изучали психологию – как люди, привыкшие думать, мы считаем такими мыслями то, что без конца вертится у нас в голове...

Однако все "*Traumdeutung*" ясно дает нам понять, что *мысли, лежащие в основании* имеют мало общего с предметом изучения феноменологии мышления, будь то мышление образное или какое-либо другое. Речь здесь идет не о мыслях в общеупотребительном смысле, а о желании.

Одному Богу известно, что это за желание. В ходе нашего исследования мы заметили, что оно исчезает и появляется, как колечко, бегущее по веревочке от одного игрока к другому. В конечном итоге, мы не всегда знаем, следует ли его относить за счет бессознательного или же сознания. Более того, неизвестно, чье это желание и о какой нехватке идет в нем речь.

Фрейд иллюстрирует смысл своих слов при помощи замечания из "*Введения в психоанализ*".

Одна больная, чей скептический настрой сочетался с заметной увлеченностью Фрейдом, рассказывает ему довольно долгий сон. Известные лица, сообщает она, рассказывают ей о книге про *Witz* и очень ее хвалят. Все это вроде бы ничего не значит. Затем следует вопрос другого плана, а от сна остается лишь одно слово – "*канал*". Быть может, это слово относится к другой книге, где речь идет о канале – пациентка не может сказать ничего определенного.

Итак, есть "*канал*", непонятно, к чему он имеет отношение, откуда взялся и куда ведет. Что ж, именно это и есть самое интересное, говорит Фрейд, этот мельчайший осколок, вокруг которого полная неясность.

И что из этого вышло? На следующий день – не в тот же самый – больная говорит, что у нее появилась идея, связанная с "*каналом*". Точнее – одна острота. На переправе из Дувра в Кале беседуют англичанин и француз. В разговоре англичанин цитирует знаменитую фразу: " *От великого до смешного один шаг (pas)*". А галантный француз отвечает: "*Да, Па-де-Кале (Pas-de-Calais)*", – что звучит очень любезно для его собеседника. Но Па-де-Кале – это канал Ла-Манш. Итак, "канал" обнаружен, но что вместе с ним? Будьте внимательны, поскольку здесь проявляется та же функция, что и при возникновении присутствия в момент сопротивления. Скептически настроенная пациентка до этого долго оспаривала заслуги фрейдовской теории остроумия. После обсуждения, когда она запинается и не знает, что говорить дальше, возникает ровно тот же феномен присутствия – как удачно сказал Маннони, выступив в роли повивальной бабки моей мысли, – "*сопротивление появляется на свет переносом вперед*".

"*От великого до смешного один шаг*", – вот точка, в которой сновидение затрагивает слушателя – Фрейда, ибо это сказано для него.

Итак, то немногое, что осталось от сновидения, слово "*канал*", в результате ассоциации не подлежит уже больше оспариванию.

Я хотел бы привести и другие примеры.

Бог свидетель тому, насколько чутко Фрейд группирует факты, и вовсе не случайно в некоторых главах определенные вещи оказываются рядом. Так, когда сновидение приобретает определенную направленность, в нем оказываются наличными феномены чисто лингвистического порядка. Субъектом в полном сознании была сделана языковая ошибка. Во сне субъект знает, что это была языковая ошибка, поскольку один из персонажей вмешивается, чтобы исправить ее. В критический момент перед нами, следовательно, плохо осуществленная адаптация, функ-

ция которой на наших глазах удваивается. Однако оставим пока это в стороне.

Возьмем еще один пример – я несколько случайно выбрал его сегодняшним утром – знаменитый пример, опубликованный Фрейдом в 1898 году в первой главе "*Психопатологии обыденной жизни*". Говоря о забывании имен, Фрейд приводит случай, когда в беседе со своим попутчиком он с трудом вспоминает имя автора знаменитой фрески собора в Орвьето – обширной композиции, изображающей событие конца света с центральным моментом явления антихриста. Автор этой фрески – *Signorelli*. Фрейду не удается вспомнить его имя. В голову ему приходят другие имена: *Botticelli* – нет, *Boltraffio* – тоже нет. Ему не удается припомнить *Signorelli*.

Он смог восстановить это имя лишь благодаря аналитическому приему. Ведь такой небольшой феномен не мог возникнуть из ничего – он является составной частью текста беседы. В тот момент попутчики покидают Рагузу, попадают во внутренние районы Далматии и находятся уже почти на границе австрийской империи – в Боснии-Герцеговине. Название *Bosnie* дает повод к некоторым историям, и *Herzegovine* – тоже. Затем следует несколько замечаний о симпатичных чертах пациентов-мусульман. Отношение мусульман к врачу осталось в некотором смысле примитивным и свидетельствует об их исключительной корректности. Когда врач сообщает им плохую новость о неизлечимости болезни – собеседник Фрейда, вероятно, практиковал в этой местности, – эти люди могут поддаться на мгновение чувству враждебности в отношении врача, но тут же обращаются к нему со словами: "*Herr, вы, конечно же, сделали все возможное*". Что ж, перед ними факт, который надо принять. Их умение понимать это обуславливает сдержанность, учтивость, уважение в отношении врача, к которому обращаются по-немецки *Herr*. Вот на каком фоне протекает беседа, запинающаяся показательным забыванием. Фрейд старается найти разгадку такого запинания.

Он замечает, что с интересом участвовал в разговоре, но в определенный момент внимание его отвлеклось, и в то время как он говорил, мысли его были далеко. Его раздумья были навеяны рассказанной историей.

С одной стороны, ему пришло на ум то значение, которое придавали его пациенты-мусульмане всему связанному с сексуальными функциями. Один пациент, консультировавшийся у него по поводу нарушения потенции, сказал буквально следующее: "*Если этого больше не будет, чего стоит тогда жизнь*". С другой стороны, он вспомнил, как однажды во время короткого пребывания в одной местности ему стало известно о смерти пациента, долго у него лечившегося. Подобные известия, говорит Фрейд, всегда являются потрясением. Фрейд не захотел излагать свои мысли о значении сексуальности своему собеседнику, не будучи в нем вполне уверенным. Более того, ему не было приятно останавливаться на смерти своего пациента. Однако подобные раздумья отвлекли его внимание от того, что он тогда говорил.

Если вы обратитесь к этой работе в издании "*Imago*", вы увидите замечательную табличку, сделанную Фрейдом. Он переписывает все слова: *Botticelli, Boltraffio, Herzegovine, Signorelli*, и под ними – вытесненные мысли: звук *Herr* и вопрос. А в самом низу – то, что осталось, итог. Слово *Signor* было отозвано обращением *Herr* вежливых мусульман, *Traffio* – тем фактом, что он был поражен там известием о своем пациенте. В то время как речь его отыскивала имя автора фрески, он смог обнаружить лишь то, что осталось незадействованным после изъятия некоторых ключевых элементов, отозванных тем, что Фрейд назвал "*вытесненным*", то есть, в данном случае, мыслями о сексуальности мусульман и темой смерти.

Что все это значит? Речь здесь не идет о вытесненном как таковом, ведь если Фрейд и не говорит определенных вещей своему попутчику, он тут же приводит их в тексте. Однако все происходит так, как если бы эти слова – а мы вправе говорить тут о словах, поскольку упомянутые части слов живут полной жизнью самостоятельных слов – были бы частью той речи, которую Фрейд на самом деле должен был произнести собеседнику. Он не произнес ее, хотя и начал. Именно это интересовало его, именно это он готов был сказать, но поскольку речи такой не состоялось, от нее остались в последующей беседе лишь обрывки, кусочки, остатки.

Разве не дополняет данный феномен, возникающий на уровне реальности, то, что происходит на уровне сновидения? Выступание подлинной речи – вот с чем мы имеем дело.

Одному Богу известно, как долго может эта подлинная речь удержаться. Что, если не абсолютное, не присутствие смерти имеет она в виду? Не зря Фрейд предпочел (и не только из-за своего собеседника) не слишком задерживаться на подобных размышлениях. Кто знает, не переживается ли врачом проблема смерти как проблема границ собственной власти. Врач, в данном случае Фрейд, как и любой другой на его месте, терпит поражение – именно так воспринимаем мы утрату больного, особенно если долго занимались его лечением.

Чем же обезглавлено слово *Signorelli*? Центральным моментом тут, безусловно, является первая часть слова и ее семантические отголоски. И поскольку речь, вскрывающая самую глубокую тайну существа Фрейда, не произнесена, постольку Фрейду удается задержаться на другом лишь посредством ее остатков. От этой речи остаются лишь обрывки. Вот он – феномен забывания. В данном случае он буквально проявляется в разрушении речи в ее связи с другим.

Вот к чему были все эти примеры – в той мере как признание бытия не доводится до конца, акцент речи целиком оказывается на той стороне, где она задерживается на другом.

Существу речи вовсе не чуждо задерживаться на другом. Без сомнения, речь является опосредованием – опосредованием между субъектом и другим – и она подразумевает реализацию другого в самом этом опосредовании. Важным элементом реализации другого является то, что речь может нас с ним объединить. Вот что, главным образом, я и внушал вам, ведь именно в этом измерении и происходят наши бесконечные перемещения.

Однако у речи есть и другой лик – откровение.

Откровение, но не выражение – бессознательное невыразимо без искажений, *Entstellung*, нарушений, преобразований. Этим летом я написал "***Функцию и поле речи и языка***", намеренно не употребляя там термин "***выражение***", поскольку все творчество Фрейда разворачивается в направлении откровения, не

выражения. Откровение является последней пружиной того, что мы ищем в аналитическом опыте.

Сопротивление возникает в тот момент, когда речь откровения не выговаривается, или – как занятно сформулировал Стреба в конце отвратительной, но столь чистосердечной статьи, где в центр всего аналитического опыта ставится раздвоение эго, а одна его половинка должна помогать нам в борьбе против другой, – в тот момент, когда субъект уже не может найти выхода из положения. Он задерживается на другом, поскольку то, что стремится к речи, так и не получает к ней доступа. Задержка речи в силу того, что нечто делает ее по сути невозможной, – это ключевой момент, где полностью перевешивает первая сторона речи и речь сводится к функции отношения к другому. Если речь функционирует тогда как опосредование, то лишь потому, что она не состоялась в качестве откровения.

На каком же уровне происходит задерживание на другом? Нужно быть достаточно одураченным теоретизированием, догматизированием и подчинением себя дисциплине в аналитической технике, чтобы сказать однажды, что одним из предварительных условий аналитического лечения является... определенная реализация субъектом другого как такового. Что вы говорите! Но речь-то идет о том, чтобы понять, на каком уровне реализуется другой; как, в какой роли, на каком круге субъективности, на каком расстоянии данный другой находится.

В ходе аналитического опыта такое расстояние беспрестанно меняется. И как глупо притязание рассматривать его как некоторую стадию субъекта!

Примерно тем же духом пронизаны речи г-на Пиаже об эгоцентричном мире ребенка. Можно подумать, взрослые в чем-то превзошли здесь детей! Любопытно знать, что же на весах Вечности может служить мерилом наилучшего восприятия другого – такое восприятие, как у г-на Пиаже в его года и в его положении наставника, или же такое, каким обладает ребенок. Мы видим, как ребенок изумительно открыт всему, что взрослый сообщает ему о смысле мира. Задавался ли кто-нибудь вопросом, что значит для такого чувства другого чудесная восприимчивость детей ко всему относящемуся к мифу, легенде, волшебной сказке, истории – и та легкость, с которой они отдают себя во

власть рассказа? Неужели это совместимо с той игрой в кубики, при помощи которой г-н Пиаже демонстрирует нам, что ребенок стремится к коперниканскому познанию мира?

Вопрос состоит в том, каким образом в определенный момент это загадочное чувство присутствия фокусируется на другом. Может быть, оно включено в то, о чем Фрейд говорит в "*Динамике переноса*", – в структурность, предвосхищающую не только любовную жизнь субъекта, но и строение его мира.

Если бы мне нужно было выделить первичное уклонение речи, первый момент огибания всякой реализации истины субъекта, первичный уровень, где проявляется функция перехвата другим, – я выделил бы его в формуле, сообщенной мне одним из тех, кто здесь присутствует и кого я контролирую. Я спросил его: *"Как, по вашему, что происходит с вашим субъектом на этой неделе?"* Выражение, полученное мной в ответ, в точности совпадает с тем, что я пытался наметить при помощи термина "*уклонение*": "*Он призвал меня в свидетели*". В самом деле, это одна из высших, но уже отклонившихся функций речи – призывание в свидетели.

Немного позже она станет соблазнением. Еще позже – попыткой захватить другого в игре, где речь переходит даже – и аналитический опыт хорошо нам это показал – к более символической функции, к инстинктивно более глубокому удовлетворению и в конце концов – к полному расстройству функции речи в феноменах перенесения, где субъекту удается, по словам Фрейда, полностью освободиться и делать ровно все, что ему нравится (здесь не стоит слишком полагаться на последний термин).

Что ж, не привело ли нас рассуждение к тем же положениям, из которых я исходил в докладе о функциях речи? Я имею в виду противопоставление речи полной и речи пустой: полной речи – поскольку она реализует истину субъекта, и пустой – в отношении *hic et nunc* пациента и аналитика, где субъект теряется в махинациях системы языка, в лабиринте систем отнесений, сообщаемых ему его большей или меньшей причастностью культурным установлениям. Две эти границы задают целую гамму возможных осуществлений речи.

В этой перспективе мы приходим к следующему – следствия сопротивления, о котором идет речь, проецируются на систему собственного Я, поскольку последняя вообще немыслима без, скажем так, системы другого. Референтом собственного Я является другой. Собственное Я устанавливается в отнесенности к другому. Оно является его коррелятом. Уровень, на котором происходит переживание другого, в точности определяет уровень, на котором, буквально, для субъекта существует собственное Я.

Сопротивление воплощается в системе собственного Я и другого и реализуется внутри этой системы в тот или иной момент анализа. Однако истоки его иные – сопротивление происходит от невозможности субъекта преуспеть в области реализации *своей* истины. Способ воплощения акта речи в большей или меньшей степени определяется для субъекта фиксациями его характера, его структуры и всегда проецируется на некоторый уровень, некоторый стиль отношения к другому.

Что ж, вы видите всю парадоксальность положения аналитика. Именно в тот момент, когда речь пациента становится наиболее полной, мое вмешательство в качестве аналитика оказывается возможным. Однако то, на что воздействую я – это его дискурс. И чем более сокровенен этот дискурс для субъекта, тем более я на нем сосредотачиваюсь. Однако столь же верно и обратное. Чем более пуста его речь, тем более я принужден (да, меня это касается точно так же) цепляться за другого (т. е. делать то, что делают постоянно в пресловутом анализе сопротивлений) и искать то, что находится по ту сторону его дискурса. Но ведь ничего потустороннего, вдумайтесь хорошенько, здесь и нет: потустороннее субъект должен был реализовать, но не реализовал, и мне остается лишь заполнить ее моими собственными проекциями на тот самый уровень, где субъект в данный момент ее реализует.

В прошлый раз я говорил вам об опасностях интерпретаций или умышленных вменений, подтвердившихся или не подтвердившехся, поддающихся верификации или нет – по правде, они поддаются проверке не более, чем любая система проекций. И именно в этом заключается сложность анализа.

С этой трудностью мы сталкиваемся в интерпретации сопротивлений – как можно действовать на уровне наименьшей насыщенности речи? Как можно действовать в рамках интерпсихологии *ego* и *alter ego*, из которых сама деградация процесса речи не позволяет нам выйти? Другими словами, каковы возможные отношения между тем вмешательством речи, которым является интерпретация, и уровнем эго, всегда подразумевающим соотнесенность анализируемого и аналитика? Как можем мы использовать речь в аналитическом опыте надлежащим образом, если ее функция столь извращена в направлении другого, что речь уже больше не является даже опосредованием, но лишь имплицитным насилием, сведением другого к корреляту собственного Я субъекта?

Вы видите, насколько зыбкой является поле этой проблемы. В связи с чем возникает следующий вопрос – что означает эта, найденная в другом опора? Почему другой тем меньше является подлинно другим, чем исключительнее становится его функция опоры?

Выйти из этого порочного круга – вот задача психоанализа. Однако история аналитической техники свидетельствует о том, что в проблеме сопротивления делается все больший упор на собственное Я – не заставляет ли нас это лишь сильнее увязнуть в порочном круге? Ту же проблему можно выразить и в другом виде – почему происходит тем большее отчуждение субъекта, чем сильнее утверждается он в качестве собственного Я?

Тут же возвращаемся мы и к вопросу нашей предыдущей встречи – кто он, тот, кто по ту сторону собственного Я ищет признания?

3 февраля 1954 года.

V

ВВЕДЕНИЕ К СООБЩЕНИЮ ЖАНА ИППОЛИТА “О ПОНЯТИИ *VERNEINUNG* У ФРЕЙДА” И ОТВЕТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Лингвистическое переплетение.
Философские дисциплины.
Структура галлюцинации.
Отрицание во всяком отношении к другому.

В прошлый раз вы могли познакомиться с изложением центрального отрывка работы Фрейда “*Динамика переноса*”.

Суть нашего изложения состояла в следующем: важнейший по своему значению феномен переноса берет свое начало в том, что я назвал бы сутью движения сопротивления. Я выделил тот остававшийся скрытым в аналитической теории момент, когда суть сопротивления проявляется в отклонении маятника речи в сторону присутствия слушателя, свидетеля, каковым является аналитик. Момент остановки речи пациента оказывается обычно самым значительным моментом его подступа к истине. Мы встречаем здесь сопротивление в чистом виде, кульминирующее в зачастую окрашенном тревогой чувстве присутствия аналитика.

Я учил вас, что задаваемый при этом аналитиком вопрос – ставший для некоторых почти автоматическим, поскольку рекомендован он был Фрейдом, – “Не приходит ли вам в голову что-либо, касающееся меня, аналитика?”– является не более, как активизмом, оформляющим ориентацию речи на аналитика. Оформление же это демонстрирует лишь одно – что дискурс субъекта, поскольку ему не удалось достичь полной речи, где должна была открыться его бессознательная основа, адресуется теперь аналитику, стремится его увлечь и опирается на ту отчужденную форму существа, которую называют эго.

1

Связь эго с другим, отношение субъекта к другому себе, к подобному, через отношение к которому он с самого начала был сформирован, является главнейшей структурой строения человека.

Именно исходя из такой воображаемой функции мы можем понять и объяснить, чем является эго в анализе. Я говорю не об эго в психологии, где оно представляет собой синтетическую функцию, а об эго в анализе – функции динамической. Тут эго проявляется как защита, отказ. Сюда вписана вся история последовательных оппозиций, проявленных субъектом в интеграции “его глубинных и неизведанных влечений”(впоследствии названных так в теории, но лишь впоследствии). Другими словами, в такие моменты сопротивления, указанные Фрейдом как нельзя более ясно, мы улавливаем нечто, благодаря чему сам ход аналитического опыта обособляет фундаментальную функцию эго – непризнавание.

На примере анализа сновидения я показал вам движущую силу, ключевой момент исследования Фрейда. В форме почти парадоксальной вам было продемонстрировано, насколько фрейдовский анализ сновидений имеет функцию речи. Ведь Фрейд улавливает последний след исчезнувшего сновидения именно в тот момент, когда субъект целиком обращается к нему самому. Именно в той точке, когда от сновидения остается лишь одинокий след, лишь обрывок, отдельное слово, мы обнаруживаем в нем острие переноса. Я уже упоминал о том многозначительном, особняком стоящем прерывании, которое может стать поворотным моментом аналитического сеанса. Сон моделируется точно таким же процессом.

Кроме того, мы рассмотрели значение речи, которая не была произнесена, поскольку субъект отверг, *verworfen*, отбросил ее. Вы ощутили свойственный речи вес в забывании слова – на примере, взятом из “*Психопатологии обыденной жизни*”, – и сколь чувствительна разница между тем, что должна была выразить речь субъекта, и тем, что ему остается для обращения к другому. В упомянутом случае под воздействием слова *Herr* в речи субъекта появляется нехватка – Фрейд не может вспомнить слово “*Signorelli*” в разговоре с собеседником, перед которым мгно-

вением раньше слово "*Herr*" возникло потенциальным образом в своем полном значении. Итак, этот момент, вскрывающий фундаментальную связь сопротивления с динамикой аналитического опыта, подводит нас к вопросу, полюсами которого являются два термина – эго и речь.

Вопрос этот, заслуживающий стать предметом специального изучения, рассматривался поверхностно: так, г-н Фенихель, к примеру, считает, что именно посредством эго субъект узнает смысл слов. Нет нужды быть аналитиком, чтобы понимать, по крайней мере, спорность такого положения. Даже допуская, что в ведении эго находятся наши двигательные проявления, а следовательно, и произнесение вокабул, именуемых словами, можно ли говорить, что все сокрытое в словах дискурса действительно относится к владениям эго?

Символическая система чудовищно запутана, она отмечена той *Verschlungenheit*, переплетенностью, звучащей во французском переводе технических работ как "*сложность*", что слишком слабо отражает смысл сказанного. "*Verschlungenheit*" означает лингвистическую переплетенность – всякий легко выделяемый лингвистический символ не только зависит от всей их совокупности, но устанавливается целым рядом совпадений и пересечений; будучи сверхдетерминирован оппозициями, он функционирует сразу в нескольких регистрах. Система языка, где двигается наш дискурс, бесконечно шире всякого намерения, которое мы сами ему сообщаем и которое является лишь мимолетным.

Именно на подобных двусмысленностях, богатствах, изначально подразумеваемых символической системой (а такая система устанавливается традицией, куда мы включены как индивиды в большей степени, чем нам о том известно и чем мы можем смутно подозревать), – именно на таких функциях играет аналитический опыт. Каждый момент аналитического опыта состоит в демонстрации субъекту того, что говорит он гораздо больше, чем думает сказать, – ограничимся лишь этим аспектом проблемы.

Мы могли бы рассмотреть и ее генетический аспект, но нам пришлось бы тогда углубиться в столь далеко идущее психологическое исследование, так что приступать к нему сейчас было

бы не время. Тем не менее, мы, бесспорно, не должны судить о приобретении языковых качеств как таковых исходя из овладения двигательными функциями, проявляющимися в произнесении первых слов. Наблюдения за появлением первых слов, которыми тешат себя исследователи, оставляют нетронутой следующую проблему: действительно ли воспроизведение слов двигательным аппаратом отвечает первому усвоению совокупности символической системы как таковой.

Как показывает клиника, значения первых слов оказываются совершенно случайными. Всем известно, насколько поразному проявляются в лепете ребенка первые фрагменты языка и как удивительно бывает слышать, что ребенок сначала начинает произносить не существительные, не названия объектов, а наречия, частицы, всякого рода "*может быть*" или "*пока нет*".

Такая предварительная постановка проблемы кажется необходимой для того, чтобы наметить какое-либо значительное исследование. Не поняв автономности символической функции для человека, невозможно избежать грубейших ошибок даже исходя из прямых фактов.

Поскольку я не читаю здесь курс общей психологии, у меня нет оснований возвращаться к этим вопросам.

2

Сегодня я хотел бы сделать лишь вводные замечания по проблеме эго и речи в свете того, как предстает она в нашем опыте.

Рассматривать данную проблему мы можем лишь исходя из того момента, когда она была сформулирована. Мы не можем вести себя так, как если бы фрейдовской теории эго не существовало. Фрейд противопоставил *эго* и *оно*, и эта теория пронизывает все наше понимание теории и практики психоанализа. Вот почему сегодня я хотел бы привлечь ваше внимание к тексту под названием "*Verneinung*".

"*Verneinung*", как заметил мне только что г-н Ипполит, это "запирательство" (dénégation), а не "отрицание" (négation) (как оно переведено на французский). Именно в этом смысле говорил о нем каждый раз и я в моих семинарах.

Текст относится к 1925 году, он появился позже статей о психологии "*я*" и его отношения к "*оно*", в частности – позже "*Das Ich und das Es*". В данной работе Фрейд возвращается ко всегда насущному для него вопросу о связи эго с речевыми проявлениями субъекта в ходе сеанса.

Мне показалось, и вы увидите почему, что г-н Ипполит, присутствие и выступление которого весьма почетны для нас, являет нам свидетельство беспристрастного критического мышления во всем, что мы знаем о его предшествующих работах.

Обсуждаемая проблема затрагивает если не всю теорию познания, то, как минимум, – суждения. И поэтому я попросил г-на Ипполита не только дополнить меня, но и сообщить строгому тексту "*Die Verneinung*" те нюансы, что лишь он один способен отметить.

Я думаю, что здесь возникли бы определенные сложности для мышления, неискушенного в тех философских дисциплинах, без которых нельзя обойтись в данном вопросе. Нашему опыту чужда приблизительность. Мы не должны провоцировать у субъекта возвращение эфемерного, смутного опыта, в чем состояла бы вся магия психоанализа. Итак, выслушивая квалифицированные суждения людей, искушенных в вопросах языка и философских дисциплинах, по поводу подобных текстов, мы вполне находимся в границах наших задач.

Данная работа лишний раз свидетельствует о первостепенном значении всех трудов Фрейда, где акцент, охват, особая направленность каждого слова заслуживают того, чтобы быть оцененными и включенными в самый строгий логический анализ. Именно такие нюансы и отличают эти слова от тех же терминов, более или менее приблизительно сгруппированных последователями Фрейда, которые знакомились с проблемой, если можно так сказать, из вторых рук и никогда ее полностью не разрабатывали, – следствием чего явилась деградация аналитической теории, оборачивающаяся вечным разбродом мнений.

Прежде чем предоставить слово г-ну Ипполиту, я хотел бы привлечь ваше внимание к замечанию, сделанному им в ходе спора, возникшего в результате своеобразного взгляда на вещи

тех, кто говорил об отношении Фрейда к пациентам и стиле его вмешательств. Тогда г-н Ипполит пришел Z* на помощь...

Ипполит: – ...в одном лишь моменте.

Лакан: – ...да, в одном. Если вы помните, речь шла о том, чтобы выявить основополагающее, сознательное (intentionnelle) отношение Фрейда к пациенту, двигавшее его намерением заменить подчинение, производимое внушением или гипнозом, на анализ сопротивлений посредством слов.

Я весьма сдержанно отнесся к мысли, что это было проявлением воинственности, стремления к власти – остаточных явлений его амбициозного поведения в юности.

И один текст, отрывок из "*Массовой психологии и анализа человеческого Я*", является в этом плане решающим доказательством. В данной работе Фрейдом впервые выведено Я как автономная функция – в связи с коллективной психологией, то есть в отношении к другому. Я заметил вам это лишь с тем, чтобы подтвердить мою собственную точку зрения относительно функции собственного Я. Итак, отрывок из четвертой главы "*Внушение и либидо*".

"*Все вышесказанное подготовляет утверждение, что внушение (вернее внушаемость) является далее неразложимым прафеноменом, основным фактом душевной жизни человека. Так считал и Бернгейм, изумительное искусство которого я имел случай наблюдать в 1889 году. Но и тогда я испытывал уже смутное чувство протеста против тирании внушения, когда на больного, оказавшегося недостаточно податливым, кричали: "Да что же вы делаете? Vous vous contre-suggestionnez!", то я говорил себе, что это вопиющая несправедливость и насилие. Человек, конечно же, имеет право на противовнушение, если его пытаются подчинить себе посредством внушения. Мой протест принял затем конкретную форму возмущения тем фактом, что внушение, все якобы объяснявшее, само объяснению не подлежало. Я повторял по этому поводу одну старую шутку: "Христофор носил Христа, а Христос – весь мир, скажи-ка, куда же тогда Христофорова ступала нога?*".

Ведь это настоящий бунт Фрейда против насилия, которое может нести в себе слово. Потенциальная склонность анализа сопротивлений, о которой говорил тогда Z* является полным искажением смысла анализа, и в практике его следует избегать. Я полагаю, что в этом отношении данный отрывок весьма показателен и заслуживает того, чтобы его процитировали.

Еще раз поблагодарив г-на Ипполита за сотрудничество, я прошу его высказать свои соображения по поводу текста "*Verneinung*". Как я слышал, г-н Ипполит достаточно много уделил ему внимания.*

3

Мы крайне признательны г-ну Ипполиту за предоставленную нам возможность проследить за мыслью Фрейда в полном объеме и коснуться того, что находится за пределами позитивной психологии и что ему замечательно удалось определить.

Мимоходом я хотел бы заметить следующее: настаивая в семинарах на транспсихологическом характере поля психоанализа, мы лишь обнаруживаем то, что в нашем опыте очевидно, как очевидно оно и в каждой работе человека, впервые открывшего перед нами двери психоанализа.

Нам есть что вынести из размышления над данным текстом. Крайняя насыщенность сообщения г-на Ипполита, возможно, в некотором смысле более дидактична, нежели то, что говорю вам я, в своем стиле и с определенными намерениями. Я попрошу размножить текст его доклада для всех присутствующих, поскольку я думаю, что он представляет собой наилучшее предисловие к тому различению уровней, к тому критическому исследованию понятий, в которые я стараюсь посвятить вас с целью избавиться от всякого рода путаницы.

Разрабатывая текст Фрейда, г-н Ипполит показал нам различие уровней *Bejahung*, принятия, с одной стороны, и той негативности, что закладывает на более низком уровне – я специ-

---

* *Текст сообщения Ипполита можно прочитать в* Ecrits *(стр 879-887) или в* "Figures de la pensee philosophique" *Жана Ипполита, Paris, 1971 – v. 1, pp385-396.* [См. также приложения к этому тому.]

ально пользуюсь огрубленными формулировками – строение субъектно-объектного отношения, с другой. Вот о чем с самого начала говорит нам столь незначительный на первый взгляд текст, предвосхищая, таким образом, некоторые из наиболее современных выводов философской мысли.

Одновременно это позволяет нам разоблачить двусмысленность, от которой не могут избавиться многие авторы, говоря о пресловутой оппозиции интеллектуального аффективному – как если бы аффективное было своего рода окраской, невыразимым качеством, которое следует искать в нем самом и совершенно независимо от опустошенной оболочки чисто интеллектуальной реализации отношения субъекта. Такая концепция, толкающая анализ на своеобразный путь по крайней мере наивна. Малейшее необычное, даже странное чувство, выказываемое субъектом в тексте сеанса, воспринимается как потрясающий успех. Вот что вытекает из такого основополагающего непонимания.

Аффективное не является как бы особой плотностью, которой не хватает интеллектуальной разработке. Оно не размещается в мифической области по ту сторону продуцирования символа – якобы предшествующей формулированию дискурса. Уже одно это позволяет нам уловить, я не говорю определить, в чем состоит полная реализация речи.

У нас осталось немного времени. Я хотел бы сразу же на конкретных примерах показать, каким образом ставится вопрос. Тут стоит выделить две стороны.

4

Рассмотрим сначала феномен, разработка которого полностью обновила перспективу психопатологической мысли – я имею в виду галлюцинацию.

До определенного момента галлюцинация рассматривалась как критический феномен, в котором сосредотачивался вопрос о различительной способности сознания, – считалось, что само сознание не может быть подвержено галлюцинации и здесь должно быть нечто другое. Однако достаточно было вникнуть в новую феноменологию восприятия, как она была сформулирована в книге Мерло-Понти, чтобы увидеть, как, на-

против, галлюцинация необходимым образом вписывается в интенциональность субъекта.

Чтобы объяснить продуцирование галлюцинации, довольствуются, как правило, отдельными регистрами, например – регистром принципа удовольствия. Таким образом, галлюцинацию рассматривают как некое первичное движение, подчиняющееся направленности субъекта на удовлетворение. Мы же не вправе довольствоваться столь простой теорией.

Вспомните тот пример из "*Человека с волками*", что я цитировал вам в прошлый раз. Ход анализа этого пациента, противоречия, представленные определенными чертами, по которым мы прослеживаем развитие его ситуации в человеческом мире, указывают на *Verwerfung*, отбрасывание – генитального плана, буквально, как если бы для него этого плана не существовало вовсе. Такое отбрасывание мы должны расположить на уровне отсутствия *Bejahung*, поскольку поместить его на том же уровне, что и отпирательство, мы не в праве.

Поразительно то, что отсюда вытекает. В свете полученных сегодня объяснений по поводу "*Die Verneinung*" вещи становятся гораздо более понятными. В самых общих чертах, условием того, чтобы нечто существовало для субъекта, является *Bejahung*, которое не есть отрицание отрицания. Что же происходит, когда *Bejahung* не производится и ничто, таким образом, не проявляется в регистре символического?

Обратимся к "человеку с волками". Для него не существует *Bejahung*'а, реализации генитальной плоскости. В символическом регистре ничто не говорит нам о присутствии этой плоскости. Единственный ее след выступает вовсе не в его истории, но действительно во внешнем мире – небольшой галлюцинации. Кастрация, которой, собственно, для него не существовало, проявляется в форме того, что он себе воображает: он так сильно порезал себе мизинец, что тот держится лишь на кусочке кожи. Его охватывает тогда ощущение столь невыразимой катастрофы, что он не решается даже сказать о ней лицу, находившемуся рядом. То, о чем он не решается сказать,– это как бы упразднение человека, на которого он выливает затем все свои эмоции. Другого больше нет. Существует лишь своего рода непосредственный внешний мир – проявления, воспринимаемые

в “примитивном реальном”, как я его назвал, в реальном, не подвергшемся символизации, несмотря на символический, в общепринятом понимании, смысл данного феномена.

Субъект вовсе не является психотиком. У него лишь одна галлюцинация. Он может стать психотиком позже, но в момент этого переживания, совершенно ограниченного, узлового, чужеродного опыту его детства и совершенно несвязного – он психотиком не является. В данный момент его детства ничто не позволяет классифицировать его случай как шизофрению, но речь идет, на самом деле, о феномене психоза.

В данном случае на уровне первичного опыта, в исходной точке, где возможности символа открывают для субъекта новое отношение к миру,– имеет место определенная соотнесенность, уравновешенность (и это важно понять) – то, что не признано, вторгается в сознание в форме увиденного.

Если вы углубите эту частную поляризацию, вам будет намного легче освоить двусмысленный феномен дежа-вю, размещающийся как раз между двумя данными способами отношения – признанным и увиденным. Вместе с уже-виденным нечто во внешнем мире оказывается на их границе и появляется с особым пред-значением. То же самое имеет в виду Фрейд, говоря, что всякое переживание внешнего мира имплицитно относится к чему-то, уже воспринятому в прошлом. Это можно расширить до бесконечности – в некотором роде всякое воспринятое обязательно предполагает отнесенность к воспринятому ранее.

Итак, мы подошли к уровню воображаемого как такового, к уровню образа – модели изначальной формы, где речь не идет о символизированном и вербализованном признании. Это те самые проблемы, что поднимались в платоновской теории – не припоминания, а реминисценции.

Я сказал, что приведу вам другой пример из практики поборников так называемого современного способа анализа. Но вы увидите, что эти принципы уже были изложены в 1925 году в тексте Фрейда.

Большое значение приписывается тому факту, что сначала мы проводим анализ – как говорят, “на поверхности”. Это, якобы, то главное, что позволяет пациенту продвигаться вперед

избегая интеллектуальной стерилизации всплывающего в анализе содержания.

Крис в одной из своих статей излагает случай уже однажды анализированного пациента, попавшего к нему на анализ. В своей профессиональной деятельности этот пациент испытывал серьезные затруднения. Причем его беспокойства, связанные с интеллектуальной специальностью, кажутся вполне сходными с теми, что могут возникнуть и в нашем деле. Все трудности были связаны с "продуцированием" мыслей. В самом деле, всю его жизнь отравляло чувство, что он, должно быть, "плагиатор" (скажем так для краткости). Он беспрестанно обменивался идеями с одним близким другом, блестящим *scholar*, но чувствовал при этом, что пытается позаимствовать мысли, сообщаемые ему собеседником, – вот что было вечной помехой всему, что он хотел опубликовать, издать.

Тем не менее, ему удается написать один текст. Но вскоре он почти с триумфом объявляет, что вся его работа уже находится в библиотеке, в одной напечатанной статье. На этот раз он уже невольно стал плагиатором.

В чем же будет состоять так называемая поверхностная интерпретация, предложенная Крисом? Вероятно, в следующем: Крис поинтересовался, что же действительно произошло и что было в библиотечной статье. При ближайшем рассмотрении он заметил, что главное содержание работы его пациента там как раз не присутствовало. В статье разрабатывались поднимавшие тот же вопрос темы, но новые взгляды его пациента не были представлены вовсе, и работа последнего была на самом деле совершенно оригинальной. Вот, из чего надо, по словам Криса, исходить, и вот что он назвал – я не знаю, почему – рассмотрением на поверхности.

Однако, говорит Крис, если субъект старался показать ему, что все его действия встречают препятствия, то дело здесь в том, что его отцу никогда ничего не удалось издать, ведь тот был задавлен – во всех смыслах слова – дедом пациента, человеком творческим и плодовитым. Ему необходимо было видеть в отце своего деда (grand-pè re) – отца, ставшего большим, способного что-либо сделать, и он удовлетворял этой необходимости придумывая себе опекунов, которые были значительнее (больше)

него и в зависимость от которых плагиат ставил его – вот почему он упрекал себя в плагиате и таким образом ломал себе жизнь. Итак, он лишь удовлетворял потребности, которая мучила его в детстве и, следовательно, стала доминировать в его истории.

Бесспорно, такая интерпретация приемлема. И важно видеть реакцию на нее субъекта. В чем Крис усматривает подтверждение значимости того, что он сообщил и что имеет далеко идущие последствия?

В дальнейшем мы видим, как разворачивается история. Мы увидим, как через все детские игры, например игру в рыбалку – *поймает ли отец большую рыбу?* и т. п. – проходит, собственно говоря, относящаяся к пенису символизация потребности в реальном отце, всемогущем творце. Однако непосредственная реакция была следующей. Он промолчал, а на следующем сеансе сказал: "*Как-то, выйдя с сеанса, я пошел на такую-то улицу* – все происходит в Нью-Йорке, и речь идет об улице, где находятся иностранные рестораны с пряной кухней, – *и стал искать местечко, где я мог бы отведать мое любимое лакомство – свежие мозги*".

Вот что такое ответ на верную интерпретацию – это уровень речи одновременно парадоксальной и полной в ее значении.

Чему обязана такая интерпретация своей справедливостью? Идет ли речь о чем-то поверхностном? Что это может значить, если не то, что Крис, совершив тщательный обходной маневр, конец которого можно было бы и предвидеть, заметил следующее: субъект в том особом своем проявлении, каким является продуцирование организованного дискурса, где он всегда является субъектом так называемого процесса "запирательства" и где совершается интеграция его эго, может отражать свое фундаментальное отношение к собственному идеальному Я лишь в обратной форме.

Другими словами, отношение к другому в той мере, в какой в нем стремится выразиться первичное желание субъекта, уже в самом себе содержит тот основополагающий исходный элемент запирательства, который приобретает здесь форму инверсии.

Как видите, тут перед нами встают новые проблемы.

Однако чтобы продолжить, нам следовало бы определить разницу уровней – с одной стороны, символическое как таковое, символическая возможность, открытие человека символам и, с другой стороны, кристаллизация символического в организованном дискурсе, который содержит в себе принципиальное противоречие. Я думаю, что комментарий г-на Ипполита в совершенстве эту разницу продемонстрировал. Мне хотелось бы, чтобы вы умели пользоваться его понятийным аппаратом и могли опираться не него на всех сложных перекрестках нашего изложения. Мне остается лишь еще раз поблагодарить г-на Ипполита за то, что он с присущей ему высокой компетенцией предоставил нам такое подспорье.

10 февраля 1954 года.

VI

АНАЛИЗ ДИСКУРСА И АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО Я

Анна Фрейд или Мелани Кляйн

Сперва я хотел бы обратиться к области, границы которой были очерчены в ходе нашей предыдущей встречи, т. е. к области, заключенной между образованием символа и дискурсом собственного Я. С начала года мы уже успели несколько продвинуться в ее изучении.

Сегодняшнему семинару я дал заголовок "*Анализ дискурса и анализ собственного Я*", но я не могу обещать, что за одну встречу смогу осветить столь обширную тему. Противопоставляя два данных термина, я хотел бы заменить ими классическую оппозицию: анализ материала – анализ сопротивлений.

Г-н Ипполит в комментируемом им тексте о *Verneinung* выявил всю сложность и смысловую подвижность термина *Aufhebung*. В немецком этот термин одновременно означает отвергать, отменять, но также и сохранять в отмене, возводить. Это пример понятия, которое заслуживает стать предметом более углубленного изучения в русле размышлений о том, что мы делаем в нашем диалоге – диалоге с субъектом, как было однажды замечено психоаналитиками.

1

Не возникает никаких сомнений, что мы имеем дело с собственным Я пациента, с его ограничениями, защитами, с его характером. Мы должны сделать так, чтобы оно выдвинулось на первый план. Но какова его функция в данной операции? Вся аналитическая литература как бы затрудняется определить это точно.

Все недавно созданные теории, рассматривающие собственное Я анализируемого в качестве союзника аналитика в Великом Деле психоанализа, полны явных противоречий. И неудивительно – как не прийти к понятию не просто биполярности или бифункционирования собственного Я, а *splitting*'а, коренного

различия двух собственных Я, если считать собственное Я автономной функцией и в то же самое время рассматривать его как виновника ошибок, пристанище иллюзий, вместилище свойственных ему страстей, ведущих к незнанию. Именно функцией незнания является собственное Я в анализе, как, впрочем, и в широкой философской традиции.

В книге Анны Фрейд "*Я и механизмы защиты*" есть отрывки, которые, похоже (если не останавливаться на языке, порой озадачивающем своим вещным характером) , свидетельствуют о том, что она рассуждает о "собственном Я" в духе, которого стараемся здесь придерживаться и мы сами. И в то же время складывается ощущение, что она говорит о человечке-в-человеке, ведущем в субъекте самостоятельное существование и призванном его защищать – "*Отец, посторонитесь вправо, посторонитесь влево*", – от всех внутренних и внешних напастей. Если воспринимать ее книгу как произведение моралиста, то нельзя не заметить, что она говорит о собственном Я как о пристанище страстей в стиле, достойном рассуждений Ларошфуко о неистощимом коварстве человеческого самолюбия.

Динамическая функция собственного Я в аналитическом диалоге остается и до сегодняшнего дня глубоко противоречивой, поскольку не была строго определена. И такое положение дает о себе знать всякий раз, когда мы приступаем к вопросу о принципах техники.

Я думаю, многие из вас читали эту книгу Анны Фрейд. Она довольно поучительна, а благодаря достаточной строгости изложения в ее доказательствах можно заметить изъяны, которые становятся в приводимых примерах еще ощутимее.

Взгляните на те отрывки, где Анна Фрейд пытается определить функцию собственного Я. В анализе – говорит она – собственное Я проявляется лишь в защитах, то есть лишь постольку, поскольку оно противостоит аналитической работе. Значит ли это, что все противостоящее аналитической работе является защитой со стороны собственного Я? Она признает, что такая точка зрения неверна и что есть другие элементы сопротивления помимо защит собственного Я. Не напоминает ли это и наш подход к данной проблеме? Много поднятых нами вопросов затронуто в упомянутой книге, и читать ее стоит за письменным

столом, поскольку книга эта носит характер завещания, очень неплохо передающего последние наработки Фрейда по проблеме собственного Я.

Один близкий нам человек из *Общества*, которого на конгрессе 1950 года по непонятным причинам охватил лирический порыв, назвал Анну Фрейд "*нитью отвеса психоанализа*". Что ж, в архитектуре одного лишь отвеса еще не достаточно. Тут необходимы и другие инструменты, уровень, например. Но, по крайней мере, и отвес неплох – он позволяет нам наметить вертикаль некоторых проблем.

Я попрошу г-жу Желинье представить нам статью Мелани Кляйн под названием "*Значение образования символа в развитии собственного Я*". Я думаю, что чтение текста Анны Фрейд, касающегося анализа детей и отдельно – защит Я, послужит прекрасным введением к статье Кляйн.

Вот небольшой пример, приводимый Анной Фрейд. Речь идет об одной из ее пациенток, анализировавшейся по поводу состояния серьезного беспокойства, нарушавшего ее жизнь, ее учебу и возникавшего из-за необходимости слушаться матери.

> "*В начале анализа,* – пишет Анна Фрейд,– *она относилась ко мне дружелюбно и без стеснения, но в то же время я замечала, что она тщательно избегает в своих рассказах малейших намеков на свой симптом и обходит молчанием приступы беспокойства, случавшиеся с ней в интервалах между сеансами. Но когда я настоятельно пыталась обратиться в анализе к симптомам или интерпретировать беспокойство, выдаваемое некоторыми ассоциациями, дружелюбный настрой пациентки тут же менялся. Каждый раз она обрушивала на меня поток иронических замечаний и насмешек. Попытки связать такое поведение больной с ее отношением к матери не имели успеха. Картины сознательного и бессознательного отношения молодой девушки к ее матери были совершенно различны. Ее беспрестанно возобновляемая ирония, сарказм расстраивали ход анализа и сделали на некоторое время бесполезным продолжение работы. Однако более глубокий анализ впоследствии показал, что глумление и осмеивание не являли собой реакцию переноса как таковую и вовсе не были*

связаны с аналитической ситуацией. К такому маневру, направленному против нее же самой, пациентка прибегала каждый раз, как чувства нежности, желания или беспокойства готовы были появиться в ее сознании. Чем сильнее было давление аффекта, тем с большей горячностью и язвительностью высмеивала себя молодая девушка. На аналитика же реакция защиты направлялась лишь вторично, поскольку аналитик содействовала появлению в сознании больной ощущения беспокойства. Знание содержания такого беспокойства при том, что все другие высказывания пациентки позволяли дать ему точную интерпретацию, оставалось недейственным, так как любая попытка приблизиться к аффекту лишь усиливала защиту. И возможность сделать сознательным содержание тревоги появилась лишь после того, как удалось довести до сознания больной и таким образом обезвредить способ защиты против аффектов путем ироничного уничижения – процесс, осуществлявшийся до тех пор автоматически во всех жизненных ситуациях. С исторической точки зрения, такой метод защиты иронией и осмеиванием объясняется у нашей пациентки идентификацией с ее покойным отцом, который обучал дочь самообладанию, высмеивая ее всякий раз, как она позволяла проявиться чувствам. Метод защиты против аффектов запечатляет здесь воспоминание о нежно любимом отце. В данном случае техника должна быть следующей: прежде всего необходимо проанализировать защиту пациентки против ее аффектов, что позволит затем исследовать ее сопротивление в переносе. Лишь тогда станет возможным действительно проанализировать беспокойство и его предысторию".

Что же имеется здесь в виду под необходимостью анализа защит собственного Я? – да не что иное, как коррелят заблуждения. В самом деле, Анна Фрейд сразу же начинает рассматривать вещи в аспекте дуальных отношений между ней самой и больной. Она приняла защиту больной за то, посредством чего она проявляется, – за агрессивность, направленную против нее, Анны

Фрейд. Именно в плоскости ее собственного, Анны Фрейд, Я, в рамках дуального отношения к ней, Анне Фрейд, она замечает проявление защит Я. Она хотела бы тут же увидеть и проявление переноса, согласно формуле, представляющей перенос как воспроизведение некоторой ситуации. Хотя данная формула и употребляется столь часто, что считается классической, она все же неполна, поскольку не уточняет, каким образом структурирована ситуация. Все, что я сейчас сказал, соотносится с текстом моей лекции в *College philosophique*.

Анна Фрейд начала интерпретировать аналитическое отношение в соответствии с прототипом дуального отношения – пациентки к ее матери. Однако она тут же оказалась в "мертвой точке" совершенно неплодотворной позиции. Что означают слова "*сперва проанализировать защиту против аффектов*"? Если опираться на текст, то тут можно увидеть лишь новый этап в ее собственном понимании данного случая. Ей следовало продвигаться по другому пути. Она должна была различить дуальную интерпретацию, где аналитик вступает с анализируемым в соперничество, идущее от собственного Я к собственному Я, – и интерпретацию, продвигавшуюся в направлении символического структурирования субъекта и находящуюся по ту сторону актуальной структуры его собственного Я.

Тут мы возвращаемся к следующему вопросу – о каком *Bejahung*, о каком принятии собственным Я, о каком "*да*" идет речь в продвижении анализа? Каково то *Bejahung*, то фундаментальное разоблачение, которого необходимо добиться в ходе анализа?

Фрейд в работе из сборника "*Краткое изложение психоанализа*" (попадающей в область нашего внимания, поскольку называется она "*О психоаналитической технике*") на стр. 40 французского издания говорит, что вхождение в аналитическую ситуацию определяется заключением договора. "*Больное Я пациента обещает нам полную откровенность, т. е. свободный доступ ко всему, что сообщает ему его самовосприятие. С нашей стороны, мы гарантируем ему полную корректность и передаем в его распоряжение наш опыт интерпретации материала, предоставленного бессознательным. Наше знание компенсирует его неведение и позволяет его собственному Я*

восстановить и упорядочить утраченные области его психической жизни. Именно такой пакт конституирует всю аналитическую ситуацию".

Что ж, как подразумевалось в нашей последней лекции, если и верно, что наше знание приходит на помощь неведению анализируемого, тем не менее мы и сами находимся в неведении, поскольку нам неизвестна заложенная в бессознательном субъекта символическая констелляция. Более того, такую констелляцию всегда следует считать структурированной в соответствии с определенным сложным порядком, каким является комплекс.

Слово "*комплекс*" появилось на горизонте аналитической теории под воздействием своего рода внутренней силы – вы ведь знаете, что понятие это было введено не Фрейдом, а Юнгом. Если обратиться к открытию бессознательного, мы обнаружим там структурированные, организованные, комплексные ситуации. Первый образец, эталон такой ситуации Фрейд дает нам в комплексе Эдипа. Те, кто давно посещают мои семинары, могли по ходу моего комментария случаев, наиболее полно очерченных самим Фрейдом и поэтому могущих служить нам каким-то гарантом (я говорю о трех из пяти больших анализов), заметить, сколь много проблем ставит комплекс Эдипа и сколь много содержит он двусмысленностей. В общем, все развертывание анализа происходило путем последовательного выделения каждой из связей, сопряженных в этой треугольной системе. Уже одно это заставляет нас видеть в комплексе Эдипа нечто совершенно отличное от тяжеловесной классической формулы – сексуальное влечение к матери и соперничество с отцом.

Вам известно, что каждое из составляющих структуру Эдипа дуальных отношений с самого начала носит характер принципиально ассиметричный. Отношение, связывающее субъекта с матерью, отлично от его отношения к отцу; нарциссическое или воображаемое отношение к отцу отлично от отношения символического, а также от того отношения, которое мы должны назвать реальным и которое является остаточным в архитектуре, интересующей нас в анализе. Все это убедительно демонстрирует нам сложность структуры, и вполне возможно, что другое направление исследования позволит разработать миф об Эдипе лучше, нежели это было сделано до сих пор.

Несмотря на все богатство заключенного внутри Эдипова отношения материала, от схемы, данной Фрейдом, никто никогда не отступал. Данную схему следует воспринимать как основную, поскольку она является действительно фундаментальной (и вы увидите, почему) не только для всего понимания субъекта, но и для всей символической реализации субъектом "оно", бессознательного. Причем бессознательное является чем-то самостоятельным, а не рядом неорганизованных влечений, как можно было бы подумать, читая те места теоретических разработок Фрейда, где утверждается, что лишь Я обладает организацией в психической жизни.

В прошлый раз мы видели, что даже сведение на нет относящегося к непризнанному отрицания не дает нам со стороны субъекта его *Bejahung*. Нам необходимо ближе рассмотреть значимость требуемых нами критериев – с которыми, впрочем, согласен и пациент, – для признания удовлетворительности *Bejahung*.

В чем черпаем мы свою убежденность? Субъектом должна быть удостоверена подлинность аналитической реконструкции. Именно при помощи пробелов должно быть вновь пережито воспоминание, и Фрейд не зря напоминает нам, что мы никогда не должны полностью доверять памяти. Чем же именно мы довольствуемся, когда субъект говорит нам, что настал вдруг момент, когда у него появилось ощущение истины?

Этот вопрос восходит к сути проблемы чувства реальности, о котором я говорил в связи с генезисом галлюцинации человека с волками. Я дал тогда следующую, почти алгебраическую, формулу, которая кажется едва ли не прозрачной, излишне конкретной: реальное, или то, что таковым воспринимается, является тем, что категорически противится символизации. Ведь в конечном счете, чувство реального в своем максимуме предстает именно в кричащем проявлении ирреальной, галлюцинаторной реальности.

У "человека с волками" символизация смысла генитальной плоскости была *verworfen*. Кроме того, разве не приходилось нам удивляться, что некоторые интерпретации, так называемые "интерпретации содержания", остаются субъектом не символизированы? Подобные интерпретации появляются на этапе, ко-

гда они ни в коей мере не могут открыть субъекту его место в запретной области бессознательного, поскольку происходят лишь в плоскости негации или в плоскости отрицания отрицания. Остается преодолеть еще какой-то порог – порог, лежащий по ту сторону дискурса и требующий от него разрыва, прыжка. Вытеснение не может попросту исчезнуть, оно должно быть преодолено в смысле *Aufhebung*.

То, что Анной Фрейд было названо анализом защит против аффекта, представляло собой лишь новый этап ее собственного понимания, а не понимания со стороны самого субъекта. Как только она заметила, что ошиблась, принимая защиту субъекта за защиту против нее самой, она смогла приступить к анализу сопротивлений переноса.

К чему же это ее привело? – к чему-то третьему, не присутствующему непосредственно. И тут она выявляет нечто весьма сходное с позицией Доры. Пациентка идентифицировала себя с отцом, и эта идентификация структурировала ее собственное Я. Данное руктурирование было опознано в данном случае в качестве защиты. Это самая поверхностная идентификация, но таким косвенным путем можно добраться до более глубокой плоскости и определить место субъекта в символическом порядке. Именно таков смысл анализа – узнать, какую функцию берет на себя субъект в строе символических отношений. Первичной же клеткой этого строя, покрывающего все поле человеческих отношений вообще, является комплекс Эдипа, определяющий принятие пола.

Теперь я передаю слово г-же Желинье, которая познакомит нас с точкой зрения Мелани Кляйн. Ее точка зрения противоположна позиции Анны Фрейд – не случайно эти две в чем-то похожие дамы завязали между собой столь живо напоминающее историю Меровингов соперничество.

Интеллектуалистская позиция Анны Фрейд привела ее к воззрению, что весь анализ следует вести опираясь на позицию усредненную, умеренную – позицию собственного Я. Все должно исходить из воспитания, убеждения собственного Я – к нему же и возвращаться. И вот теперь, когда вы увидите, с какой – совершенно иной – стороны подходит к анализу особенно

сложного субъекта Мелани Кляйн, вы невольно зададитесь вопросом о том, каким образом смогла бы Анна Фрейд воспользоваться здесь своими категориями слабого и сильного Я, предполагающими позицию предварительного перевоспитания. Одновременно вы сможете судить о том, кто из них была ближе к основной нити фрейдовского открытия.*

2

С какой резкостью Мелани Кляйн навязывает маленькому Дику символизм! Она сразу же швыряет ему важнейшие интерпретации, грубую и столь же коробящую как наш, так и слух любого другого читателя, вербализацию мифа об Эдипе – "*Ты маленький поезд, ты хочешь попасть в твою мать*".

Такой способ действий, безусловно, дает почву для теоретических дискуссий, которые не могут быть отвлечены от диагностики данного конкретного случая. Однако бесспорно, что вследствие такого вмешательства нечто произошло. Все дело именно в этом.

Вы, конечно, отметили испытываемый Диком недостаток контактов. Вот где изъян его эго. эго его не сформировано. Отличает Мелани Кляйн Дика и от невротиков, отмечая его глубокое безразличие, апатию, рассеянность. В самом деле, ясно, что именно реальность для него не символизирована. Этот юный пациент целиком погружен в чистую, неконституированную реальность. Он целиком погружен в неразличимое. Но что же составляет человеческий мир, как не интерес к объектам в их отличии друг от друга, к объектам в их эквивалентности. В отношении объектов человеческий мир бесконечен. В этом смысле Дик живет в мире нечеловеческом.

Данный текст ценен тем, что автором его является терапевт, женщина-практик. Она чувствует вещи, но плохо умеет их выражать – трудно ее за это винить. Теория эго является тут не-

---

* Статью Мелани Кляйн "*The importance of symbol-formation in the development of the ego*", опубликованную в 1930 году, можно найти в сборнике "Contributions to Psyco-Analysis, 1921-1945", вышедшем в 1948 г. Французский перевод этого собрания опубликован под названием "Essais de psychanalyse, 1921-1945", Paris, 1968.

полной; возможно, Кляйн и не ставила себе задачи ее нам дать, но она очень хорошо показывает следующее – если в человеческом мире объекты умножаются, развертываются во всем богатстве, составляющем их своеобразие, то происходит это лишь постольку, поскольку появляются они в процессе выталкивания, связанного с первичным инстинктом разрушения.

Речь здесь идет о первичном отношении, восходящем к инстинктивным корням существа. По мере того, как происходит такое выбрасывание объектов за пределы примитивного мира субъекта – мира, еще не организованного в регистре реальности собственно человеческой, сообщаемой, – каждый раз возникает новый тип идентификации. Вот что невыносимо, и в результате чего тут же возникает тревога.

Тревога не является своего рода энергией, которую субъекту следует распределить, чтобы конституировать объекты, – в тексте Мелани Кляйн нет никаких указаний на подобный смысл. Она всегда определяет тревогу как возникающую внезапно, *arising*. Каждому объектному отношению соответствует свой способ идентификации, сигналом которого служит тревога. Такие идентификации предшествуют идентификации собственного Я. Но даже когда идентификация собственного Я уже произошла, всякая новая реидентификация субъекта вновь приведет к возникновению тревоги – тревоги в смысле искушения, головокружительного соблазна, пропажи субъекта, вновь оказывающегося на самом примитивном уровне. Тревога является коннотацией, сигналом (и Фрейд всегда прекрасно это формулировал), качеством, субъективной окраской.

Но именно такой тревоги у упомянутого субъекта как раз и не возникает. Дику не удается даже достичь первого рода идентификации, которая уже была бы первыми набросками символизма. Как ни парадоксально это звучит, он находится лицом к лицу с реальностью, он живет в реальности. В кабинете Мелани Кляйн для него нет ни другого, ни собственного Я, а есть только реальность в чистом виде. Промежуток между двумя дверьми – это тело его матери. Поезда и все за ними следующее, конечно, являются чем-то, но это что-то не имеет имени и именованию не подлежит.

И вот, Мелани Кляйн с ее животным чутьем, позволившим ей пробиться сквозь непробиваемую до тех пор толщу знаний, решается заговорить с ним – заговорить с существом, которое, однако, дает повод по внешним признакам предположить, что в символическом смысле оно не отвечает вовсе. Мальчик ведет себя так, как если бы ее не существовало, как если бы она была мебелью. И тем не менее, она говорит с ним. Она буквально дает имена тому, что, безусловно, имеет отношение к символу, поскольку может быть непосредственно названо, но что было до сих пор для данного субъекта лишь реальностью в чистом виде.

Именно в этом смысле нужно понимать термин преждевременного созревания, который употребляет Мелани Кляйн, имея в виду, что Дик уже в некотором роде достиг генитальной стадии.

Обычно субъект дает объектам своей первичной идентификации ряд воображаемых эквивалентов, упрочивающих его мир, – наметив идентификацию с одними объектами, он тут же разрывает ее, строит идентификацию вновь, но уже с другими, и т. д. И каждый раз окончательную идентификацию, фиксацию реальности задерживает тревога. Однако метания эти (движения "туда и обратно") создают те рамки, в которых предстоит сформироваться реальному бесконечно более сложному – реальному человеческому. После данной стадии, в ходе которой фантазмы символизируются, наступает генитальная стадия, где реальность становится фиксированной.

Для Дика же реальность вполне фиксирована, но лишь потому, что он на эти метания не способен. Он существует непосредственно в той реальности, которая никакого развертывания не знает.

Однако и такая реальность не является совершенно обесчеловеченной. На своем уровне она имеет значение. Она уже символизирована, так как ей можно придать смысл. Но поскольку она предшествует всякому движению ухода-прихода (метания), речь идет лишь о преждевременной, застывшей символизации и об одной-единственной первичной идентификации, имя которой – пустота, тьма. Человеческим в собственной структуре данного субъекта является лишь это зияние – единственное, что дает в нем ответ. И лишь с таким зиянием существует контакт.

В этом зиянии насчитывается лишь очень ограниченное количество объектов, которые пациент не может даже назвать, как вы хорошо заметили. Безусловно, он уже схватывает слова, но нет *Bejahung*, принятия этих слов. Вместе с тем, как это ни парадоксально, его способность к сопереживанию гораздо выше обычной, поскольку его отношения с реальностью не порождают в нем тревоги. Заметив на кофточке Мелани Кляйн щепки от разломанного карандаша, он говорит: "*Poor Melanie Klein*".

В следующий раз мы рассмотрим проблему отношения символического и реального в самом сложном аспекте – в аспекте его происхождения. Вы увидите его связь с тем, на что мы обратили внимание в комментарии г-на Ипполита – с функцией деструкционизма в формировании человеческой реальности.

17 февраля 1954 года.

ТОПИКА ВООБРАЖАЕМОГО

VII

ТОПИКА ВООБРАЖАЕМОГО

Размышление об оптике.
Знакомство с перевернутым букетом.
Реальность: изначальный хаос.
Воображаемое: рождение "собственного Я".
Символическое: позиции субъекта.
Функция мифа об Эдипе в психоанализе.

Тому, о чем я предполагаю сегодня говорить, я дал заглавие "*Топика воображаемого*". Подобная тема достаточно значительна, чтобы посвятить ей многие годы обучения, но поскольку некоторые вопросы, касающиеся места воображаемого в структуре символического, соответствуют нити нашего изложения, то сегодняшняя беседа может претендовать на такой заголовок.

Не без умысла, необходимость которого, я надеюсь, выявится для вас в совокупности нашей работы, я представил вам в прошлый раз случай чрезвычайно показательный, поскольку он вкратце демонстрирует нам взаимную игру трех терминов, которые мы уже имели случай ввести, – воображаемое, символическое и реальное.

Без этих трех систем отнесений невозможно понять что-либо во фрейдовской технике и опыте. Многие трудности, будучи соотнесены с такими различиями, предстают в более обоснованном и понятном виде. То же самое касается и неясностей, отмеченных г-жой Желинье в связи с текстом Мелани Кляйн. При попытке разработать опыт мы должны принимать в расчет не столько понятные моменты, сколько всякого рода неясности. Достоинство изложения г-жи Желинье как раз в том и состоит, что она выделяет в данном тексте непонятное.

Вот в чем обнаруживает себя плодотворность метода комментария. Комментирование текста подобно работе аналитика.

Сколько раз приходилось мне слышать от тех, кого я контролирую, слова: "*Мне казалось, я понял, что он хочет сказать то-то и то-то*", – и замечать им в ответ: "Больше всего мы должны остерегаться чересчур много понимать, понимать больше того, что содержится в речи субъекта". Интерпретировать и воображать, что понял, – это вовсе не одно и то же, но как раз противоположное. Я бы даже сказал, что дверь аналитического понимания открывает нам определенный отказ от понятности.

Мы не можем довольствоваться одной лишь кажущейся убедительностью, связностью текста. Безусловно, все остается в рамках уже привычных нам перепевов – инстинктивное созревание, первичный инстинкт агрессии, садизм оральный, анальный и т. д. И тем не менее, в регистре, выведенном Мелани Кляйн, проявляются и некоторые контрасты. К их детальному рассмотрению я и собираюсь обратиться.

То, что показалось г-же Желинье странным, парадоксальным, противоречивым в функции эго – будучи слишком развитым, оно останавливает всякое развитие, развиваясь же, вновь открывает доступ к реальности, – как раз и представляет собой узловой момент. Как случается, что доступ к реальности вновь открывается в результате развития эго? Какова подлинная функция интепретации Кляйн, отмеченной чертами вторжений, искусственных вкраплений в субъект? Вот вопросы, к которым нам предстоит сегодня еще раз вернуться.

Вы должны были сразу же заметить, что в случае этого юного пациента реальное, воображаемое и символическое ощутимы на самой поверхности. Символическое: я учил вас отождествлять его с языком – что ж, не по мере ли того, как Мелани Кляйн говорит, нечто происходит? С другой стороны, когда Мелани Кляйн замечает нам, что объекты конституированы игрой проекций, интроекций, выбрасываний, обратных включений плохих объектов и что субъект, проецируя свой садизм, видит его возвращающимся от этих объектов и таким образом оказывается заблокированным боязливым беспокойством, – не чувствуете ли вы, что мы находимся в области воображаемого?

Итак, вся проблема заключается в сопряжении символического и воображаемого при конституировании реального.

1

Чтобы внести некоторую ясность, я напомню вам небольшую модель – подобие стадии зеркала.

Стадия зеркала, как я часто подчеркивал, не является лишь моментом развития. Она еще и показательна, ибо вскрывает некоторые отношения субъекта к своему образу как прообразу *Urbild* собственного Я. Так вот, стадия зеркала, отрицать которую невозможно, демонстрируется средствами оптики – что также нельзя не признать. Случайно ли это?

Науки, и особенно те, что лишь зарождаются, подобно нашей, часто заимствуют модели из других наук. Друзья мои, вы себе и не представляете, чем мы обязаны геологии. Не будь геологии, кто бы мог подумать, что на том же уровне можно перейти от свежего слоя к существенно более раннему. Кстати, каждому аналитику было бы не вредно обзавестись небольшой книгой по геологии, наподобие той, что написал в свое время геолог-аналитик Льеба.

Также и оптика могла бы сказать свое слово. И тут мое мнение ни в чем не расходится с традицией мэтра – все вы, конечно, заметили в "*Traumdeutung*", в главе "*Психология деятельности сновидения*", знаменитую схему, в которой Фрейд описывает всю деятельность бессознательного.

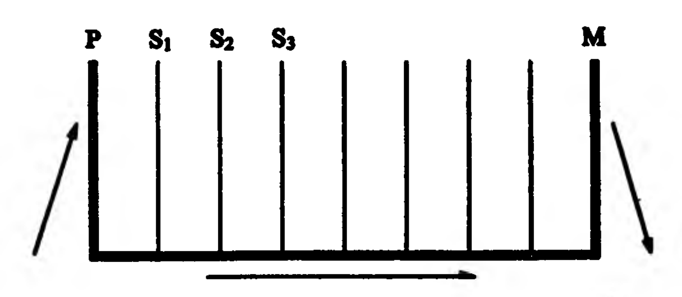


Схема Фрейда

Внутри Фрейд расположил различные слои, отличающиеся от уровня восприятия, т. е. от мгновенного впечатления – это слои S_1, S_2 и т. д., являющиеся одновременно образами и воспоминаниями. Такие запечатленные следы будут впоследствии вытеснены в бессознательное. Мы еще вернемся к этой замеча-

тельной схеме и воспользуемся ей, но прежде я хотел бы обратить ваше внимание на сопутствующий схеме комментарий, который, похоже, никогда не был объектом внимательного изучения, хотя в другом виде он будет повторен Фрейдом в едва ли не последней его работе "*Краткий курс психоанализа*".

Я прочитаю вам его в том виде, как он предлагается в "*Traumdeutung*". "*Тем самым мы подходим к идее психической локальности*", – речь идет о поле психической реальности, т. е. о всем, что происходит между восприятием и моторным сознанием "собственного Я". – "*Мы совершенно оставим в стороне то, что душевный аппарат, о котором здесь идет речь, известен нам в качестве анатомического органа, и постараемся избегнуть искушения определить психическую локальность в каком-либо анатомическом смысле. Мы останемся на психологической почве и представим себе только то, что инструмент, служащий целям душевной деятельности, является чем-то вроде сложного микроскопа, фотографического аппарата и т. п. Психическая локальность соответствует той части этого аппарата, в которой оформляется изображение. В микроскопе и подзорной трубе это, как известно, лишь идеальные точки и плоскости, в которых не расположено никаких конкретных составных частей аппарата. Просить извинения за несовершенство этих и всех аналогичных сравнений я считаю излишним. Они должны лишь помочь нашей попытке разъяснить всю сложность психической деятельности: мы разложим ее на отдельные части и поставим их в соответствие с отдельными частями аппарата. Попытка определить структуру душевного инструмента при помощи такого разложения, насколько мне известно, никогда не производилась. Она кажется мне безусловно невинной. Я полагаю, что мы можем дать полную свободу нашим предположениям, если только сохраним при этом наш трезвый рассудок и не сочтем леса за само здание. Так как нам для приближения к неизвестному нужны лишь вспомогательные представления, то прежде всего мы выставим наиболее конкретные и грубые предположения*".

Излишне говорить, что данным советам никто и не подумал следовать, а леса были неминуемо приняты за само здание. С другой же стороны, авторитетный пример Фрейда в использо-

вании вспомогательных связей для приближения к неизвестному побудил и меня самого проявить некоторую непринужденность в построении схемы.

Сегодня мы воспользуемся едва ли не простейшим оптическим аппаратом, гораздо более простым, чем сложный микроскоп – хотя было бы и любопытно последовать упомянутому сравнению, но это завело бы нас слишком далеко.

Я бы очень порекомендовал вам поразмышлять об оптике. Интересно, что геометрия и механика, в качестве моделей понимания, послужили в свое время основой для построения целой метафизической системы, но похоже, что до сих пор еще не удалось исчерпать все, что может дать нам оптика. И вместе с тем, эта странная наука, которая пытается произвести при помощи аппаратов нечто особенное, называемое "*образами, изображениями*", в отличие от других наук, уделом которых является расчленение природы, препарирование, анатомия, должна бы располагать к грезам.

Важно, чтобы вы верно поняли меня и не стали путать божий дар с яичницей, смешивая оптические образы, изображения с теми образами, которые являются предметом нашего интереса. Но все же не зря они носят одинаковые названия.

Среди оптических образов существуют особого рода различия – некоторые из них являются чисто субъективными – это так называемые мнимые изображения; другие – действительными, или реальными, т. е. ведут себя в некотором смысле так же, как объекты и могут быть приняты за таковые. Более того, для объектов, которыми являются реальные изображения, мы можем дать изображения мнимые, виртуальные. И в этом случае объект, которым является реальное изображение, по праву получает название мнимого объекта.

Но еще более удивительно то, что оптика целиком основана на математической теории, без которой совершенно невозможно ее структурировать. Для существования оптики необходимо, чтобы каждой данной точке реального пространства соответствовала одна и только одна точка в другом пространстве – воображаемом. Это основополагающая структурная гипотеза. С виду она очень проста, но без нее невозможно написать ни единого уравнения, ни дать какое-либо символическое пред-

ставление – оптика становится невозможной. Даже те, кто не знают этой гипотезы, не смогли бы ничего сделать в оптике, если бы ее не существовало.

Реальное и воображаемое пространства здесь тоже совмещены, но тем не менее мыслиться они должны как различные. Область оптики предоставляет нам массу возможностей поупражняться в проведении определенных различий, которые покажут вам, насколько важно в проявлениях феномена участие символического.

С другой стороны, в оптике существует целый ряд феноменов, можно сказать, совершенно реальных, поскольку именно опыт руководит нами в этой области, но где, однако, в каждый миг задействована субъективность. Когда вы наблюдаете радугу, вы видите нечто совершенно субъективное. Вы наблюдаете ее пронизывающей пейзаж на некотором расстоянии. Ее там нет. Это субъективный феномен. Но однако благодаря фотоаппарату вы запечатляете ее совершенно объективно. Итак, что же это? Мы уже не знаем в точности, где субъективное, а где объективное. Или же дело тут в том, что в нашем небольшом понятийном аппарате мы обычно полагаем очень общее различие между объективным и субъективным? Не является ли фотоаппарат субъективным аппаратом, полностью построенным при помощи некоторого x и некоторого y, обитающих в области, где живет субъект, т. е. в области языка?

Я оставляю эти вопросы открытыми, чтобы обратиться прямо к небольшому примеру; я постараюсь сначала представить его вашему разумению и лишь затем – на доске, так как нет ничего более опасного, чем вещи на доске – они всегда выглядят несколько плоско.

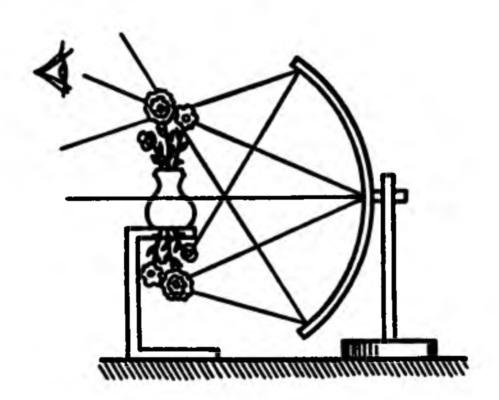
Речь идет о классическом опыте, проводившемся в те времена, когда физика была занимательной, во времена настоящей физики. Точно так же и мы сейчас переживаем момент, когда психоанализ – самый настоящий. Чем ближе мы к занимательному психоанализу, тем скорее он является подлинным. Впоследствии все уже станет обкатанным, подогнанным путем приближений и уловок, а понимание смысла деятельности останется в прошлом, подобно тому, как сегодня чтобы сделать микро-

скоп нет необходимости понимать что-либо в оптике. Так давайте порадуемся, что мы еще занимаемся психоанализом.

Поместите на моем месте огромный котел – который, возможно, с успехом заменит меня в определенные моменты в качестве корпуса резонатора, – котел, как можно более близкий к полусфере, хорошо отполированный внутри, короче говоря – сферическое зеркало. Если подвинуть его немного вперед, к столу, то вы не увидите себя внутри – таким образом, даже если я превращусь в котел, феномен зеркального миража, возникающего время от времени между мной и моими учениками, не будет здесь представлен. Сферическое зеркало дает реальное изображение. Каждой точке светового пучка, исходящего из какой-либо точки объекта, расположенного на некотором расстоянии, предпочтительно, в плоскости центра сферы, – соответствует в той же плоскости другая светящаяся точка, возникающая на пересечении отраженных от поверхности зеркала лучей – что дает реальное изображение объекта.

К сожалению, я не смог сегодня привезти котел и другие устройства, необходимые для опыта. Вам придется их себе представить.

Предположим, что это ящик, полый с одной стороны и поставленный в центре полусферы. На ящик мы поставим реальную вазу, а снизу– букет цветов. Итак, что же произойдет?



Опыт с перевернутым букетом.

В результате отражения от сферической поверхности букет окажется в симметричной ему светящейся точке. Разумеется, то

же самое происходит со всеми лучами в силу свойства сферической поверхности – все лучи, исходящие из некоторой данной точки, попадают в одну и ту же точку, симметричную данной. Заметьте, что на моей схеме лучи не совсем точно пересекаются, это верно так же в действительности, и для всех оптических инструментов – мы всегда имеем дело лишь с некоторым приближением. За пределами глаза лучи продолжают свой путь и вновь расходятся, но для глаза они являются сходящимися и дают реальное изображение, поскольку те лучи, которые являются для глаза сходящимися, обладают свойством давать реальное изображение. Сходясь при попадании в глаз, они расходятся, удаляясь от него. Если лучи попадают в глаз обратным способом, то образуется мнимое изображение. Именно это происходит, когда вы смотрите на изображение в зеркале, – вы видите изображение там, где его нет. В данном же случае наоборот – вы видите его там, где оно и есть, с тем единственным условием, что глаз ваш находится в области тех лучей, которые уже пересеклись в соответствующей точке.

В этот момент, хотя вы и не видите реального букета, который спрятан, но, если вы удачно расположены, вы увидите появление очень любопытного воображаемого букета, образующегося ровно на горлышке вазы. Поскольку ваши глаза будут перемещаться прямолинейно в той же плоскости, постольку у вас создастся впечатление реальности вместе с ощущением какой-то странной туманности, так как лучи пересекаются неточно. Чем дальше вы будете находиться, тем ощутимее будет параллакс и тем полнее будет иллюзия.

Мы не раз будем возвращаться к данной схеме. Конечно, не следует думать, что она касается поля психоанализа по существу и затрагивает так называемые реальные (или объективные) и воображаемые отношения. Зато она позволяет крайне просто проиллюстрировать то, что вытекает из столь тесного сплетения в психическом аппарате воображаемого и реального миров. Вот некоторые тому примеры.

2

Этот небольшой опыт показался мне очень заманчивым. Не я его изобрел, он уже давно известен под названием *"опыта с*

перевернутым букетом". При всей своей невинности – автор не придумывал его специально для нас – он прельщает нас даже своими несущественными деталями, вазой и букетом.

В самом деле, собственная область первичного Я, *Ur-Ich* или *Lust-Ich*, устанавливается посредством отслоения, различения от внешнего мира – то, что включается вовнутрь, отличается от того, что отброшено в процессе исключения, *Aufstossung*, и проекции. В результате понятия содержащего и содержания оказываются на первом плане всякой аналитической концепции первичной стадии образования собственного Я. Вот почему отношение вазы к цветам, содержащимся в ней, может послужить нам одной из ценнейших метафор.

Как вам известно, процесс физиологического созревания позволяет субъекту в определенный момент его истории действительно интегрировать собственные двигательные функции и достичь реального господства над собственным телом. Однако осознание субъектом целостности собственного тела, пусть путем соотнесений, происходит раньше такого момента. Вот на чем я настаиваю в моей теории стадии зеркала: один лишь вид целостной формы человеческого тела дает субъекту воображаемое господство над его собственным телом – господство преждевременное по отношению к реальному овладению. Такое формирование не связано с самим процессом созревания и не совпадает с ним. Субъект предвосхищает завершение психологического развития, и предвосхищение это придаст свой стиль всякому позднейшему осуществлению действительного овладения двигательными функциями. Это и есть тот первичный опыт видения себя, где человек в отражении осознает себя иным, чем он есть, где закладывается основное человеческое измерение, структурирующее всю его фантазматическую жизнь.

Как мы предполагаем, изначально существуют всевозможные "вот-это", к которым равно относятся объекты, инстинкты, желания, склонности и т. п. Они-то и представляют собой простейшую чистую реальность, которая, соответственно, ни в чем не разграничена, которая еще не может быть объектом какого-либо определения, она ни хороша ни плоха, а одновременно хаотична и абсолютна, изначальна. Это уровень, на который ссылается Фрейд в "*Die Verneinung*", когда говорит о суждениях

существования, – это есть, или это не есть. Вот где образ тела дает субъекту первую форму, которая позволяет ему определить, что есть часть его собственного Я, а что не есть. Итак, скажем, что образ тела, если соотнести его с нашей схемой, является как бы воображаемой вазой, содержащей реальный букет цветов. Вот как могли бы мы представить субъекта до рождения его собственного Я и возникновение этого последнего.

Мое изложение, как вы понимаете, схематично, но для развертывания метафоры, аппарата, служащего мысли, необходимо прежде показать, каково ее назначение. Вы видите, как удобен наш аппарат для обыгрывания различного рода механизмов. Условия опыта можно изменить: ваза точно так же может быть внизу, а цветы наверху. По желанию, вы можете сделать воображаемым то, что реально при условии, что сохраните отношение знаков "+-+" или "-+-".

Для того, чтобы получился обман зрения, чтобы для глаза смотрящего установился мир, где воображаемое может включать реальное и одновременно оформлять его (а реальное может включать и одновременно определять положение воображаемого), необходимо выполнение одного условия: как я говорил вам, глаз должен занимать определенную позицию, он должен быть внутри конуса.

Если глаз находится вне конуса, он уже не увидит то, что является воображаемым, по той простой причине, что ничто из конуса излучения не коснется его. Он увидит вещи в их реальном состоянии, лишенном иллюзий, т. е. всю подноготную механизма: пустую вазу или цветы сами по себе, в зависимости от конкретного случая.

Вы можете заметить мне: "*Мы же не глаз, что это за болтающийся глаз, которым вы морочите нам голову?*"

Коробка означает ваше собственное тело. Букет – блуждающие инстинкты и желания, объекты желания. А что же такое котел? Он вполне может быть корой головного мозга. Почему бы и нет? Это вполне любопытная версия, мы поговорим о ней в другой раз.

Посреди всего этого ваш глаз не может свободно перемещаться, положение его зафиксировано в качестве маленького аппендикса, раздражителя коры головного мозга. Но зачем то-

гда я говорю вам, что он перемещается и в зависимости от его положения механизм то срабатывает, то нет?

В данном случае глаз, как это часто бывает, является символом субъекта.

Вся наука основывается на сведении субъекта к глазу и поэтому она может приобрести для вас конкретные очертания, стать объективированной – мы остановимся на этом в другой раз. По поводу теории инстинктов, некто в прошлые годы предложил одно замечательное построение, самое парадоксальное из известных мне – построение, которое инстинкты овеществляло. В конце концов не устоял ни один из них, и в этом смысле подобная демонстрация оказалась полезной. Чтобы хоть на мгновение свести себя к глазу, нам потребовалось бы занять позицию ученого, который может постановить, что он является лишь глазом, и повесить табличку на дверь: "*Экспериментатора не беспокоить!*". В жизни же все происходит иначе, поскольку мы не являемся только глазом. Итак, что же в данном случае означает глаз?

А означает он то, что в отношениях между реальным и символическим и в результате возникающего в результате этих отношений мира все зависит от положения субъекта. Положение же субъекта – как должны уже были вас научить мои бесконечные повторения – главным образом определяется его местом в мире символического или, иначе говоря, в мире речи. Данное место является тем, от чего зависит, имеет ли он право или же ему запрещено называть себя именем "*Педро*". Согласно тому или иному случаю он попадает или нет в поле конуса.

Вам трудно, конечно, все это переварить, но если вы хотите понять, что я буду говорить дальше, вам без этого не обойтись.

3

Текст Мелани Кляйн нам следует воспринимать как он есть – как отчет о некотором опыте.

Перед нами мальчик в возрасте около 4 лет, чей уровень развития, как мы читаем, соответствует 15-18 месяцам. Что хотят этим сказать? Каким образом это было определено? Что служит здесь мерилом? Как правило, такие уточнения бывают опущены. Понятие аффективного развития, соответствующего 15-18 ме-

сяцам, остается еще более размытым, чем изображение букета в нашем опыте.

Словарный запас ребенка очень ограничен, более того – неправилен. Мальчик искажает слова и по большей части неверно их употребляет, хотя порой можно понять, что ему известен их смысл. Мелани Кляйн настаивает на самом поразительном факте – у этого ребенка нет желания дать себя понять, он не стремится к общению, а единственной деятельностью, отмеченной более или менее игровым характером является издавание звуков и получение удовольствия от звуков без значения, от шума.

Мальчик все же обладает чем-то от языка – иначе бы Мелани Кляйн не смогла понимать его. Он располагает некоторыми элементами символического аппарата. С другой стороны, Мелани Кляйн, с первого, столь важного, контакта с ребенком характеризует его поведение как апатию, безразличие. Он не настолько уж дезориентирован. Он не производит впечатления идиота, вовсе нет. Мелани Кляйн отличает его от всех невротических детей, виденных ею ранее, замечая, что он не проявляет, даже в скрытой форме, ни видимого беспокойства, как это происходит у невротиков, ни резких перемен настроения, ни зажатости, натянутости, застенчивости. Все это не ускользнуло бы ни от кого, кто имеет соответствующий терапевтический опыт. Мальчик ведет себя так, как будто ничего не происходит. Он смотрит на Мелани Кляйн так же, как смотрел бы на мебель.

Я подчеркиваю эти детали, чтобы оттенить однообразный характер реальности для него. Все для него в равной степени реально и одинаково безразлично.

Вот где начинается недоумение г-жи Желинье.

Мир ребенка, говорит Мелани Кляйн, продуцируется исходя из содержащего – тела матери – и содержимого этого тела. В ходе развития инстинктивных отношений с привилегированным объектом, которым является мать, ребенку приходится осуществить ряд отношений воображаемой инкорпорации (ощущение включения постороннего тела в свое собственное). Он может кусать, поглощать тело матери. Стиль такой инкорпорации характеризуется разрушительностью.

В этом материнском теле ребенок ожидает встретить ряд объектов, которые сами по себе обладают определенным един-

ством, хотя и являются включенными и которые могут быть опасны для него. Почему опасных? – ровно по той же причине, по какой и он опасен для таких объектов. Тут весьма уместно заметить, что в зеркале он наделяет их теми же разрушительными способностями, носителем которых, как он чувствует, является он сам. И в качестве таковых, он будет подчеркивать их внешний характер по отношению к первым ограничениям собственного Я и отбросит их как плохие объекты, опасные, ка-ка.

Такие объекты, конечно же, будут экстериоризированы, изолированы от этого первого универсального содержащего (вместилища), от этой первой целокупности, которой является фантазматический образ тела матери – всеобъемлющее царство первой детской реальности. Но в его представлении они тем не менее всегда будут сохранять тот оттенок зловредности, которым было отмечено первое к ним отношение. Вот почему он их ре-интроецирует и перенесет свой интерес на другие, менее опасные объекты. Например, он составит так называемое уравнение: *фекалии – моча*. Различные более нейтральные объекты внешнего мира будут рассматриваться как эквиваленты первых и будут связаны с ними уравнениями – я подчеркиваю – воображаемыми. Соответственно, символическое уравнение, вскрываемое нами между такими объектами, возникает в чередующемся механизме удаления и интроекции, проекции (выбрасывания) и поглощения (абсорбции), то есть в воображаемой игре.

Как раз такую игру я и попытался символически представить в моей схеме воображаемыми включениями реальных объектов или, наоборот, захватом воображаемых объектов внутрь реальной оболочки.

У Дика мы прекрасно видим, если можно так сказать, наметки перевоплощения внешнего мира в воображаемое. Такое перевоплощение уже готово обнаружиться, но оно еще только готовится.

Дик играет с вместилищем и содержанием. Он уже, разумеется, овеществил в некоторых объектах, например, в маленьком поезде, определенные тенденции и даже личности – себя самого в качестве маленького поезда по отношению к своему отцу, большому поезду. Впрочем, количество значимых для него объ-

ектов, что удивительно, крайне невелико и ограничивается тем минимумом знаков, который позволяет выразить внутреннее и внешнее пространство, содержимое и вместилище. Так, черное пространство сразу же приравнивается ко внутреннему пространству тела матери, в котором он скрывается. Однако, чего здесь нет, так это свободной игры, соединения между различными, воображаемыми и реальными, формами объектов.

Вот как получается, что когда он скрывается в пустом и темном внутреннем пространстве материнского тела, то объектов там не бывает, к большому удивлению г-жи Желинье. Это происходит по очень простой причине – в его случае букет и ваза не могут быть там в одно и то же время. Вот где ключ к пониманию.

Недоумение г-жи Желинье основано на том факте, что для Мелани Кляйн все находится в одной плоскости одинаковой реальности – *unreal reality*, как она выражается, – что действительно не позволяет понять разрозненность различных *sets* первичных объектов. Дело в том, что у Мелани Кляйн нет ни теории воображаемого, ни теории эго. Ввести такие понятия и усвоить себе, что в той мере как одна часть действительности становится воображаемой, другая является реальной, и наоборот в той мере как одна является реальностью, другая оказывается воображаемой, – предстоит нам. Отсюда ясно, почему в начале никак не может быть завершено сопряжение различных частей, *sets*.

Мы имеем здесь дело с зеркальным отношением.

Назовем это плоскостью проекции. Но как обозначить коррелят проекции? Тут необходимо найти другое слово, нежели "*интроекция*". В том значении, в котором мы используем его в анализе, слово "*интроекция*" не противоположно проекции. Как вы заметите, оно используется лишь тогда, когда речь идет о символической интроекции, и ему всегда сопутствует указание на символический регистр. Интроекция всегда является интроекцией речи другого, что подразумевает измерение, совершенно отличное от измерения проекции. Опираясь на такое различие, вы можете провести разделение между тем, что является функцией эго и относится к порядку регистра дуального отношения, и тем, что является функцией сверх-я. Не случайно в ана-

литической теории их разделяют и считают, что сверх-я, подлинное сверх-я, является вторичной интроекцией по отношению к функции идеального эго.

Вернемся от этих побочных замечаний к случаю, описанному Мелани Кляйн.

Итак, ребенок. Он располагает некоторыми значащими регистрами. Мелани Кляйн – здесь мы можем следовать ей – подчеркивает крайнюю узость одного из них – области воображаемого. Обычно именно посредством возможностей игры воображаемой перестановки все большее количество объектов постепенно приобретает свою значимость в так называемой аффективной плоскости. Это происходит в результате умножения, развертывания веера всех воображаемых уравнений, позволяющих человеческому существу быть единственным среди животных, кто имеет в своем распоряжении почти бесконечное число объектов – объектов, отмеченных значимостью *Gestalt*'а в его *Umwelt*'е, объектов, изолированных в своих формах. Подчеркивая бедность воображаемого мира Дика, Мелани Кляйн говорит о неспособности его войти в эффективное отношение с объектами в качестве структур. Такую взаимозависимость важно уловить.

Подводя итог всему, что описано Мелани Кляйн в поведении этого ребенка, скажем, что значащим моментом, попросту говоря, является следующее – он не обращается ни с какими призывами.

Призыв – вот понятие, которое я попрошу вас запомнить. "*Ну конечно, так он опять притянет свой язык, этот доктор Лакан!*" – скажете вы. Но у ребенка уже есть своя система языка, вполне достаточная. И доказать это просто: он играет с ним. Он даже пользуется, им чтобы вести игру противодействия попыткам вмешательства взрослых. Так, в тексте указано, что его поведение характеризуется *негативизмом*. Когда его мать предлагает ему имя, которое он способен правильно выговорить, он воспроизводит его неразборчиво, исковеркано, так что оно оказывается ни для чего не пригодным. Здесь обнаруживается различие, которое необходимо проводить между негативизмом и запирательством, – как напоминает нам г-н Ипполит, и это свидетельствует не только о его культуре, но и о том, что он уже

видел больных. Способ обращения Дика с языком является собственно негативистским.

Таким образом, вводя понятие призыва я не стремлюсь окольным путем ввести язык. Я сказал бы даже больше – речь здесь не идет ни о языке, ни о над-языковом уровне. Если уж говорить об уровнях, то этот уровень до-языковой. Вам достаточно обратить внимание на домашних животных, чтобы заметить, что существо, лишенное языка, вполне способно обращаться с призывом. Такой призыв служит привлечению вашего внимания к чему-то, что ему в некотором смысле недостает. Человеческому призыву уготовано и дальнейшее, более богатое, развитие, поскольку он производится существом, уже достигшим уровня языка.

Будем схематичны.

Некто Карл Бюлер создал теорию языка, которая не является ни единственной, ни самой полной, но в ней содержатся небезынтересные вещи – он различает три этапа языковой деятельности. К сожалению, определил он их при помощи регистров, не делающих такие этапы слишком понятными.

Прежде всего, существует уровень высказывания как такового. Он является чуть ли не уровнем природного данного. Я нахожусь на уровне высказывания, когда высказываю кому-либо самые простые вещи, например – требование. Именно к этому уровню высказывания следует относить все, что касается природы субъекта. Офицер, преподаватель не дают приказов на том же языке что рабочий или бригадир. Все, что мы можем почерпнуть на уровне высказывания, в его стиле и даже в интонациях, касается природы субъекта.

В каждом требовании существует и другой план – план призыва. Речь идет о тоне, в котором произнесено это требование. Один и тот же текст может иметь совершенно различную значимость в зависимости от тона. Простое высказывание "*остановитесь*" в зависимости от обстоятельств может иметь совершенно различную значимость в качестве призыва.

Третий план значимости – это, собственно, сообщение, то, о чем идет речь, и его отнесенность к совокупности ситуации.

В случае Дика мы находимся на уровне призыва. Призыв получает свое значение внутри уже приобретенной системы язы-

ка. Итак, речь идет о том, что этот ребенок не шлет никакого призыва. Система, посредством которой субъект оказывается отнесенным к языку, прервана на уровне речи. Язык и речь не одно и то же – этот ребенок, в определенной степени, владеет языком, но речь у него отсутствует. Перед нами субъект, и субъект этот, в буквальном смысле, не отвечает.

Речь ему не удалась. Язык не совместился с его системой воображаемого, регистр которого крайне невелик: он исчерпывается небольшим количеством объектов, наделенных значимостью – поезда, дверные ручки, черное пространство. Его способности – не коммуникативные, а именно экспрессивные – этим и ограничиваются. Для него реальное и воображаемое тождественны.

Итак, Мелани Кляйн приходится отказаться тут от всякой техники. Она располагает минимумом материала. В ее распоряжении даже нет игры – этот ребенок не играет. Когда он неуверенно берет поезд, он не играет, он делает это так, будто пересекает воздух, – как если бы он был невидимым или, скорее, как если бы все для него было некоторым образом невидимым.

Мелани Кляйн не производит здесь никакой интерпретации, и отлично осознает это. Она исходит, по ее словам, из того, что она думает и что вообще известно о происходящем на данной стадии. «Я действую решительно, я говорю ему: "*Дик – маленький поезд, большой поезд – Папа-поезд*"».

После этого ребенок начинает играть со своим маленьким поездом и произносит слово "*станция*", то есть *вокзал, укрытие* (gare (f) – вокзал, garer – укрывать). Вот ключевой момент, где начинается совмещение языка с воображаемым субъекта.

Мелани Кляйн добавляет ему следующее: "*Вокзал – это Мама.Дик входить в Маму*". Тут-то все и начинается. Мелани Кляйн сказала лишь эти слова и ничего более. И ребенок очень быстро прогрессирует. Это факт.

Итак, что же сделала Мелани Кляйн? – привнесла вербализацию, вот и все. Она представила символически действенное отношение, отношение .одного именованного существа с другим. Называя вещи своими именами, она наложила на этот случай символизацию эдипова мифа. Именно с этого момента после первой церемонии, заключавшейся в укрывании в черном

пространстве с целью восстановить контакт со вместилищем, проявляется для ребенка новизна.

Мальчик вербализует первый призыв – призыв, выраженный в речи. Он требует свою няню, с которой он вошел и которой он позволил было уйти как ни в чем не бывало. Впервые он изъявляет реакцию призыва, которая является не простым аффективным призывом, выраженным мимикой всего существа, а призывом вербализованным, предполагающим с этого момента ответ. Это первая коммуникация в собственном, техническом смысле слова.

Впоследствии процесс заходит так далеко, что Мелани Кляйн задействует и все остальные элементы ситуации, которая становится организованной, и даже отец приобретает в ней свойственную ему роль. Вне сеансов, говорит Мелани Кляйн, отношения ребенка развиваются в плоскости эдипова комплекса. Мальчик символизирует окружающую его реальность исходя из того узла, из той маленькой трепещущей клетки символизма, которую дала ему Мелани Кляйн.

Это то самое, что она впоследствии выразит словами "*открыть двери его бессознательного*".

Что же именно в действиях Мелани Кляйн демонстрирует хоть какое-то восприятие той, не знаю уж какой, деятельности, которая была бы в субъекте его бессознательным? Да она предполагает ее не задумываясь, просто в силу привычки. Перечитайте внимательно все наблюдение и вы увидите в нем сенсационное проявление формулы, на которую я постоянно ссылаюсь: "*бессознательное является речью другого*".

В упомянутом случае данная формула совершенно очевидна. У субъекта нет ровно никакого бессознательного. Именно речь Мелани Кляйн прививает изначальной косности собственного Я ребенка первые символизации эдиповой ситуации. Более или менее скрыто, в большей или меньшей степени руководствуясь собственным произволом, Мелани Кляйн всегда поступает со своими пациентами именно так.

Каковы же эффекты символизаций, внесенных терапевтом в этом драматическом случае – случае субъекта, которому недоступна человеческая реальность, поскольку от него не услышать какого-либо призыва? Такие символизации определяют изна-

чальную позицию, исходя из которой субъект может ввести в игру воображаемое и реальное и завладеть своим развитием. Его поглощает ряд равнозначностей, система, где объекты замещают друг друга. Он продвигается вдоль целой цепочки уравнений, определяющих его переход от того промежутка между двумя створками двери, где он укрывался, как бы в абсолютной черноте всеобъемлющего вместилища, к объектам, которыми он замещает эту черноту – тазом с водой, например. Таким образом он развертывает и выражает весь свой мир. И дальше, от таза с водой он переходит к электрическому радиатору, к объектам все более и более разработанным. Он получает доступ как ко все более и более богатым содержаниям, так и к возможности определить, что свершается, а что нет.

Так на каком же основании можем мы говорить в этом случае о развитии эго? Как обычно, эго здесь путают с субъектом.

Развитие происходит лишь постольку, поскольку субъект включен в символическую систему, проявляется в ней, утверждается в результате осуществления подлинной речи. Как вы в дальнейшем убедитесь, нет даже необходимости, чтобы такая речь принадлежала ему. В отношениях временных, между терапевтом и субъектом, подлинная речь – пусть в наименее эмоциональной форме – может оказаться ему дарована. Но важно то, какая это речь, – и здесь как раз и проявляются свойства символической ситуации Эдипа.

Это поистине ключ – пусть очень упрощенный. Я уже замечал вам, что, вероятно, здесь существует целая связка ключей. Возможно, я прочитаю вам как-нибудь лекцию о том, что дают нам в этом отношении мифы первобытных народов – я не говорю "*примитивных*", поскольку знания их в этой области были гораздо богаче наших. Изучая мифологию, например, ту, что сложилась у населения Судана, мы видим, что комплекс Эдипа является для них лишь ничтожной деталью огромного мифа. Миф позволяет прочесть столь богатый и сложный ряд отношений между субъектами, что рядом с ними Эдип кажется лишь крайне сокращенным вариантом, который даже не всегда пригоден.

Однако нам это не важно. Что касается нас, аналитиков, то мы им довольствуемся и по сей день. Конечно, имеют место и

попытки его разработки, однако довольно скромные, поскольку исследователи непременно сталкиваются с ужасной путаницей за неумением различать воображаемое, символическое и реальное.

Но вот что я хотел бы вам сегодня заметить. Когда Мелани Кляйн сообщает ребенку схему Эдипа, воображаемое отношение, которое переживает субъект, хотя и очень бедно, но уже достаточно, чтобы можно было говорить о его собственном мире. Зато первичное реальное является для нас, в буквальном смысле, невыразимым. Поскольку субъект ничего не говорит нам об этом, у нас нет никакого средства проникнуть туда, если только мы не прибегнем к символическим экстраполяциям, составляющим двусмысленность любой системы, подобной кляйновской, – так, Мелани Кляйн говорит нам, что внутри царства материнского тела субъект находится вместе со своими братьями, не говоря уж о пенисе отца и т. д. Так ли это на самом деле?

Это не так уж важно, поскольку во всяком случае мы можем таким образом уловить, как подобный мир приводится в движение, как воображаемое и реальное начинают структурироваться, как разворачиваются последовательные инвестиции, ограничивающие собой разнообразие человеческих объектов, т. е. объектов именуемых. Отправной точкой всего этого процесса служит та первая фреска, которая конституируется значащей речью и формулирует основополагающую структуру, в законе речи очеловечивающую человека.

То же самое можно выразить и иначе. Давайте посмотрим, что в поле речи означает призыв? – возможность отказа. Я подчеркиваю – именно *возможность*: призыв не подразумевает отказа, он не подразумевает никакой дихотомии, никакого раздвоения. Но вы можете констатировать, что именно в момент призыва для субъекта устанавливается отношение зависимости. С этого момента он с распростертыми объятиями будет встречать няню, и, прячась позади двери, умышленно, он вдруг дает Мелани Кляйн понять, что у него есть потребность иметь компаньона в той нише, которую он однажды занял. Затем появится и зависимость.

Итак, в этом наблюдении вы видите, как у ребенка независимо разыгрывается ряд до-вербальных и пост-вербальных отношений. И вы замечаете, что внешний мир – то, что мы называем реальным миром и что является лишь очеловеченным, символизированным миром, созданным из трансценденции, введенной в первичную реальность символом, – может возникнуть лишь в том случае, если в нужном месте произойдет ряд встреч.

Порядок данной зависимости тот же, что и в моей схеме: определенное структурирование ситуации зависит от определенного положения глаза. Я снова возвращаюсь к моей схеме. Я собирался познакомить вас сегодня лишь с одним букетом, но можно ввести и еще один.

Опираясь на случай Дика и используя категории реального, символического и воображаемого, я показал вам, как может случиться, что субъект, располагающий всеми элементами языка и способный произвести некоторые символические перемещения, позволяющие ему структурировать собственный мир, все же не окажется в реальном мире. Почему его там нет? – единственно потому, что вещи не пришли в определенный порядок. Облик, в его совокупности, расстроен, и нет ровно никакой возможности сколько-нибудь развернуть такую совокупность.

Идет ли здесь речь о развитии эго? Вернемся еще раз к тексту Мелани Кляйн. Она говорит, что развитие эго было столь ранним, что отношение ребенка к реальности оказалось слишком реальным, поскольку воображаемое не могло быть задействовано, – и дальше, во второй части фразы, она говорит, что именно эго и остановило развитие. Это попросту означает, что эго не могло быть должным образом использовано в качестве аппарата структурирования внешнего мира. И по очень простой причине – из-за плохого расположения глаза эго просто-напросто не появляется.

Допустим, что ваза является мнимой. Ваза не появляется, и субъект остается в редуцированной реальности с довольно редуцированным багажом воображаемого.

В основе всех наблюдений Мелани Кляйн лежит – и важно, чтобы вы это поняли, – единственная сила речи, обнаруживаемая постольку, поскольку акт речи является функционировани-

ем, согласованным с уже установленной, типической и значащей символической системами.

Вам стоило бы перечитать текст, сформулировать вопросы, а также поработать с нашей небольшой схемой, чтобы понять, каково могло бы быть ее применение.

Сегодня мы рассмотрели теоретические вопросы, которые непосредственно касались текстуры проблем, поднятых в прошлый раз госпожой Желинье. Тема нашей следующей встречи, которая состоится через две недели: “*Перенос, различные уровни его изучения*”.

14 февраля 1954 года.

VIII

ВОЛК! ВОЛК!

Случай Робера.
Теория сверх-Я.
Остов речи.

В ходе нашего диалога вы могли свыкнуться со стремлением, главенствующим в нашем комментарии, – обдумать заново основополагающие тексты аналитического опыта. Душой нашего углубленного изучения была следующая мысль – в опыте наилучшим образом всегда видно именно то, что находится от нас в некотором отдалении. И поэтому неудивительно, что как раз здесь и сейчас для осознания аналитического опыта мы вынуждены вновь начать с того, что подразумевает собой самое ближайшее данное анализа, т. е. с символической функции или, что абсолютно то же самое в нашем словаре, функции речи.

Мы обнаруживаем, что на эту центральную область аналитического опыта Фрейд указывает повсюду, никогда не называя ее, но обозначая на каждом шагу. Я думаю, что ничего не преувеличу, сказав, что любой текст Фрейда прежде всего и почти алгебраически выражает символическую функцию, чем и объясняется значительное количество антиномий, отмеченных Фрейдом с той честностью, благодаря которой ни один из его текстов не кажется замкнутым, содержащим всю систему целиком.

Я хотел бы, чтобы к следующей встрече кто-нибудь взял на себя обязанность подготовить комментарий одного текста, в этом отношении показательного. Написание данного текста относится ко времени между "*Воспоминанием, воспроизведением и переработкой*" и "*Замечаниями о любви в переносе*" – двумя из наиболее важных текстов сборника "*Работы по технике психоанализа*". Речь идет о "*Введении к понятию нарциссизма*".

Изучая ситуацию аналитического диалога, мы не можем оставить без внимания упомянутый текст. Если бы вы знали, что вытекает из содержания терминов "*ситуация*" и "*диалог*" – диалог в кавычках, – вы согласились бы со мной.

Мы уже попытались определить сопротивление в его собственном поле, затем – сформулировали определение переноса. Итак, вы уже можете почувствовать всю разницу между сопротивлением, отделяющим субъекта от полной речи, которую ждет от него аналитик, и являющимся функцией того вызывающего беспокойство отклонения, которое в его наиболее радикальной форме, на уровне символического обмена, перенос как раз и представляет собой, – и тем феноменом, который используется техникой анализа и который представляется нам, как выразился Фрейд, энергетическим источником переноса, т. е. любовью.

В "*Замечаниях о любви в переносе*" Фрейд, не колеблясь, называет перенос словом "*любовь*". Фрейд в своем исследовании не уходит от феномена любви, страсти в его самом конкретном смысле и говорит даже, что между переносом и тем, что в жизни мы называем любовью, нет никакой существенной разницы. Структура искусственного феномена, которым является перенос, и структура непроизвольного феномена, называемого любовью, а еще точнее, любовью-страстью, в психологической плоскости эквивалентны.

Со стороны Фрейда нет никакого ухода от феномена, никакой попытки растворить деликатные вопросы в символизме, как его обычно понимают – в иллюзорном, ирреальном. Перенос – это любовь.

Центральным вопросом нашей работы станет теперь проблема любви в переносе, и на этом наше изучение "*Работ по технике психоанализа*" завершится. Тем самым мы окажемся в самом сердце другого понятия, которое я постараюсь здесь ввести и без которого также невозможно правильно разложить то, чем мы пользуемся в нашем опыте – функцию воображаемого.

Не следует думать, что функция воображаемого отсутствует в текстах Фрейда – не более, чем символическая. Просто Фрейд не выводит ее на первый план и не подчеркивает ее всюду, где можно ее обнаружить. Когда мы будем изучать "*Введение в нарциссизм*", вы увидите, что сам Фрейд для обозначения различия между тем, что является ранним слабоумием, шизофренией, психозом, и тем, что является неврозом, не находит иного определения, чем следующее (возможно, многих из вас оно удивит):

"*Как у истерика, так и у невротика, страдающего навязчивыми состояниями, поскольку их болезнь отражается на их отношении к миру, нарушено нормальное отношение к реальности. Но анализ обнаруживает, что у таких больных тем не менее вовсе не утрачено эротическое отношение к людям и предметам, оно сохранено у них в области фантазии, т. е. с одной стороны, реальные объекты заменяются и смешиваются у них с воображаемыми образами, восходящими к их воспоминаниям,* – не напоминает ли вам это нашу схему, представленную на прошлом занятии, – *с другой стороны, они не делают никаких усилий для реального достижения своих целей, т. е. для действительного обладания объектами. Только для этих состояний либидо и следует сохранять употребляемое Юнгом без строгого различия выражение: интроверсия либидо. У парафреников дело обстоит иначе. У них, по-видимому, либидо совершенно отщепилось от людей и предметов внешнего мира без всякой замены продуктами фантазии.* – А это означает, что парафреник воссоздает этот мир воображения., – *Речь здесь, по видимому, идет о вторичном процессе, о попытке к реконструкции, выражающейся в стремлении вернуть либидо объекту*".

Здесь намечено основное различие, которое необходимо делать между неврозом и психозом в том, что касается функционирования воображаемого; это различие мы сможем углубить в ходе анализа случая Шребера, к которому, я надеюсь, мы сможем приступить до конца года.

Сегодня же я передаю слово сидящей справа от меня Розин Лефор, моей ученице. От нее я узнал вчера, что в нашей подгруппе детского психоанализа она подготовила наблюдение ребенка, о котором уже много мне рассказывала. Это один из сложных случаев, доставляющих нам много затруднений в плане диагностики, двусмысленных с точки зрения нозологии. Тем не менее, Розин Лефор смогла увидеть всю глубину этого случая, в чем вы сможете убедиться.

Если на двух предыдущих лекциях мы опирались на наблюдение Мелани Клейн, то сегодня я предоставляю слово Розин Лефор. В границах отпущенного нам времени она представит вопросы, на которые я постараюсь дать ответы и которые могут

прозвучать в рамках темы следующей лекции "*Перенос в воображаемом*".

Розин, представьте, пожалуйста, нам случай Робера.

1
СЛУЧАЙ РОБЕРА

Г-жа Лефор: – *Робер родился 4 марта 1948 г. Его историю было сложно восстановить, а о пережитых травмах нам удалось узнать главным образом благодаря материалу, полученному во время сеансов.*

Отец его неизвестен. Мать, страдающая паранойей, в настоящий момент находится в больнице. Скитаясь от дома к дому, она держала ребенка при себе до возраста пяти месяцев. Она пренебрегала даже элементарным уходом за малышом вплоть до того, что забывала его кормить. Ей нужно было без конца напоминать о необходимом уходе, о том, что ребенка нужно мыть и кормить. Как выяснилось, этот мальчик был настолько заброшен, что даже голодал. В возрасте 5 месяцев его пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии гипотрофии и истощения.

Едва его поместили в больницу, как он заболел двусторонним отитом, потребовавшим двойной мастоидектомии. Он был направлен к Полю Парке, *чья профилактическая практика, как известно, не изобиловала излишествами. Там он был изолирован, и по причине анорексии его приходилось кормить через зонд. Мальчика выписали из больницы в 9 месяцев и почти насильно вернули матери. Нам ничего неизвестно о двух месяцах, проведенных с нею. Его след вновь обнаруживается во время госпитализации в возрасте 11 месяцев, когда он опять оказался в состоянии ярко выраженного истощения. Несколькими месяцами позже он будет окончательно и официально оставлен матерью, которую никогда больше не увидит.*

С этого момента и до возраста трех лет девяти месяцев мальчик двадцать пять раз меняет место пребывания, попадая во все новые детские учреждения и больницы, так ни разу и не оказавшись у кормилицы, в собственном смысле слова. Эти госпитализации были вызваны его детскими заболеваниями; его непрявляли на аденоидектомию, неврологическое обследо-

вание, вентрикулографию, электроэнцефалографию, которые дали нормальные результаты. Были сделаны санитарные, медицинские оценки, которые показали глубокие соматические нарушения. Затем, после улучшения соматики, были замечены психологические нарушения. В результате последнего обследования Денфером было решено, что Робера в возрасте трех с половиной лет следует поместить, и уже окончательно, в психиатрическую больницу в связи с не совсем ясным пара-психотическим состоянием. Результат теста Жезелля: QD=43.

Итак, к трем годам девяти месяцам он попадает в одно из учреждений дома Денфера, где поступает ко мне на лечение. В этот момент он выглядел следующим образом.

С точки зрения роста и веса, он был в хорошем состоянии, за исключением хронической двусторонней отореи. С точки зрения двигательных параметров, следует отметить его раскачивающуюся походку, значительное расстройство координации движений, постоянную повышенную возбужденность. С точки зрения языка – полное отсутствие связной речи, частые крики, гортанный нестройный смех. Он умел произносить лишь два слова, которые выкрикивал – “Мадам!” *и* “Волк!”. *Слово* “Волк!” *повторялось им на протяжении всего дня, что и побудило меня прозвать его* “ребенок-волк”, *поскольку таковым, поистине, было его собственное представление о самом себе.*

С точки зрения поведения, он был гиперактивным, все время совершал беспорядочные движения. Хватательные движения отличались несогласованностью – он выбрасывал руку вперед, чтобы схватить какой-либо предмет, и если его не доставал, он не мог ничего исправить, но должен был возобновлять движение с самого начала. Кроме того, следует отметить различные нарушения сна. На этом постоянном фоне у него случались приступы конвульсивных движений, без настоящих конвульсий, с покраснением лица, душераздирающими воплями по поводу обыденных ситуаций его жизни – горшок, и особенно опорожнение горшка, переодевание, кормление, открывание дверей, которое было невыносимо для него точно так же, как и темнота, крики других детей и, как мы увидим, смена комнат.

Реже у него случались диаметрально противоположные приступы – тогда он находился в полной прострации, глядя без цели, словно депрессивный больной.

Ко всем взрослым он относился одинаково, проявляя крайнюю возбужденность и не вступая в подлинный контакт. Детей, по-видимому, он игнорировал, но когда один из них кричал или плакал, у него начинался конвульсивный приступ. В момент таких приступов он становился опасен, силен, он начинал душить других детей, так что его приходилось изолировать ночью и на время еды. Тогда не было заметно ни тревоги, ни каких-либо эмоций.

Мы точно не знали, к какой категории следует отнести его случай. Однако постарались заняться его лечением, все время спрашивая себя, удалось ли нам чего-нибудь достичь.

Я расскажу о первом годе лечения, которое затем было на год прервано. В лечении можно выделить несколько фаз.

Во время предварительной фазы он сохранял присущее ему в жизни поведение. Он появлялся в комнате, бегая без остановки, крича, подпрыгивая и падая на корточки, хватаясь руками за голову, открывая и закрывая дверь, включая и выключая свет. Он хватал и вновь отбрасывал предметы, или еще нагромождал их на меня. Прогнатия была ярко выражена.

Единственное, что я смогла отметить в течение этих первых сеансов, это то, что он не решался приблизиться к бутылочке с молоком, или же с трудом приближался к ней, дуя поверх нее. Я также отметила интерес к тазу, который, будучи полным воды, по-видимому, вызывал настоящий приступ паники.

В конце этой предварительной фазы, во время одного из сеансов, нагромоздив на меня все, что попалось ему под руку, он убежал в состоянии большого возбуждения, и я услышала, что он оказался наверху лестницы, с которой не может спуститься сам, и говорит трогательным тоном и очень тихим, вовсе не свойственным ему голосом: "Мама" *– перед лицом пустоты.*

Эта предварительная фаза завершилась вне лечения. Както вечером, после того, как детей уложили спать, он, стоя на своей кровати, попытался при помощи пластмассовых ножниц отрезать свой пенис на глазах у ошеломленных детей.

Во второй части лечения он стал выказывать то, чем был для него "Волк!". *Он выкрикивал это слово беспрестанно.*

Однажды он начал с того, что попытался задушить маленькую девочку, лечившуюся у меня. Пришлось их разнимать и посадить его в другую комнату. Последовала неистовая реакция, он стал крайне возбужден. Я принуждена была отвести его в комнату, где он обычно жил. До этого же момента он кричал: "Волк!"*- разбрасывал все по комнате – еду и тарелки, так как находился в столовой. В следующие дни каждый раз, как он проходил возле комнаты, где был заточен, он кричал:* "Волк!".

Тут разъясняется также его поведение по отношению к дверям: он не выносил, когда двери были открыты и во время сеанса постоянно открывал их, чтобы заставить меня закрыть их и вопил: "Волк!".

Тут необходимо обратиться к его истории: смена мест, комнат воспринималась им как разрушение, поскольку в его жизни без конца сменялись как место пребывания, так и окружающие его взрослые. Это стало для него настоящим разрушительным принципом, которым были интенсивно отмечены его первичные жизненные проявления – принятия пищи и выделений. Он выражал такой принцип, главным образом, в двух ситуациях – с соской и с горшком.

Наконец, он стал брать бутылочку с соской. Однажды он открыл дверь и протянул бутылочку кому-то воображаемому – когда он был в комнате один со взрослым, он продолжал вести себя так, как если бы там были другие дети вокруг него. Он вернулся, выдернув соску, и заставил меня вновь одеть ее; затем снова протянул бутылочку вовне, оставил дверь открытой, повернулся ко мне спиной, проглотил два глотка молока, обратился ко мне лицом, выдернул соску, закинул голову назад, залил себя молоком, а остальное вылил на меня. Охваченный паникой, он убежал, не сознавая происходящего. Мне пришлось подхватить его на лестнице, с которой он уже было покатился. В этот момент я подумала, что он преодолел разрушение и что открытая дверь и молоко были связаны.

Последовавшая за этим сцена с горшком была отмечена теми же чертами разрушения. В начале лечения он считал,

что обязан делать ка-ка на сеансе, полагая, что если он даст мне нечто, он сохранит меня. Он мог это делать лишь прижавшись ко мне, сидя на горшке и держа одной рукой мой фартук, а другой – бутылочку или карандаш. Он ел до этого и особенно – после. Не молоко, на сей раз, а конфеты и пирожные.

Эмоциональная напряженность свидетельствовала о сильной тревоге. Последняя из этих сцен высветила существовавшую для него связь между дефекацией и разрушением в результате изменений.

Эту сцену он начал с того, что сделал ка-ка, сидя рядом со мной. Затем, усевшись рядом с какой, стал листать книгу, переворачивая страницы. Потом он услышал шум снаружи. Обезумевший от страха, он вышел, взял свой горшок и поставил его перед дверью человека, который только что вошел в соседнюю комнату. После чего он вернулся в комнату, где находилась я, и, прижавшись к двери, закричал – "Волк! Волк!"

Я подумала, что это был умилостивительный обряд. Он был неспособен отдать мне эту каку. В определенной степени мальчик знал, что я этого не требую. Он вынес ее наружу, он хорошо знал, что будет брошен, значит, разрушен. Я проинтерпретировала ему его обряд. Тогда он отправился за горшком и поставил его рядом со мной, спрятав под бумажкой; при этом он повторял: "воняет, воняет," – как бы для того, чтобы не быть обязанным его отдать.

После чего он стал агрессивен со мной, как если бы я, разрешив ему обладать собой посредством этой каки, оказавшейся в его распоряжении, дала ему возможность быть агрессивным. Очевидно, раньше он не имел возможности обладать, и его действия имели смысл не агрессивности, но лишь саморазрушения, когда он нападал на других детей.

Начиная с этого дня он не считал обязательным делать ка-ка на сеансе. Он использовал символические заместители – песок. У мальчика существовала полная неразбериха между ним самим, содержанием его тела и окружающими объектами, детьми и взрослыми. Его состояние возбуждения, тревоги все более и более росло. В жизни он стал невыносим. Да и сама я на сеансах была свидетелем настоящих бурь, в которые я с трудом могла вмешаться.

И вот что однажды произошло. В тот день, выпив немного молока, он вылил его на пол, затем бросил песок в таз с водой, наполнил песком и водой бутылочку, сделал пи-пи в горшок и положил туда песок. После чего, собрав молоко, перемешанное с песком и водой, добавил все это в горшок и поместил сверху резиновую куклу и бутылочку. Все это он доверил мне.

В этот момент он отправился открывать дверь и вернулся с лицом, перекошенным от страха. Он снова схватил бутылочку, находившуюся в горшке, и стал упорно бить ее, пока не превратил ее в мелкие осколки. Затем он их тщательно собрал и добавил их к песку в горшке. Робер был в таком состоянии, что я вынуждена была отпустить его, чувствуя, что уже ничего больше не могу для него сделать. Он унес этот горшок. Небольшая часть песка упала на пол, вызвав у ребенка невероятную панику. Ему понадобилось собрать все до мельчайшей песчинки, как если бы это были кусочки него самого, при этом он кричал: "Волк! Волк!".

Он не мог переносить, ни оставаться в коллективе, ни приближения какого-либо ребенка к его горшку. Его приходилось укладывать спать в состоянии сильного напряжения, которое поразительным образом проходило лишь после приступа поноса, после того, как он размазывал понос руками повсюду в кровати, а также на стенах.

Вся эта сцена была настолько эмоциональной и переживалась с такой тревогой, что я была очень обеспокоена и начала понимать то, что он думал о себе самом.

Он уточнил это на следующий день: когда мне пришлось обмануть его надежды, он подбежал к окну, открыл его и закричал: "Волк! Волк!", *– и, увидев свое изображение на стекле, ударил его с криком:* "Волк! Волк!".

Таким образом, Робер представился – он был "Волк!". *То, что он ударял или упоминал с таким напряжением, было его собственным изображением. Горшок, куда он сложил все, что попадает в него самого и из него выходит, пи-пи и ка-ка, а также человеческий образ – куклу, осколки бутылочки, был поистине его собственным образом, подобием образа волка, чему свидетельством была паника, возникшая в тот момент, когда немного песка упало на пол. Последовательно и одновременно он*

является всеми элементами, которые он сложил в горшок. Он был лишь рядом объектов, символов содержания его тела, посредством которых он вступал в контакт с повседневностью. Песок – символ фекалий, вода – символ мочи, молоко – символ того, что попадает в его тело. Однако сцена с горшком показывает, что он очень мало различал все это.Для него все содержание было едино в одинаковом чувстве постоянного разрушения его тела, которое, в противоположность содержанию, представляет собой вместилище и которое он символизирует разбитой бутылочкой, мелкие кусочки которой были помещены им в это разрушительное содержание.

Следующая фаза была посвящена наложению заклятия на "Волк!". *Я говорю о заклятии, поскольку ребенок производил на меня впечатление одержимого дьяволом. Благодаря моему постоянству он мог заклинать дьявола при помощи молока, которое пил, и сцен повседневной жизни, которые причинили ему столько зла.*

В этот момент мои интерпретации были направлены, главным образом, на то, чтобы дифференцировать содержимое его тела с аффективной точки зрения. Ка-ка – это то, что он дает, и его ценность зависит от молока, которое он получает. Пи-пи – это агрессивное.

Многие сеансы проходили следующим образом. В тот момент, когда он делал пи-пи в горшок, он объявлял мне: "Не ка-ка, это пи-пи". *Он был опечален. Я его успокаивала, говоря ему, что он слишком мало получил, чтобы быть способным дать что-либо, не разрушая при этом себя. Такие слова успокаивали его. Тогда он мог пойти вылить горшок в туалет.*

Опорожнение горшка сопровождалось многочисленными защитительными обрядами. Сначала он выливал мочу в умывальник так, чтобы вода из крана могла заместить мочу. Он наполнял горшок, явно переполняя его – как если бы вместилище существовало лишь посредством содержания, которое должно его переполнять, чтобы в свою очередь вместить его. Это было синкретическое видение бытия во времени как вместилища и содержания, совсем как во внутриутробной жизни.

*Он находил здесь тот смешанный образ себя самого, которым он обладал в собственном представлении. Он выливал пипи и пытался снова поймать его, будучи убежден, что он сам исчезает. Он кричал: "*Волк!*" – и горшок мог для него обладать реальностью лишь тогда, когда он был полон. Вся моя позиция заключалась в том, чтобы показать ему реальность горшка, остающегося после того, как из него вылили пи-пи: так и он, Робер, оставался после того, как сделал пи-пи, так и умывальник не был смыт текущей водой.*

*Посредством таких интерпретаций и моего упорства Робер ввел промежуток между опустошением и наполнением вплоть до того дня, когда он смог, торжествуя, появиться с пустым горшком в руках. Он, очевидно, воспринял идею постоянства собственного тела. Так, одежда была для него его вместилищем, и когда одежду с него снимали, это было для него в определенном смысле смертью. Сцена раздевания была для него причиной настоящих приступов, последний из которых продолжался 3 часа, и в тот момент, по словам персонала, он был словно одержимый. Он вопил: "*Волк!*" – бегал из одной комнаты в другую, опрокидывал на других детей фекалии, которые он находил в горшках. Лишь однажды, когда его привязали, он успокоился.*

*На следующий день он пришел на сеанс и начал раздеваться в состоянии большой тревоги, после того, совсем голый, забрался в кровать. Потребовалось три сеанса, чтобы ему удалось выпить немного молока, лежа голым в постели. Он показывал на дверь и окно, бил собственное изображение с криком: "*Волк!*".*

Одновременно в повседневной жизни процесс раздевания стал проходить намного легче, но сопровождался большой депрессией. Вечером без всякой причины он принимался рыдать, спускался вниз, чтобы его утешила воспитательница, и засыпал у нее на руках.

В конце этой фазы, благодаря моему постоянству, сделавшему молоко конструктивным элементом, он наложил вместе со мной заклятие на опустошение горшка и на сцену раздевания. Однако, принужденный необходимостью выстраивать минимум, он не касался прошлого, а считался лишь с настоящим его повседневной жизни, как если бы он был лишен памяти.

В следующей фазе уже я стала "Волк!".

Он воспользовался тем минимумом построения, которое ему удалось осуществить, чтобы спроецировать на меня все зло, испытанное им, и чтобы в некотором роде обрести память. Таким образом, он постепенно становился агрессивным, что оказывалось для него трагичным. Подталкиваемый прошлым, он должен был быть агрессивен со мной, и однако в то же время в настоящем я была тем, в чем он нуждался. Я должна была успокаивать его моими интерпретациями, говорить ему о прошлом, которое обязывало его быть агрессивным, и обещать ему, что это не повлечет за собой ни моего исчезновения, ни его перемещения, всегда воспринимавшегося им как наказание.

Когда он был агрессивен со мной, он пытался себя разрушить. Он представлял себя бутылочкой и старался разбить ее. Я вытаскивала ее у него из рук, поскольку он не был в состоянии перенести ее разрушение. Тогда он возвращался к действительности сеанса, и его агрессивность ко мне продолжалась.

В этот момент он заставлял меня играть роль его матери, мучащей его голодом. Он обязывал меня садиться на стул, где был его стакан с молоком так, чтобы я опрокинула стакан, лишив его, таким образом, хорошей пищи. Он начинал кричать: "Волк!" *– брал колыбельку и ванночку и выбрасывал их в окно. Он поворачивался ко мне и с яростью заставлял меня глотать грязную воду, крича при этом:* "Волк! Волк!". *Эта бутылочка представляла в данном случае плохую пищу и отсылала нас к разлучению его с матерью, лишившему его пищи, и ко всем переменам, которые ему пришлось пережить.*

В то же время он дал мне другую роль плохой матери – роль той, которая уходит. Как-то вечером он увидел, как я выхожу из учреждения. На следующий день он отреагировал на увиденное, хотя раньше, замечая, как я ухожу, он не был способен выразить свои эмоции, которые он мог при этом ощущать. В тот день он сделал пи-пи на меня в состоянии большой агрессивности и тревоги.

Данная сцена была лишь прелюдией к финальной сцене, в результате которой он окончательно приписал мне все пережитое зло и окончательно спроецировал на меня "Волк!".

Что ж, поскольку я уходила, я была вынуждена проглотить бутылочку грязной воды и получила агрессивное пи-пи. Итак, я была "Волк!". *В один из сеансов Робер отделался от него, закрыв меня в туалете, затем один вернулся в комнату, где мы работали, забрался в пустую постель и начал стонать. Он не мог меня позвать, и однако ему было нужно, чтобы я вернулась, поскольку я была постоянным человеком. Я вернулась. Робер лежал взволнованный, его большой палец находился в двух сантиметрах ото рта. И впервые на сеансе он протянул ко мне руки и позволил себя утешить.*

Начиная с этой сцены, по словам работников учреждения, поведение мальчика полностью изменилось.

У меня осталось впечатление, что он изгнал "Волк!".

С этого момента он больше не говорил о нем и смог перейти к следующей фазе – к внутриутробной регрессии, т. е. к построению своего тела, ego-body, *чего он не мог осуществить раньше.*

Чтобы использовать диалектику, которую он сам всегда использовал – диалектику содержание–вместилище – для собственного построения Робер должен был быть моим содержанием, причем он должен был удостовериться и в моем обладании, т. е. в своем будущем вместилище.

В начале этого периода, он брал ведерко, полное воды, с веревочной ручкой. Он совершенно не мог переносить, когда эта веревочка была привязана за оба края. Ему нужно было, чтобы с одной стороны она свисала. Я была поражена тем фактом, что, когда мне пришлось укрепить веревку, чтобы нести ведро, он почувствовал, как казалось, почти физическую боль. Однажды он поставил ведерко, полное воды, между ног, взял веревку и поднес ее край к своему пупку. Я подумала тогда, что ведерко – это я, и что он привязывал себя ко мне пуповиной. Затем он опрокинул содержимое ведра, разделся донага и улегся в воде в положении эмбриона, съежившись. Время от времени он вытягивался и даже открывал и закрывал на жидкость рот – так, как эмбрион пьет амниотическую жидкость, о чем свидетельствуют результаты последних американских опытов. У меня осталось впечатление, что таким образом он себя реконструировал.

Сперва чрезвычайно возбужденный, он начинает осознавать некоторую реальность удовольствия и все оканчивается двумя главными сценами, проведенными с крайним благоговением и удивительной для его возраста и состояния полнотой.

В первой из этих сцен Робер, будучи совершенно обнаженным передо мной, собрал воду в соединенные ладошки, поднял ее на высоту своих плеч и облил ею тело. Он возобновлял это действие несколько раз, и затем мягко сказал мне: "Робер, Робер".

За таким крещением водой – а это было именно крещение, если принять во внимание благоговение мальчика, – последовало крещение молоком.

Сначала он стал играть с водой скорее с удовольствием, чем с благоговением. Затем он взял свой стакан молока и выпил его. Потом вновь надел соску и начал обливать свое тело молоком из бутылочки. Поскольку это было довольно медленно, он снял соску и вновь стал обливать грудь, живот, пенис с явным чувством удовольствия. Затем он повернулся ко мне и показал мне свой пенис, взяв его в руку с радостным видом. Затем выпил молока, поместив его, таким образом, снаружи и внутри, так что содержание стало одновременно содержанием и вместилищем, обнаруживая при этом ту же ситуацию, как и при игре с водой.

В следующих фазах он перешел к стадии орального построения.

Эта стадия чрезвычайно трудна и сложна. Прежде всего, ему было 4 года, а он переживал лишь самую первоначальную стадию. Более того, другие дети, состоявшие у меня в тот момент на лечении в данном учреждении, были девочки, что представляло проблему для него. Наконец, редуцированные формы поведения Робера не исчезли полностью и имели тенденцию к возвращению каждый раз, как он ощущал фрустрацию.

После крещения водой и молоком Робер начал переживать отношение симбиоза, характеризующее первичное отношение мать-ребенок. Однако когда ребенок действительно его переживает, обычно не существует никаких проблем, связанных с полом, по крайней мере в отношении новорожденного к его матери. Тогда как тут таковое имело место.

Робер должен был составить симбиоз с матерью женского пола, что ставило, таким образом, проблему кастрации. Проблема для меня заключалась в том, чтобы суметь дать ему пищу и не повлечь тем самым его кастрацию.

Сначала он пережил этот симбиоз в простой форме. Сидя у меня на коленях, он ел. Затем он брал мое кольцо и часы и надевал их на себя или же брал карандаш из моей блузы и зубами ломал его. После того, как я проинтерпретировала ему его действия, идентификация с фаллической матерью-кастратором осталась в плоскости прошлого и сопровождалась реактивной агрессивностью, изменившейся в плане мотиваций. С тех пор он ломал грифель карандаша лишь затем, чтобы наказать себя за эту агрессивность.

Как следствие, он смог пить молоко из бутылочки, находящейся у меня в руках, но должен был сам придерживать бутылочку. Лишь позднее он смог переносить, чтобы только я держала бутылочку, как если бы все прошлое запрещало ему принимать от меня содержание достаточно важного объекта.

Его желанию симбиоза еще противоречило прошлое. Вот почему он прибегнул к уловке давать себе самому бутылочку. Но благодаря опыту с другой пищей – кашей и пирожными, убедившись, что пища, полученная от меня посредством этого симбиоза, не делала его девочкой, он смог принимать пищу от меня.

Сначала он пытался стать отличным от меня, отделившись от меня. Он давал мне есть и приговаривал, ощупывая себя: "Робер", *– затем трогал меня –* "Не Робер". *Я активно воспользовалась этим в моих интерпретациях, чтобы помочь ему отличить себя. Эта ситуация перестала ограничиваться лишь нашим с ним отношением, он включил в нее и лечившихся у меня девочек.*

Здесь мы имеем дело с проблемой кастрации, поскольку он знал, что до него и после него ко мне на сеанс приходили девочки. Эмоциональная логика требовала, чтобы он сделался девочкой, так как девочка прерывала необходимый ему симбиоз со мной. Ситуация была противоречивой. Он проигрывал ее различными способами, делая пи-пи то сидя на горшке, то стоя, но выказывая агрессивность.

Робер стал теперь способен принимать и давать. Он давал мне свою каку, не опасаясь, что будет кастрирован этим даром.

Итак, мы достигли некоторых успехов в лечении. Их можно резюмировать в следующем: содержание его тела более не является деструктивным, плохим; Робер способен выражать свою агрессивность, делая пи-пи стоя, а существование целостности его вместилища, т. е. тела, не ставится при этом под вопрос.

Q.D. по Жезеллю изменился с 43 на 80, а тест Терман-Мерилля показал Q.I.=75. Клиническая картина изменилась, двигательные расстройства исчезли, так же как прогнатия. С другими детьми он стал дружелюбен и часто защищал более маленьких. Его можно начинать приобщать к групповой деятельности. Лишь язык остается рудиментарным. Робер никогда не составляет фраз, а употребляет лишь отдельные слова.

Затем я уехала в отпуск. Я отсутствовала 2 месяца.

После моего возвращения он разыгрывает сцену, выявляющую сосуществование в нем упрощенных форм прошлого и построения настоящего.

Во время моего отсутствия его поведение стало прежним – по-прежнему, но богаче за счет полученного опыта он выражал то, что представляла для него разлука, страх меня потерять.

Когда я вернулась, он вылил, как бы уничтожив, молоко, свое пи-пи, выбросил каку, затем снял свой фартук и бросил его в воду. Таким образом он разрушил свое прежнее содержимое и вместилище, обнаруженные травмой моего отсутствия.

На следующий день в результате чрезмерной эмоциональной реакции, выразительность Робера преобразовалась на соматической плоскости – появился обильный понос, рвота, обморок. Он полностью избавился от своего прошлого образа. Одно мое присутствие могло обеспечить связь его самого со своим новым образом – как с новым рождением.

В этот момент он приобрел новый образ себя. На сеансах он проигрывает старые травмы, которых мы не знали. Робер пьет из бутылочки, кладет соску в ухо и разбивает затем бутылочку в состоянии ярости.

Все же он стал способен сделать это так, что целостность его тела не пострадала, он отделился от своего символа – бутылочки – и мог выражаться при помощи бутылочки, используемой в качестве объекта. Этот сеанс был настолько поразителен (он повторил его два раза), что я решила провести расследование, чтобы узнать, как прошла антротомия, перенесенная им в возрасте пяти месяцев. Тогда стало известно, что в службе O.R.L., где он был оперирован, ему не делали анестезию, а в течении всей болезненной операции у него во рту насильно держали бутылочку со сладкой водой.

Этот травматический эпизод высветил сложившийся у Робера образ его матери, морящей его голодом, больной паранойей, опасной для окружающих, наверняка нападавшей на ребенка. Затем – разлука, бутылочка, которую насильно держат у него во рту и которая вынуждает его глотать крики. Кормление через трубочку, двадцать пять последовательных перемещений. Я думаю, драма Робера состояла в том, что все его орально-садистские фантазмы были реализованы в условиях его существования. Его фантазмы становились реальностью.

Недавно мне пришлось поставить его перед лицом реальности. Я отсутствовала в течение года и вернулась в учреждение беременной, на 8 месяце. Увидев меня беременной, он начал играть фантазмами разрушения моего ребенка.

Я исчезла на время родов. В течение моего отсутствия мой муж занялся его лечением, он разыграл разрушение моего ребенка. Когда я вернулась, мальчик увидел меня без живота и без ребенка. Итак, он был убежден, что его фантазмы стали реальностью, что он убил ребенка, а значит, я убью его.

Он был чрезвычайно возбужден последние две недели до того момента, как он смог мне это сказать. И тогда я показала ему истинное лицо реальности. Я привезла ему мою маленькую дочку, чтобы он узнал, наконец, в чем дело. Его возбуждение явно ослабло, и когда я вновь встретилась с ним на сеансе на следующий день, он начал, наконец, выражать мне чувство ревности. Он привязался к чему-то живому, а не к смерти.

Этот ребенок всегда оставался на той стадии, где фантазмы являлись реальностью. Вот объяснение тому, что его

фантазмы внутриутробного построения в лечении были реальностью, и что он смог создать удивительное построение. Если бы он миновал эту стадию, я не смогла бы добиться от него самого такого построения.

Как я говорила вчера, у меня сложилось впечатление, что этот ребенок был поглощен реальным, что в начале лечения у него отсутствовала какая-либо символическая функция, и тем более функция воображаемого.

Лакан: – Тем не менее в его распоряжении были два слова.

2

Ипполит: – *Я хотел бы задать вопрос по поводу слова "Волк". Откуда взялся "Волк"?*

Г-жа Лефор: – *В детских учреждениях нянечки часто пугают детей волком. В учреждении, где я занималась лечением мальчика, как-то раз, когда поведение детей было невыносимым, их закрыли в садике, а нянечка вышла наружу и завыла волком, чтобы образумить детей.*

Ипполит: – *Остается объяснить, почему страх волка закрепился в нем, как и в остальных детях.*

Г-жа Лефор: – *Очевидно, волк был отчасти пожирающей матерью.*

Ипполит: – *Вы полагаете, что волк всегда является матерью?*

Г-жа Лефор: – *В детских историях всегда говорится, что волк придет и съест. На орально-садистической стадии ребенок хочет съесть мать, и он думает, что мать хочет съесть его. Мать становится волком. Я думаю, что генезис, вероятно, таков, хотя я не вполне уверена. В истории этого ребенка есть много неизвестных моментов, о которых я не смогла узнать. Когда он хотел быть агрессивным со мной, он не становился на четвереньки и не лаял. Теперь он делает это. Теперь он знает, что он человек, но время от времени ему бывает необходимо идентифицировать себя с животным, как это делает ребенок в 18 месяцев. И когда он хочет быть агрессивным, он становит-*

ся на четвереньки, издает звук: "у-у" – без всякого страха. Затем он поднимается и продолжает сеанс. Он может пока выражать агрессивность лишь на такой стадии.

Ипполит: – *Да, это переход от* zwingen *(принуждать) к* bezwingen *(преодолевать). Огромная разница между словом, где есть принуждение, и словом, где принуждения нет. Принуждение,* Zwang, *– это волк, который внушает страх, а страх преодоленный,* Bezwingung, *– это момент, когда сам мальчик играет волка.*

Г-жа Лефор: *–Да, я с вами согласна.*

Лакан: – Волк, естественно, ставит все проблемы символизма, это не ограничиваемая функция, поскольку мы вынуждены искать ее истоки в общей символизации.

Почему волк? Это не столь уж обычный в нашей области персонаж. Тот факт, что именно волк выбран для создания этих эффектов, непосредственно связывает нас с более широкой функцией в мифологической, фольклорной, религиозной, первобытной плоскости. Волку сродни целая последовательность, отсылающая нас к тайным обществам и тому, что в них связано с инициацией, будь то принятие тотема или идентификация с персонажем.

Сложно провести эти различия по поводу столь неразвернутого феномена, но я хотел бы обратить ваше внимание на разницу между идеалом собственного Я и сверх-Я в детерминации вытеснения.

Не знаю, заметили ли вы, что существует два понятия, которые, будучи введены в какую-либо диалектику для объяснения поведения больного, кажутся направленными совершенно противоположным образом. Сверх-Я является принуждающей функцией, а Я-идеал – воодушевляющей.

Такое различие часто стараются не замечать, переходя от одного термина к другому, как если бы они были синонимами. Данный вопрос стоило бы задать при изучении отношения переноса. Подыскивая основание терапевтическому действию, исследователи способны сказать, что субъект идентифицирует аналитика со своим идеалом, или напротив, со своим сверх-Я, и

в том же тексте заменяют один термин на другой в зависимости от хода доказательства, не объясняя при этом разницу.

Мне, конечно, придется еще рассмотреть вопрос о сверх-Я. Скажу сразу, что, если мы не будем ограничиваться слепым, мифическим использованием этого термина, ключевое слово, идол, сверх-Я расположится главным образом в символической плоскости речи, в отличие от Я-идеала.

Сверх-Я – это императив. Как свидетельствует его здравое понимание и использование, сверх-Я однородно регистру и понятию закона, т. е. совокупности системы языка, поскольку оно определяет положение человека как такового, не только как биологической особи. С другой стороны, нужно также подчеркнуть, в противоположность этому, его безрассудный, слепой характер чистого императива, простой тирании. В каком же направлении может быть произведен синтез этих понятий?

Сверх-Я имеет отношение к закону, и в то же время это закон безрассудный, вплоть до того, что он превращается в непризнавание закона. Мы видим, что именно таким образом действует сверх-Я у невротика. Не потому ли, что мораль невротика безрассудная, разрушительная, только угнетающая и почти всегда противозаконная, – не потому ли потребовалось в психоанализе разработать функцию сверх-Я?

Сверх-Я – это одновременно закон и его разрушение. Таким образом, он даже является речью, заповедью закона в той мере, как от этого последнего остается лишь корень. Закон целиком сводится к чему-то, что нельзя даже выразить, как "*Ты должен*" – речь, лишенная всякого смысла. Именно в этом смысле сверх-Я в конце концов сводится к отождествлению с тем, что в первоначальном опыте субъекта представляется как наиболее опустошающее, завораживающее. В конечном счете, сверх-Я отождествляется с тем, что я называю "*страшилищем*", с фигурами, связанными с какими бы то ни было первичными травмами, перенесенными ребенком.

В этом, особо показательном, случае мы видим данную функцию языка воплощенной, мы прикасаемся к ее наиболее редуцированной форме, сведенной к одному слову, смысл и значение которого для ребенка мы даже не способны определить, но эта функция, тем не менее, связывает его с человече-

ским сообществом. Как вы правильно указали, это не просто одичавший ребенок-волк, это говорящий ребенок и именно посредством восклицания "*Волк!*" у вас с самого начала была возможность установить с ним диалог.

В этом наблюдении восхитителен момент, когда после сцены, которую вы описали, из употребления исчезает слово "*Волк!*". Именно вокруг этого стержня языка, вокруг отношения к слову, которое для Робера было сводом закона, происходит поворот от первой ко второй фазе. Затем начинается необыкновенная разработка, завершающаяся переломным самокрещением, когда он произносит свое собственное имя. Мы прикасаемся здесь к основополагающему отношению человека к языку, в его наиболее редуцированной форме. Это чрезвычайно впечатляюще.

Какие еще вопросы вы хотели бы задать?

Г-жа Лефор: – *Какова же диагностика?*

Лакан: – Ну что ж, есть люди, которые уже имеют свое мнение по этому вопросу. Ланг, мне говорили, что вчера вечером вы высказывались по этому поводу, и мне показалось это интересным. Я думаю, что ваша диагностика лишь аналогическая. Руководствуясь существующей в нозологии таблицей, вы назвали это ...

Д-р Ланг: – *Галлюцинаторным бредом. Всегда можно попытаться найти аналогию между довольно глубокими расстройствами в поведении детей и тем, что нам известно о взрослых. И чаще всего приходится слышать о детской шизофрении, когда исследователи не совсем понимают, что происходит. Здесь не хватает одного основополагающего элемента, чтобы можно было говорить о шизофрении – диссоциации. Нет диссоциации, поскольку едва существует построение. Я подумал, что это напоминает некоторые формы галлюцинаторного бреда. Вчера вечером я делал значительные оговорки, поскольку необходимо преодолеть целую ступень между непосредственным наблюдением ребенка такого возраста и тем, что нам известно из обычной нозографии. В этом случае необходимо разъяснить многие вещи.*

Лакан: – Да, именно так я понял ваши слова из того, что мне сообщили. Галлюцинаторный бред, как вы его понимаете, в смысле хронического галлюцинаторного психоза, имеет лишь одно общее с тем, что имеет место у данного субъекта, а именно, то измерение, которое тонко отметила г-жа Лефор: этот ребенок живет лишь реальным. Если слово "*галлюцинация*" обозначает что-либо, так это ощущение реальности. В галлюцинации есть нечто, что пациент действительно принимает за реальное.

Вы знаете, насколько это остается проблематичным даже в галлюцинаторном психозе. В хроническом галлюцинаторном психозе взрослого существует синтез воображаемого и реального, в нем-то и заключается вся проблема психоза. Здесь же обнаруживается вторичная разработка в воображаемом, выделенная г-жой Лефор и являющаяся, буквально, не-несуществованием в состоянии зарождения.

Я уже давно не возвращался к этому наблюдению. И все же, в прошлый раз я представил вам большую схему с вазой и цветами, где цветы – воображаемы, мнимы, иллюзорны, а ваза реальна, или наоборот, поскольку устройство можно расположить обратным образом.

В данном случае я лишь могу обратить внимание на уместность этой модели, построенной на отношении "цветы–содержимое" и "ваза–вместилище". Поскольку система "вместилище–содержимое", выведенная мной на первый план значения, которое я придаю стадии зеркала, здесь, как мы видим, задействована полностью и в чистом виде. Мы замечаем, что ребенок руководствуется более или менее мифической функцией вместилища и лишь под конец он способен вынести ее пустоту, как отметила г-жа Лефор. Быть способным выносить ее бессодержательность значит отождествить ее, наконец, с чисто человеческим объектом, то есть инструментом, способным отделиться от своей функции. И это является главным настолько, насколько в человеческом мире существует не только *utile* (полезное, годное к чему-либо), но и *outil* (инструмент, штука), то есть инструменты, существующие сами по себе.

Ипполит: – *Универсалии.*

Д-р Ланг: – *Переход от вертикального положения волка к горизонтальному очень любопытен. Мне кажется, что волк вначале – это пережитое.*

Лакан: – Волк вначале не является ни самим ребенком, ни кем-либо другим.

Д-р Ланг: – *Это реальность.*

Лакан: – Нет, я думаю, это главным образом речь, сведенная к ее остову. Это ни Робер, ни кто-либо другой. Ребенок, очевидно, есть "*Волк!*" постольку, поскольку произносит это слово. Но "*Волк!*" – это и все что угодно, в той мере как оно может быть названо. Вы видите здесь узловую точку речи. Собственное Я здесь полностью хаотично, речь является остановившейся. Но именно на основе "*Волк!*" собственное Я может занять свое место и быть выстроено.

Д-р Барг: – *Я отметил, что однажды произошло изменение, когда ребенок играл со своими экскрементами. Он давал, менял и брал песок и воду. Я думаю, что здесь как раз он и начал строить и проявлять воображаемое. Он уже мог занимать более отдаленное положение от объекта, его экскрементов, и затем становился все более и более далек. Я не думаю, что здесь можно говорить о символе так, как вы его понимаете. Однако вчера мне показалось, что г-жа Лефор говорила о них именно как о символах.*

Лакан: – Это сложный вопрос. Им-то мы как раз и занимаемся, поскольку он может дать нам ключ к тому, что мы обозначили как собственное Я. Что такое собственное Я? Природа инстанций различна: одни из них являются реалиями, другие – образами, воображаемыми функциями. Одной из них является собственное Я.

Вот к чему я хотел бы вернуться перед тем, как мы расстанемся. Не следует опускать то, что вы столь впечатляюще описали нам вначале, – двигательное поведение этого ребенка. У мальчика, по-видимому, нет никаких повреждений органов. Каково же теперь его двигательное поведение? Каковы его хватательные движения?

Г-жа Лефор: – *Конечно, они уже не такие, как прежде.*

Лакан: – Вначале, как вы говорили, когда он хотел достать предмет, он мог ухватить его лишь одним жестом. Если этого

жеста недоставало, он должен был возобновить движение с самого начала. Итак, он контролирует визуальную ориентацию, но у него нарушено понятие дистанции. Этот дикий ребенок всегда может, как хорошо организованное животное, схватить то, что он желает. Но если в действии есть ошибка или ляпсус, он может исправить их лишь начав все сначала. Следовательно, мы можем сказать, что, очевидно, у этого ребенка нет недостатков или отсталости, относящейся к пирамидальной системе, но что мы имеем дело с проявлениями недостатков в функциях синтеза собственного Я, как мы его понимаем в аналитической теории.

Отсутствие внимания, несвязная возбужденность, которую вы отметили вначале, должны быть также отнесены за счет недостатков функций собственного Я. Впрочем, нужно отметить, что в некоторых отношениях аналитическая теория представляет даже функцию сна как функцию собственного Я.

Г-жа Лефор: – *Этот ребенок, который не спал и не видел снов, в тот знаменательный день, когда он закрыл меня в туалете, начал ночью видеть сны и звать во сне маму, а его двигательные расстройства смягчились.*

Лакан: – Вот то, к чему я хотел прийти. Ничто не мешает мне непосредственно связать нетипичность его сна с ненормальным характером его развития, отсталость которого относится именно к плану воображаемого, к плоскости собственного Я как воображаемой функции. Это наблюдение показывает нам, что из отсталости этой точки развития воображаемого вытекают нарушения в некоторых функциях, казалось бы, низших по отношению к тому, что мы можем назвать надстроечным уровнем.

В этом наблюдении представляет чрезвычайный интерес отношение между строго сенсорно–двигательным созреванием и функциями овладения воображаемым у субъекта. Весь вопрос заключается в этом. Нам следует понять, в какой мере именно эта связь затронута в шизофрении.

В зависимости от нашей склонности и от того, как каждый из нас представляет себе шизофрению, ее механизм и главную движущую силу, мы можем включать или нет этот случай в рамки шизофренического заболевания.

Безусловно, насколько вы показали нам значение и зону охвата данного заболевания, перед нами не шизофрения в смысле

состояния. Но здесь есть шизофреническая структура отношения к миру и целый ряд феноменов, которые мы можем, в конце концов, приравнять к разряду кататонических. Конечно, тут нет, собственно говоря, ни одного симптома, так что ограничив этот случай такими рамками, как это сделал Ланг, мы можем определить его лишь приблизительно. Однако некоторые изъяны, некоторые недостатки человеческой адаптации ведут к чему-то такому, что позже, по аналогии, предстанет как шизофрения.

Я думаю, больше тут сказать нечего. Можно разве лишь добавить, что это так называемый демонстративный случай. В конце концов, у нас нет никакого основания думать, что нозологические рамки оставались неизменными извечно и ожидали нас уже готовыми. Как говорил Пеги, маленькие винтики всегда подходят к маленьким отверстиям, но случаются аномальные ситуации, когда маленькие винтики перестают соответствовать маленьким отверстиям. Мне не представляется сомнительным, что речь идет о феноменах психотического порядка, или точнее, о феноменах, которые могут завершиться психозом. Что вовсе не означает, что всякий психоз начинается именно так.

Леклер, именно вас я попросил бы рассказать нам в следующий раз о "*Введении в нарциссизм*", опубликованном в IV томе *Collected Papers* или в X томе полного собрания сочинений. Вы увидите, что речь идет о вопросах, поставленных в рамках изучаемой нами темы регистра воображаемого.

10 марта 1954 года.

IX

О НАРЦИССИЗМЕ

О том, что составляет акт.
Сексуальность и либидо.
Фрейд или Юнг?
Воображаемое в неврозе.
Символическое в психозе.

Для тех, кто отсутствовал в прошлый раз, я хотел бы сказать, почему я считаю полезным обратиться теперь к статье Фрейда "*Zur Einführung des Narzismus*".

1

Итак, чего же мы достигли? На этой неделе я не без удовлетворения заметил, что многие из вас уже серьезно заинтересовались предложенной мной системой использования категорий символического и реального. Как вы знаете, я настаиваю на том, что всегда следует исходить из понятия символического чтобы постичь смысл наших действий в ходе аналитического вмешательства, в частности – вмешательства положительного – путем интерпретации.

Кроме того, мы выделили ту грань сопротивления, которая относится к уровню самого произнесения речи. Речь лишь до определенной степени может выразить бытие субъекта – некоторые точки всегда остаются для нее недоступными. Итак, перед нами встает вопрос – каково отношение к речи всех тех аффектов, всех воображаемых сопоставлений, о которых обычно упоминают, определяя действие переноса в аналитическом опыте? Вы уже прекрасно поняли, что вряд ли здесь что-либо является само собой разумеющимся.

Полной речью является речь, направленная на истину и формирующая ее такой, какой она устанавливается в признании одного человека другим. Полная речь является речью, выступающей как акт. После нее один из субъектов оказывается иным,

чем был раньше. Вот почему это измерение не может быть опущено в аналитическом опыте.

Мы не должны мыслить аналитический опыт как игру, обманку, трюкачество иллюзиониста, внушение. Психоанализ взывает к полной речи. Исходя из такого положения, разъясняются, сообразуются многие вещи, но выступает и много парадоксов, противоречий. Заслугой такого понимания как раз и является очерчивание парадоксов и противоречий на месте неясностей и темных моментов. И напротив, гармоничные с виду и понятные рассуждения часто таят в себе неясность, а рассеять ее могут лишь антиномия, зияние, загвоздка. Такая точка зрения лежит в основании нашего метода и, как я надеюсь, нашего прогресса.

Первым таким противоречием является то, что аналитический метод, нацеленный на достижение полной речи, как ни странно, начинает движение в прямо противоположном направлении – ведь в анализе субъекту предписаны рамки речи, свободной от всякой ответственности за свои слова и от всех требований достоверности; ему предписано говорить все, что приходит в голову. Таким образом, пациенту как минимум облегчен возврат на путь того, что в речи находится ниже уровня признания и того, что касается "третьего" – объекта.

Мы различаем две плоскости обмена человеческой речи – план признания, поскольку речь заключает между субъектами договор, изменяющий их и устанавливающий их как субъектов человеческого общения, – и план сообщения, где можно выделить всякого рода ступени (призыв, возражение, знание, информацию), но который, в конечном счете, нацелен на осуществление согласия по поводу объекта. Хотя тут и присутствует термин "согласие", но акцент здесь ставится на объект, внешний по отношению к действию речи и речью выраженный.

Безусловно, объект соотносится с речью. И впредь он частично будет дан в объектной или объективной системе, на счет которой следует относить всю сумму предубеждений, составляющих культурное общество, равно как и гипотезы, даже психологические предрассудки, от научно разработанных до наиболее наивных и непосредственных (а они не только соотносимы с научными, но и питают их).

Итак, субъекту предложено отдаться целиком объектной системе, куда следует включать его научные познания и все, что он может вообразить исходя из имеющейся у него информации о его состоянии, его проблеме, положении, наравне с его наивными предрассудками, на которых покоятся его иллюзии, в том числе невротические (поскольку речь идет о важной составляющей невротического склада).

Казалось бы – и проблема именно в этом – такой акт речи может продвигаться вперед лишь по пути интеллектуального убеждения, проистекающего из наставительного, т. е. идущего сверху вниз, вмешательства аналитика. В таком случае анализ продвигался бы вперед посредством наставлений.

Именно такое наставление имеют в виду, когда говорят о первой, якобы интеллектуалистской, фазе анализа. Вы прекрасно понимаете, что такой фазы никогда не существовало. Возможно, имели место интеллектуалистские концепции анализа, но это не значит, что интеллектуалистские анализы проводились в действительности, – силы, задействованные в анализе на самом деле, присутствовали в нем изначально. Если бы это не было так, психоанализу не удалось бы проявить себя и получить признание в качестве очевидного метода психотерапевтического вмешательства.

То, что называют в данном случае интеллектуализацией, не имеет ничего общего с понятием интеллектуального. Чем лучше мы сумеем проанализировать разные уровни того, что задействовано в анализе, чем лучше удастся нам различить то, что должно быть различено, и объединить то, что должно быть объединено, – тем эффективнее станет наша техника. Вот, чем мы пытаемся заниматься.

Итак, чтобы объяснить эффективность вмешательства аналитика, нужно искать нечто другое, чем наставления. Опыт выявляет это эффективное нечто в действии переноса.

И тут возникает неясность – что же такое, в конечном счете, перенос?

По сути, эффективный перенос, о котором идет речь, – это просто-напросто акт речи. Каждый раз, когда один человек говорит с другим и речь его является подлинной и полной, имеет место, собственно говоря, перенос – перенос символический:

происходит нечто изменяющее природу обоих присутствующих существ.

Но речь здесь идет о другом переносе, нежели тот, который сперва предстал в анализе не только как проблема, но и как препятствие и который в действительности следует отнести к плану воображаемого. Для того, чтобы уточнить эту функцию, были выдуманы известные вам понятия "повторения прошлых ситуаций", "бессознательного повторения", "действия по реинтеграции истории" – смысл слова "история" противоположен в данном случае моему употреблению, поскольку речь здесь идет о реинтеграции воображаемой (прошлая ситуация безотчетно переживается субъектом в настоящем лишь в той мере, как историческое измерение не признано им, – заметьте, я не сказал, что оно *бессознательно*). Все подобные понятия были введены для того, чтобы определить наблюдаемое, и имеют цену прочных эмпирических констатаций. Тем не менее, они не выявляют основания, функции, значения того, что мы наблюдаем в реальном.

Быть может, вы скажете мне, что нельзя не быть слишком требовательным и не проявлять чрезмерного теоретического аппетита, ожидая обоснования наблюдаемых явлений. Некоторые суровые умы, возможно, желали бы тут учинить нам препону.

Однако, как я полагаю, аналитическая традиция в этом смысле не отличается отсутствием амбиций – и тому должны быть свои причины. По примеру ли Фрейда, оправданно или нет, но каждый аналитик неизменно впадает в теоретические рассуждения о ментальном развитии. Такое метапсихологическое предприятие, по правде говоря, совершенно невозможно, причину чего мы увидим позднее. Но невозможно ни секунды практиковать не мысля метапсихологическими терминами, подобно тому, как г-ну Журдену независимо от его желания приходилось создавать прозу, как только он начинал выражать свои мысли. Этот факт имеет структурирующее значение для нашей деятельности.

В прошлый раз я упомянул статью Фрейда о любви в переносе. Вы знаете, сколь строг творческий путь Фрейда: он никогда не занимался темой, разработка которой не была бы насущной необходимостью, ведь его поприще едва соизмеримо с длиной

человеческой жизни, особенно если учесть, в какой конкретный биологический момент жизни пришел он к своему учению.

Мы не можем не видеть, что одним из самых важных вопросов аналитической теории является вопрос о соотнесении между узами переноса и негативными или позитивными характеристиками любовного отношения. Свидетельством тому является как клинический опыт, так и история теоретических дискуссий по поводу так называемого источника терапевтической эффективности. Вопрос этот был на повестке дня приблизительно с двадцатых годов – сначала Берлинский конгресс, затем Зальцбургский, Мариенбадский. С тех пор использование функции переноса в нашей работе с субъективностью пациента неизменно оставалось в центре внимания. Мы даже выделили нечто под названием не просто невроза переноса – нозологическая этикетка, обозначающая то, чем субъект взволнован, – а вторичного невроза, искусственного невроза, актуализации невроза в переносе, невроза, вплетающего в свою сеть воображаемую личность аналитика.

Такие познания все же не рассеяли туманности вопроса о пружинах, действующих в анализе. Я говорю не о тех путях, которым мы иногда следуем, но о самом источнике терапевтической эффективности.

По крайней мере в аналитической литературе тут царит полная разноголосица мнений. Чтобы узнать историю этих споров, вам достаточно лишь заглянуть в последнюю главу небольшой книги Фенихеля. Мне не часто случается рекомендовать вам чтение Фенихеля, но в качестве исторического свидетельства его книга вполне поучительна. Вы увидите в ней все разнообразие мнений по этому вопросу – Сакса, Радо, Александера – на Зальцбургском конгрессе. Вы станете свидетелями любопытных сцен: некто Радо объявляет направление, в котором он рассчитывает вести теоретическую разработку вопроса о пружинах эффективности анализа. И, как ни странно, черным по белому заявив о своем обещании представить решение поставленных проблем, он никогда этого не сделает.

Не одна лишь собственная неясность вопроса препятствует его теоретическому освещению, и хотя определенные проблески и встречаются иногда у подобных, погруженных в размыш-

ления исследователей, но все же вопрос остается в относительной тени, как бы под воздействием некоторого таинственного сопротивления. В самом деле, возникает ощущение, что порой авторам удается подойти к сути проблемы очень близко, но действие какой-то силы отталкивания препятствует оформлению понятий. Возможно, именно тут завершение теории и даже ее прогресс вызывают ощущение опасности. Вовсе не исключено, что это так. И это, безусловно, наиболее правдоподобная гипотеза.

В ходе дискуссий о природе воображаемой связи, устанавливающейся в переносе, высказываются мнения, чрезвычайно тесно примыкающие к понятию объектного отношения.

Теперь это понятие оказалось на первом плане теоретической разработки анализа. Но вы знаете, сколь зыбка теория и в этой точке.

Возьмите, к примеру, фундаментальную статью Джеймса Стрэчи об истоках терапевтической эффективности (статья опубликована в *International Journal of Psycho-Analysis*). Это один из наиболее проработанных текстов, где весь акцент переносится на роль сверх-Я. Вы увидите, с какими сложностями сталкивается эта концепция и сколько дополнительных гипотез приходится вводить упомянутому Стрэчи, чтобы подкрепить свою теорию. Он полагает, что по отношению к пациенту аналитик выполняет функцию сверх-Я. Однако трудно отстаивать теорию, согласно которой аналитик просто-напросто является носителем функции сверх-Я, поскольку именно эта функция является одной из решающих пружин невроза. Получается замкнутый круг. Чтобы выйти из него, автор вынужден ввести понятие паразитического сверх-Я – ничто не оправдывает данную дополнительную гипотезу, обусловлена она лишь противоречиями построения. Ему приходится зайти слишком далеко. Чтобы подкрепить существование паразитического сверх-Я в анализе, ему необходимо предположить, что между субъектом анализируемого и субъектом аналитика происходит ряд обменов, интроекций и проекций, отсылающих нас к уровню механизмов конституирования 'хороших' и 'плохих' объектов – введенных Мелани Клейн в практику английской школы. И тут очевидной становится опасность бесконечного возвращения к этим объектам.

Вопрос об отношениях между анализируемым и аналитиком можно отнести и к совсем другой плоскости – к плоскости собственного Я и не-Я, то есть к плоскости нарциссической организации субъекта.

Кроме того, вопрос любви в переносе всегда был тесно связан с аналитической разработкой понятия любви.

Речь идет не о любви в качестве Эроса – универсального присутствия власти, связующей субъектов и лежащей в основе всякой реальности, внутри которого движется анализ, – но о любви-страсти в том конкретном виде, как она переживается субъектом, о своего рода психологической катастрофе. Как вы знаете, вопрос состоит в следующем, какова фундаментальная связь такой любви-страсти с аналитическим отношением.

Сказав немного хорошего о книге Фенихеля, нужно сказать о ней и немного плохого. Очень забавно и поразительно видеть своего рода бунт, негодование г-на Фенихеля по поводу крайне прозорливых замечаний обоих авторов о связи любви и переноса. Оба они выделяют нарциссический характер воображаемого любовного отношения и показывают, как и насколько любимый объект смешивается всеми своими качествами, атрибутами, а также воздействием на психический склад с идеалом собственного Я субъекта. Тут видно любопытное сочетание общего синкретизма мысли Фенихеля и умеренности той позиции, которая присуща ему и заставляет его испытывать отвращение, настоящую фобию перед парадоксом, представленным воображаемой любовью. Воображаемая любовь по своей сути причастна иллюзии, и г-н Фенихель испытывает ужас, видя такое обесценивание самой функции любви.

Что же такое любовь, участвующая в качестве воображаемой пружины в анализе, – вот, собственно, в чем состоит вопрос. Ужас Фенихеля дает нам сведения о субъективной структуре обсуждаемой фигуры.

Итак, мы для себя должны наметить структуру, связывающую нарциссическое отношение, функцию любви вообще и перенос, в его практической эффективности. Есть разные способы помочь вам сориентироваться в двусмысленностях, встречающихся, как вы уже заметили, на каждом шагу в аналитической литературе. Я намерен предложить вам новые категории, вносящие

основные различия. Это не внешние, схоластические различия, которые можно проводить до бесконечности, противопоставляя одну область другой, умножая разделения и вводя все новые дополнительные гипотезы (ведь в этом и состоит такой метод продвижения). Такой метод, конечно, позволителен, но я, со своей стороны, стремлюсь к прогрессу в понимании.

Мы должны извлечь пользу из того, что подразумевают уже существующие простые понятия: ведь заниматься бесконечным их разбором – что к тому же уже было проделано в замечательной работе о понятии переноса – не в наших интересах. Я предпочитаю оставить понятию переноса его эмпирическую целостность, заметив при этом, что оно многозначно и одновременно задействовано в различных регистрах: символическом, воображаемом и реальном.

Это не три поля. Даже в животном царстве легко увидеть, как применительно к одним и тем же действиям можно выделить функции воображаемого, символического и реального на том основании, что они не относятся к одному порядку отношений.

Существуют различные способы введения понятий. То, как делаю это я, имеет свои границы, как и любое догматическое изложение. Однако положительной стороной моего способа является его критичность, т. е. то обстоятельство, что задействуется он в тот момент, когда эмпирические усилия исследователей сталкиваются с трудностями использования уже существующей теории. Вот почему так интересен путь комментария.

2

Д-р Леклер начинает чтение и комментарий первых страниц "Введения в нарциссизм". *Лакан прерывает его.*

Лакан: Сказанное Леклером совершенно справедливо. Для Фрейда существует связь между вещью *x*, перешедшей в плоскость либидо, и отводом либидо от внешнего мира, характерным для ранних слабоумий, – что нужно понимать в самом широком смысле. Подобная постановка проблемы порождает серьезные трудности в аналитической теории – в том виде, в каком она сложилась на данный момент.

Чтобы понять смысл сказанного, нужно обратиться к "*Трем очеркам по теории сексуальности*", к которым отсылает нас

понятие первичного аутоэротизма. Что такое аутоэротизм, существование которого предполагает Фрейд? Речь идет о либидо, которое конституирует объекты интереса и распределяется путем отвлечения от действительности, путем удлинений, своего рода ложноножек. Именно начиная с такого либидинального инвестирования субъектом происходит его инстинктивное развитие и вырабатывается его мир в соответствии с его собственной инстинктивной структурой. Эта концепция не представляет трудности, поскольку Фрейд, скорее, оставляет за пределами механизма либидо все, что относится к другому регистру, нежели желание как таковое. Регистр желания является для него понятием, включающим конкретные проявления сексуальности в широком смысле – основным отношением, поддерживаемым животным существом с *Umwelt*, его миром. Итак, вы видите, что это биполярная концепция: с одной стороны, либидинальный субъект, с другой – мир.

И, как прекрасно понимал Фрейд, эта концепция многое потеряла бы при чрезмерном обобщении понятия либидо, поскольку в таком случае оно становится нейтрализованным. Более того, вполне очевидно, что понятие либидо не привнесло бы ничего существенного в разработку явлений невроза, если бы либидо функционировало подобно тому, что г-н Жане назвал функцией реального. Напротив, весь смысл либидо как раз в том, что оно отличается от реальных или реализующих отношений, от всех функций, которые не имеют ничего общего с функцией желания, от всего, что касается отношений собственного Я с внешним миром. Из всех прочих регистров оно относится лишь к сексуальному и не затрагивает, например, области питания, ассимиляции, голода, в той мере в какой он служит сохранению индивида. Если либидо не выделять из совокупности функций сохранения индивида, оно потеряет всякий смысл.

Итак, при шизофрении происходит нечто, полностью нарушающее отношение субъекта с реальным и поглощающее содержание вместе с формой. Тут же возникает вопрос, не заходит ли либидо гораздо дальше того, что было установлено исходя из сексуального регистра как центрального организующего узла. Вот где начинается проблематичность теории либидо.

Теория либидо представляет столько трудностей, что даже ставится под сомнение. Я покажу вам это, когда мы займемся анализом фрейдовского комментария текста, написанного президентом Шребером. Как раз в ходе данного комментария Фрейд обращает внимание на трудности, связанные с проблемой либидинального инвестирования в психозах. И тогда он употребляет довольно двусмысленные понятия, что позволило Юнгу сказать об отказе Фрейда определять природу либидо единственно сексуальностью. Юнг, безусловно, поторопился сделать этот шаг, вводя понятие интроверсии – понятие, употребляемое им *ohne Unterscheidung*, без всякого различия. И Юнг приходит к расплывчатому понятию психического интереса, смешивающему в одном регистре то, что относится к порядку сохранения индивида, и то, что принадлежит порядку сексуальной поляризации индивида в его объектах. Остается лишь некоторое отношение субъекта к себе самому, которое Юнг приписывает порядку либидо и где речь для субъекта идет о самореализации в качестве индивида, наделенного генитальными функциями.

С этих пор аналитическая теория стала открыта нейтрализации либидо, заключавшейся в утверждении, с одной стороны, что речь идет о либидо, а с другой, – что имеется в виду, простонапросто, свойство души, строительницы собственного мира. Эту концепцию отличить от аналитической теории крайне трудно, поскольку идея Фрейда о первичном аутоэротизме, исходя из которого постепенно устанавливаются объекты, почти тождественна в своей структуре теории Юнга.

Вот почему в статье о нарциссизме Фрейд возвращается к необходимости различить эгоистическое либидо и сексуальное. Теперь вы видите одну из причин, побудившую его написать эту статью.

Решение этой проблемы было для него крайне сложным. Проводя различие между двумя либидо, на протяжение всей статьи он постоянно возвращается к идее их равноценности. Как можно провести строгое различие между двумя терминами, если сохранять понятие об их энергетической равноценности, т. е. если полагать, что либидо возвращается эго настолько, насколько оно отводится от объектов? Вот в чем заключается во-

прос. Исходя из этого Фрейд принужден был рассматривать нарциссизм как вторичный процесс. Единицы, сравнимой с собственным Я, не существует от рождения, *nicht von Anfang*, изначально не представлено в индивиде, и *Ich* предстоит установиться в развитии *entwickeln werden*. Аутоэротические же влечения, напротив, присутствуют с самого начала.

Те, кто уже немного свыкся с моими построениями, увидят, как эта идея подтверждает полезность моей концепции стадии зеркала. *Urbild*, представляющий собой единицу, сравнимую с собственным Я, устанавливается в определенный момент истории субъекта, и с этого момента собственное Я начинает обретать свои функции, т. е. собственное Я устанавливается на основе воображаемого отношения. Функция Я, пишет Фрейд, должна обладать новой психической формой (eine neue psychiche... Gestalt). В психическом развитии появляется нечто новое, функцией чего является придание формы нарциссизму. Не говорится ли тут о воображаемых истоках функции собственного Я?

В течение двух-трех последующих встреч я уточню многообразие и границы применения стадии зеркала в теории. И впервые, в свете текста Фрейда, я представлю вам два регистра, подразумеваемые этой стадией. Наконец, если в прошлый раз я говорил вам, что функция воображаемого охватывает все многообразие пережитого субъектом, теперь я покажу вам, что нельзя лишь тем ее и ограничивать – поскольку необходимо проводить различие между психозами и неврозами.

3

Итак, из начала статьи нам важно отметить те трудности, с которыми сталкивается Фрейд, защищая своеобычность психоаналитической динамики от юнговской ликвидации проблематического.

Согласно юнговской схеме психический интерес приходит, уходит, возвращается, окрашивает и так далее. Юнг погружает либидо во всеобъемлющее месиво, лежащее в основании конституирования мира. Здесь обнаруживает себя лишь весьма традиционная мысль, чье отличие от общепринятой психоаналитической теории вполне очевидно. Психический интерес является здесь не чем иным, как попеременным освещением, кото-

рое можно включать и выключать, сообщать реальности и отзывать обратно в зависимости от пульсации психической жизни субъекта. Это красивая метафора, но она, как подчеркивает Фрейд, ничего не разъясняет в практике. Она не позволяет ощутить различий, которые могут существовать между направленным, сублимированным отводом интереса от внешнего мира в жизни отшельника и сходной потерей интереса при шизофрении, результат которой тем не менее структурно отличен, поскольку субъект оказывается как бы в ловушке. Безусловно, исследование Юнга, привлекающее своей живописностью, своим стилем, сопоставлениями между следствиями ментальной или религиозной аскезы и следствиями шизофрении, содержит немало клинических наблюдений. Возможно, его подход имеет то преимущество, что придает исследованию красочность и живость, однако он, конечно, ничего не разъясняет в порядке механизмов – Фрейд не преминул довольно резко об этом заметить.

Для Фрейда же речь идет о том, чтобы понять то структурное различие, которое существует между невротическим уходом от реальности и сходным уходом при психозе. Одно из главных различий устанавливается довольно удивительным способом – удивительным, по крайней мере, для тех, кто с подобными проблемами не сталкивался.

В невротическом непризнавании, отказе, отторжении реальности мы констатируем обращение к фантазии. В этом состоит некоторая *функция*, зависимость, что в словаре Фрейда может относиться лишь к регистру воображаемого. Нам известно, насколько изменяется ценность предметов и людей, окружающих невротика – в их отношении к той функции, которую ничто не мешает нам определить (не выходя за рамки обихода) как воображаемую. В данном случае слово *воображаемое* отсылает нас, во-первых, к связи субъекта с его образующими идентификациями (это исчерпывающий смысл термина “образ” в психоанализе) и, во-вторых, к связи субъекта с реальным, характеризующейся иллюзорностью (это наиболее часто используемая грань функции воображаемого).

Итак (пока нам неважно, прав он или нет), Фрейд подчеркивает, что в психозе ничего подобного не происходит. Психотичес-

кий субъект, утрачивая сознание реальности, не находит ему никакой воображаемой замены. Вот что отличает его от невротика.

На первый взгляд, такая концепция может показаться необычной. Вы видите, что тут необходимо сделать еще один шаг в концептуализации чтобы следовать за мыслью Фрейда. Согласно одной из наиболее общеизвестных концепций, бредящий субъект мечтает и целиком погружен в воображаемое. Итак, в концепции Фрейда необходимо различать функцию воображаемого и функцию ирреального. Иначе невозможно понять, почему доступ к воображаемому для психотика у него заказан. И поскольку Фрейд, как правило, знает, что говорит, мы должны попытаться раскрыть то, что он хочет сказать здесь.

Вот что послужит для нас отправной точкой в последовательном раскрытии связей воображаемого и символического, поскольку это одна из тех точек, где Фрейд с наибольшей энергией выделяет различие структур. Что же в первую очередь инвестируется, когда психотик реконструирует свой мир? – Слова. Вы увидите сколь неожиданный для многих из вас путь тут открывается. Вы не можете не распознать тут категории символического.

Мы займемся развитием того, что смогли наметить в критическом чтении. Мы увидим, что, возможно, структура, свойственная психотику, относится к символическому ирреальному или символическому, несущему на себе печать ирреального. Функция же воображаемого состоит совершенно в другом.

Я надеюсь, вы начинаете видеть разницу между юнговским и фрейдовским восприятием состояний психоза. Для Юнга области символического и воображаемого совершенно смешаны, тогда как уже первые замечания в статье Фрейда позволяют нам говорить о строгом различении этих двух областей.

Сегодня мы лишь наметили проблему. Но, учитывая все ее значение, мы правильно делали, что не спешили. Я лишь сделал введение – как, впрочем, указано и в самом названии статьи, – к некоторым вопросам, никогда ранее не ставившимся. До следующей встречи у вас есть время немного освоиться и поработать с намеченными проблемами.

Что касается следующего раза, то я надеюсь на эффективное сотрудничество с нашим коллегой Леклером в комментирова-

нии этого текста. Я буду рад, если к этой работе присоединится и Гранов, у которого, как кажется, есть особые основания заняться статьей Фрейда о любви в переносе – он мог бы выступить, сделав введение к этой статье. Я хотел бы поручить кому-либо подготовить к следующему разу и третью статью. Речь идет о тексте, относящемся к метапсихологии того же периода и тесно примыкающего к нашей теме – "*Метапсихологические дополнения к теории сновидений*", что на французский язык переведено под заголовком "*Теория сновидений*". Кто мог бы взяться за нее? – я думаю, наш дорогой Перрье, который таким образом получил бы возможность затронуть тему шизофрении.

17 марта 1954 года.

X

ДВА НАРЦИССИЗМА

Понятие влечения.
Воображаемое у животного и у человека.
Сексуальное поведение по-своему склонно обманываться.
Ur-Ich.

"*Введение в нарциссизм*" написано в начале войны 1914 года. Сама мысль о том, что Фрейд предпринял это исследование в такую пору, впечатляет нас. Все, что мы относим к разделу метапсихологии, было разработано между 1914 и 1918 годами, вслед за появлением в 1912 году работы Юнга, переведенной на французский под названием "*Метаморфозы и символы либидо*".

1

Юнг рассматривает душевные болезни под иным углом зрения, нежели Фрейд, поскольку его опыт ориентирован на гамму шизофрений, тогда как Фрейд опирался в основном на неврозы. Работа Юнга 1912 года представляет единую грандиозную концепцию психической энергии, – концепцию, существенно отличающуюся самим своим духом и формой от понятия либидо, выработанного Фрейдом.

Тем не менее, теоретические различия еще столь плохо уловимы, что Фрейд поглощен борьбой с отдельными трудностями, ощутимыми в совокупности его статьи.

Фрейд ставит перед собой задачу показать строгие рамки употребления – сегодня мы сказали бы "*операционального использования*" – понятия либидо, поскольку иначе исчезает суть открытия. На чем же, вообще говоря, основано открытие Фрейда, если не на существенном утверждении, что симптомы невротика выдают извращенную форму сексуального удовлетворения. То есть речь идет о сексуальной функции симптомов, и Фрейд доказал ее применительно к неврозам вполне конкретным об-

разом – рядом равенств, последним из которых является терапевтическое подтверждение. И на таком основании Фрейд создал, как он настаивает, не новую всеобъемлющую философию мира, но вполне определенную теорию, поле которой ограничено, но совершенно ново, оно включает в себя определенное количество человеческих реалий, главным образом, психопатологических, субнормальных феноменов, то есть тех, какими обычная психология не занимается: снов, ляпсусов, осечек, нарушающих так называемые высшие функции.

В этот период перед Фрейдом встает вопрос о структуре психозов. Как можно разработать структуру психозов в рамках общей теории либидо?

Решение Юнга следующее: глубокое изменение реальности, наблюдаемое в психозах, обязано своим существованием превращению либидо, аналогичному тому, какое Фрейд усматривает при неврозах. Но только у психотика, говорит Юнг, происходит интроверсия либидо во внутренний мир субъекта – причем онтологически это понятие остается совершенно неясным. В результате подобной интроверсии реальность для психотика тонет в сумерках. Таким образом, механизм психозов оказывается в одном ряду с механизмом неврозов.

Фрейд же, стремившийся разрабатывать на основе опыта четкие механизмы и всегда заботившийся об эмпирических соответствиях, видит, как в устах Юнга аналитическая теория трансформируется в размытый психический пантеизм, ряд воображаемых сфер, окутывающих одна другую, в результате чего появляется общая классификация содержаний, событий, *Erlebnis* инидивидуальной жизни и, наконец, так называемых архетипов. Клиническая, психиатрическая разработка объектов его исследования не может следовать этому пути. Вот почему теперь уже Фрейд пытается определить соотношение между сексуальными влечениями, которым он придавал такое значение, поскольку, будучи скрытыми, они были выявлены в анализе, – и влечениями собственного Я, которые не выдвигались им ранее на первый план.

Можно ли сказать, что одни являются тенью других? Конституирована ли реальность всеобъемлющей либидинальной проекцией, лежавшей в основании юнговской теории? Или же, на-

против, между влечениями собственного Я и либидинальными влечениями существует отношение противоречия, противопоставления?

С обычной для него честностью, Фрейд уточняет, что источником его настойчивости в проведении такого различия является опыт работы с неврозами, но, в конечном итоге, подобный опыт имеет свои границы. Вот почему столь же отчетливо он заявляет, что можно предположить существование примитивной фазы, предшествующей всему, к чему дает нам доступ аналитическое исследование. Для этой стадии характерно состояние нарциссизма, где невозможно различить два функциональных стремления: *Sexuallibido* и *Ich-Triebe*. На данном этапе они безнадежно смешаны, *beisammen*, совмещены и не являются различимыми – *unterscheidbar* – для нашего слишком грубого анализа. Фрейд объясняет, почему он, тем не менее, стремится сохранить такое различие.

Прежде всего, вышеупомянутое разделение вытекает из анализа неврозов. Кроме того, говорит он, разделение на влечения собственного Я и сексуальные влечения недостаточно ясно на данный момент по той причине, что аналитическая теория апеллирует, в конечном счете, к влечениям. Теория же влечений не лежит в основании нашего построения, а надстроена над ним. Данная теория чрезвычайно абстрактна, и позднее Фрейд назовет ее нашей мифологией. Вот почему, всегда стремясь к конкретике и зная место своих же спекулятивных разработок, он подчеркивает ограниченность значения этой теории. Он сопоставляет понятие влечения с такими понятиями физики, как материя, сила, притяжение, получившими определение лишь в результате разработки в ходе исторического развития науки, до того же, прежде чем стать отточенными прикладными понятиями, обладавшими границами неясными и смутными.

Мы не следуем за Фрейдом, мы идем бок о бок с ним. Присутствие некоторого понятия в творчестве Фрейда вовсе не гарантирует, что употребление его соответствует духу фрейдовского исследования. Мы же, со своей стороны, стараемся прислушиваться к духу, строю, стилю его исследования.

Фрейд подпирает свою теорию либидо свидетельствами современной ему биологии. Теория инстинктов не может пройти

мимо фундаментального разделения двух целей – сохранения индивида и продолжения рода. На заднем плане вы можете различить тут теорию Вейсмана, воспоминания о которой должны у вас сохраниться из курса философии. Данная теория, не будучи окончательно доказанной, предполагает существование бессмертной субстанции половых клеток. Посредством постоянного воспроизведения они составляют единую сексуальную линию преемства. Зачаточная плазма является тогда тем, что увековечивает вид и передается от века от одного индивида к другому. И напротив, соматическая плазма является как бы индивидуальным паразитом и, с точки зрения воспроизведения рода, косвенно служит единственной цели передачи вечной зачаточной плазмы. Фрейд тут же уточняет, что его построение не претендует стать биологической теорией. Какое бы значение не придавал он ссылкам на эту теорию, на которую он рассчитывает условно полагаться до выявления нового порядка, он незамедлительно оставит ее, если факты собственно аналитического исследования будут свидетельствовать о ее неприемлемости.

Точно так же, говорит он, нет оснований топить *Sexualenergie* в еще неосвоенном поле психических фактов. С точки зрения анализа, вовсе не интересно искать общность либидо со всеми психическими проявлениями. Подобно тому, как для утверждения в правах наследства малоинтересно первоначальное родство всех человеческих рас, связывающее, согласно соответствующей гипотезе, всех людей.

Я хотел бы сделать здесь замечание, которое, как может вам показаться, идет вразрез со всем, что стало для нас обычным. Однако вы увидите, что оно поможет нам в нашей задаче внести ясность в дискуссию, развернутую Фрейдом. И, как вы могли заметить по одному лишь комментарию первых страниц статьи, он вовсе не утаивает от нас тупиков и темных мест обсуждаемого вопроса. Фрейд не дает решения, он лишь открывает ряд вопросов, в которые мы должны попытаться вникнуть.

Во время написания статьи не существовало, как говорит Фрейд, готовой, *ready-made*, теории инстинктов. Ее разработка все еще не завершена и в наши дни, но все же несколько продвинулась вперед благодаря работам Лоренца и Тинбергена –

возможно, это оправдает несколько спекулятивные замечания, которые мне придется здесь сделать.

Какие же выводы подразумеваются условным принятием вейсмановской теории бессмертности зародышевой плазмы? Если развивающийся индивид в корне отличен от главной живой субстанции, составляющей зародыш и не погибающей; если индивидуальное существует как своего рода паразит, то в чем же заключается функция индивида в размножении жизни? Ни в чем. С точки зрения рода, индивиды, если можно так сказать, уже мертвы. Индивид ничего из себя не представляет на фоне скрытой в нем бессмертной субстанции, которая единственно вечна и, поистине, субстанционально представляет собой нечто существующее в качестве жизни.

Я уточню свою мысль. К какого рода размножению, с точки зрения психологии, стремится индивид под воздействием пресловутого сексуального инстинкта? – бессмертной субстанции, заключенной в зародышевой плазме, в гениталиях, и представленной у позвоночных сперматозоидами и яичниками. И это все? – безусловно, нет, поскольку в действительности размножается именно индивид. Только он воспроизводится не как индивид, а как тип. Он лишь воспроизводит тип, уже реализованный его предками. В этом смысле он не только смертен, но уже мертв, поскольку у него, собственно, нет будущего. Индивид является не той или иной лошадью, но лишь носителем, воплощением того, что есть лошадь *вообще*. Если понятие рода обосновано, если существует естественная история, то лишь потому, что есть не только лошади, но лошадь *вообще*.

Вот к чему ведет нас теория инстинктов. Что же является носителем сексуального инстинкта в психологической плоскости?

Каковы конкретные пружины, приводящие в действие огромный механизм сексуальности? Что является его пусковым механизмом, как выразился Тинберген вслед за Лоренцем? Это не реальность сексуального партнера, не частность индивида, но нечто существенно связанное с тем, что я назвал типом, – это образ.

Как доказано этологами, в функционировании механизмов спаривания преобладающее значение имеет образ, проявляющийся в форме преходящего фенотипа в изменениях внешнего

вида. Появление его служит сигналом, сигналом конструированным, т. е. *Gestalt*'ом, и дает толчок репродуктивному поведению. Таким образом, механическое подключение сексуального инстинкта главным образом кристаллизовано на отношении образов, на отношении – вот он, долгожданный термин – воображаемом.

Итак, мы наметили рамки, где нам предстоит сочленить *Libido-Triebe* и *Ich-Triebe.*

Либидинальное влечение сфокусировано функцией воображаемого.

Это вовсе не значит, как можно было бы подумать исходя из идеалистического и морализаторского переложения аналитической теории, что в воображаемом субъект прогрессирует к идеальному состоянию генитальности, являющему собой окончательную инстанцию, устанавливающую реальное и его санкционирующую. Теперь нам предстоит уточнить отношения либидо с воображаемым и реальным и решить проблему той реальной функции, которую играет эго в психическом строении.

О. Маннони: – *Могу ли я попросить слово? Вот уже некоторое время мне не дает покоя одна проблема. На мой взгляд, она одновременно усложняет и упрощает вещи. А именно, инвестирование объектов либидо является по сути натуралистической метафорой, поскольку либидо инвестирует лишь образы объектов. Тогда как инвестирование собственного Я может быть интрапсихическим феноменом, где инвестируется онтологическая реальность собственного Я. Если же либидо становится объектным, оно может инвестировать только нечто симметричное образу собственного Я. И следовательно, мы имеем два нарциссизма в зависимости от того, инвестирует ли либидо интрапсихически онтологическое Я, или же объектное либидо инвестирует нечто, что, возможно, является идеалом собственного Я и, во всяком случае, – образом собственного Я. Итак, возникает вполне обоснованное различие между первичным и вторичным нарциссизмом.*

Лакан: – Как вы понимаете, шаг за шагом мы продвигаемся в некотором направлении. Мы движемся вовсе не наугад, хотя я и готов принять сделанные попутно открытия. Я рад видеть, что нашим коллегой Маннони был сделан элегантный *jump* к теме

субъекта – время от времени такие скачки необходимы – однако прежде я хотел бы вернуться на шаг назад.

Я намерен вернуться к основополагающему опыту, сообщенному нам современной разработкой теории инстинктов применительно к циклу сексуального поведения. Этот опыт показывает нам, что субъект здесь по сути попадается на обманку.

Так, самцу колюшки достаточно поддаться воздействию расцветки на брюшке или спинке сородича, чтобы завязался танец совокупления с самкой. Но можно самим сделать цветную фигурку, даже весьма приблизительную, чтобы произвести на самку ровно тот же эффект, с условием, что на фигурке будут присутствовать определенные метки – *Merkzeichen*. Сексуальное поведение особым образом поддается на обман. Этот вывод важен нам для разработки структуры перверсий и неврозов.

2

Итак, я хотел бы внести дополнение к схеме, данной мною в ходе небольшого обзора топики воображаемого.

Как я уже указывал, эта модель соответствует линии размышлений Фрейда. Согласно его многочисленным пояснениям, в частности в "*Traumdeutung*" и в "*Abriss*", основные психические инстанции следует по большей части рассматривать подобно тому, что происходит в фотоаппарате, т. е. как образы, виртуальные или реальные, производимые в результате его функционирования. Органический аппарат представляет собой механизм аппарата, а то, что мы воспринимаем, является образами. Их функции не однородны, поскольку образ реальный и образ виртуальный не одно и то же. Инстанции, разработанные Фрейдом, не следует считать субстанциальными, эпифеноменальными по отношению к изменению самого аппарата. Таким образом, психические инстанции должны быть интерпретированы посредством оптической схемы. Эта мысль много раз встречается у Фрейда, но так и не получила у него материального воплощения.

Слева вы видите вогнутое зеркало, благодаря которому мы получаем феномен перевернутого букета. В данном случае, я заменил его перевернутой вазой, поскольку это более удобно. Ваза находится внутри ящика, а букет – на нем.

В результате игры отражений лучей ваза будет воспроизведена в реальном, а не виртуальном образе, на который может быть саккомодирован глаз. Если глаз саккомодирован на уровень выставленных нами цветов, он увидит реальное изображение вазы, вместившей в себя букет и придавшей ему вид и единство – зеркальное подобие единства тела.

Для того, чтобы образ был достаточно устойчивым, нужно, чтобы это в самом деле было изображением. Каково определение изображения в оптике? – каждой точке объекта должна соответствовать точка изображения, и все лучи, исходящие из одной точки, должны пересечься в некоторой единой точке. Оптический аппарат определяется не иначе, как однозначным или взаимно-однозначным, как говорят в аксиоматике, схождением лучей.

Если вогнутое зеркало будет находиться на моем месте, а вся обманная конструкция – перед столом, то изображение не будет достаточно четким чтобы создать иллюзию реальности, реальную иллюзию. Необходимо, чтобы вы размещались под определенным углом. И конечно, в зависимости от различных точек зрения глаза, мы могли бы различить определенное количество случаев, которые, возможно, позволили бы нам понять различия позиций субъектов по отношению к реальности.

Как я уже говорил, субъект, безусловно, не является глазом. Однако данная модель применима, поскольку речь идет о воображаемом, где значение глаза велико.

Здесь прозвучал вопрос о двух нарциссизмах. Вы прекрасно понимаете, что речь идет как раз об этом – о связи между конституированием реальности и отношением к форме тела, названным Маннони, более или менее удачно, *онтологическим*.

Обратимся прежде к вогнутому зеркалу, которое, как я говорил, может нам демонстрировать разнообразные вещи, относящиеся к организму, и в частности кору головного мозга. Но не будем спешить с однозначными соответствиями, поскольку, как вы увидите дальше, речь здесь не идет просто-напросто о разработке теории человечка-в-человеке. Если бы я вознамерился вернуться к этой теории, что бы заставляло меня постоянно ее критиковать? Если же я уступаю ей в чем-то, значит, на то есть причины.

Теперь разместим наш глаз (я говорил, что это – глаз гипотетический) где-то между вогнутым зеркалом и объектом.

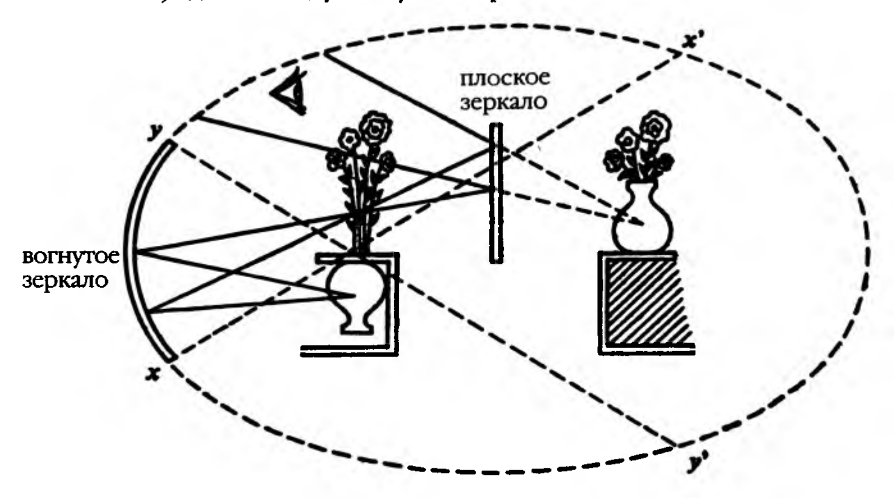


Схема с двумя зеркалами

Чтобы глаз смог увидеть иллюзорный образ опрокинутой вазы точно, т. е. чтобы он увидел его в оптимальных условиях, столь же хороших, как если бы он находился во глубине комнаты – необходимо и достаточно одно единственное условие: чтобы посреди комнаты располагалось плоское зеркало.

Другими словами, если посреди комнаты поставить зеркало, то я, расположившись возле вогнутого зеркала, увижу изображение вазы столь же хорошо, хотя и не непосредственно, как если бы я находился во глубине комнаты. Что же я увижу в зеркале? Во первых, свою же собственную фигуру там, где ее на самом деле нет. Во вторых, в точке, симметричной той где находится реальное изображение, появится данное реальное изображение в виде виртуального. Это не так уж сложно понять. Вернувшись домой, встаньте перед зеркалом, вытяните перед собой руку...

Моя схема является лишь упрощенной моделью того, что в течение нескольких лет я пытаюсь объяснить вам при помощи стадии зеркала.

Только что Маннони говорил о двух нарциссизмах. В самом деле, сперва существует один нарциссизм, относящийся к те-

лесному образу. Такой образ является идентичным для всей совокупности механизмов субъекта и сообщает его форму *Umwelt*'у субъекта, в той мере как он является человеком, а не лошадью. Данный образ создает единство субъекта, и мы наблюдаем, как он проецирует себя тысячью способов, достигая того, что можно назвать воображаемым источником символизма и что связывает этот символизм с ощущением, *Selbstgefühl*, человека, *Mensch*, своего собственного тела.

Этот первичный нарциссизм можно отнести к уровню реального изображения в моей схеме, поскольку данное изображение позволяет организовать совокупность реальности в некоторых предопределенных рамках.

Безусловно, для человека и для животного, адаптированного к единообразному *Umwelt*'у, его значение совершенно различно. У животного существует ряд заданных соответствий между его воображаемой структурой и тем, что важно для него в *Umwelt*'е, т. е. необходимое для увековечивания индивидов, которые, в свою очередь, служат лишь функциями видового увековечивания рода. У человека же, напротив, отражение в зеркале обнаруживает изначально ему присущую ноэтическую способность и вводит второй нарциссизм. Основополагающим *pattern*'ом этого последнего сразу же становится отношение к другому.

Другой пленяет человека благодаря предвосхищающему характеру того единого образа, который воспринимается им в зеркальном отражении или в самой реальности ему подобного.

В различные периоды человеческой жизни другой, *alter ego*, в большей или меньшей степени соединяется с *Ich-Ideal*, с идеалом собственного Я, упоминающимся на всем протяжении статьи Фрейда. Нарциссическая идентификация – говорить просто об идентификации, не уточняя, о какой именно идентификации идет речь, здесь нельзя – т. е. идентификация вторичного нарциссизма является идентификацией с другим, в норме позволяющей человеку точно определить свое воображаемое и либидинальное отношение к миру вообще. Вот что позволет ему *увидеть* на своем месте собственное существо и структурировать его в зависимости от такого места и собственного мира. Маннони только что назвал это существо *онтологическим*. Я

уточнил бы – "*существо либидинальное*". Субъект видит собственное существо посредством отражения в отношении к другому, т. е. в отношении к *Ich-Ideal*.

Как видите, функции собственного Я различны – с одной стороны, их роль для человека, как и для любого живого существа, фундаментальна в структурировании реальности, с другой же – они необходимым образом проходят у человека через то фундаментальное отчуждение, которое конституировано отраженным образом себя самого, являющимся *Ur-Ich*, праформой как *Ich-Ideal*, так и соотношения с другим.

Достаточно ли вам это ясно? Я уже дал вам первый элемент схемы, а сегодня сообщаю второй – отраженное отношение к другому. Впоследствии вы поймете, зачем понадобилась моя схема. Вы прекрасно понимаете, что создана она не ради развлечения забавными построениями. Она будет крайне полезна нам, поскольку позволит сориентироваться почти во всех конкретных клинических вопросах, возникающих в связи с функцией воображаемого и в частности, с либидинальным инвестированием, работая с которыми многие совершенно перестают понимать, с чем они, собственно, имеют дело.

Ответ на замечание доктора Гранова о применении оптической схемы к теории состояния влюбленности.

Строгое соответствие объекта идеалу собственного Я в любовных отношениях является одним из фундаментальных и наиболее часто встречающихся понятий у Фрейда. Любимый объект благодаря плененности субъекта становится в любовной привязанности строго равноценным идеалу собственного Я. Вот почему во внушении, в гипнозе, имеет место столь важная экономическая функция, как состояние зависимости, настоящее извращение реальности зачарованностью предметом любви, его переоценкой. Вам хорошо известна подобная психология любовной жизни, детально разработанная Фрейдом. Тема эта настолько обширна, что вряд ли мы сегодня сможем охватить ее. Но особенно многоцветна она в том, что касается так называемого выбора объекта.

Итак, очевидным становится противоречие между данным представлением о любви и некоторыми мифическими концеп-

XI

Я-ИДЕАЛ И ИДЕАЛЬНОЕ Я

Построчное чтение Фрейда.
Обманки сексуальности.
Символическое отношение определяетпозицию субъекта в воображаемом.

Леклер, проработавший для нас сложный текст Фрейда "*Введение в нарциссизм*" продолжает сегодня свои размышления. Вернитесь ко второй части и постарайтесь побольше цитировать.

1

Д-р Леклер: – *Данный текст невозможно изложить вкратце. Его придется цитировать почти полностью. Первая часть посвящена проведению фундаментального различия между двумя типами либидо при помощи тех доводов, на которых вы построили ваши размышления о зародышевой плазме. Во второй части Фрейд говорит, что именно изучение ранних слабоумий, названных им группой парафренических заболеваний, дает наилучший доступ к изучению психологии собственного Я. Однако он не следует этому пути, а предлагает нам много других возможностей поразмыслить о психологии собственного Я. Отправной точкой его изучения является влияние органических заболеваний на распределение либидо, что могло бы послужить исключительным введением к психосоматической медицине. Он ссылается на беседу с Ференци по этому вопросу и исходит из констатации того факта, что в ходе болезни, страданий, больной сосредотачивает свое либидо на собственном Я, отнимая его у объектов, с тем чтобы по выздоровлении вернуть его им. Он находит, что банальность данного замечания не дает повода отказываться от его рассмотрения. В этой фазе отвлечения либидо от объектов, либидо и интересы собственного Я снова оказываются смешанными, испытывают*

одну и ту же участь, и их снова невозможно отделить друг от друга.

Лакан: – Вам знакомы произведения Вильгельма Буша? Это юморист, у которого всем вам есть чему поучиться. У него есть незабываемое творение, которое называется "*Balduin Bahlamm*", поэт в путах. Зубная боль заставляет его оставить все идеалистические и платонические мечтания, равно как и любовное вдохновение. Он забывает о биржевых курсах, о налогах, таблицу умножения и т. д. Все обычные формы бытия оказываются вдруг лишенными привлекательности, сведенными на нет. И теперь душа его пребывает исключительно в тесной ямке коренного зуба. Весь символический мир биржевых курсов и таблицы умножения оказался заложником зубной боли.

Д-р Леклер: – *Потом Фрейд обращается к другому моменту – состоянию сна, в котором так же происходит нарциссический возврат либидо к самому себе. Затем он переходит к ипохондрии в ее сходстве и отличии от органического заболевания. Фрейд высказывает мысль, что все различие между двумя данными состояниями, возможно, не играющее никакой роли, заключается в наличии органического повреждения. Изучение ипохондрии и органических заболеваний позволяет ему, в частности, уточнить, что у ипохондрика, безусловно, так же происходят органические изменения вазо-моторного порядка, нарушения кровообращения, и он высказывает убеждение в сходстве сексуального возбуждения с возбуждением какой-либо зоны тела. Он вводит понятие эрогенности, эрогенных зон, которыми могут быть, по его словам, заменены гениталии и которые могут вести себя подобно последним, т. е. стать местом повышения или понижения эрогенности. Фрейд говорит, что параллельно с каждым таким изменением эрогенности в органах могла бы изменяться концентрация либидо на собственном Я. И здесь мы вновь возвращаемся к проблеме психосоматики. Во всяком случае, вследствие изучения свойства эрогенности и возможности любой части тела стать эрогенной зоной Фрейд приходит к предположению, что ипохондрия может быть отнесена к классу неврозов, зависящих от Я-либидо, тогда как другие актуальные неврозы зависят от объект-либидо. У меня сложилось впечатление, что этот параграф*

второй части менее важен, чем следующий смысловой кусок, в котором определяются два типа выбора объекта.

Лакан: – Наиболее важно замечание Фрейда, что почти нет разницы, производится ли переработка либидо – вы знаете, как трудно перевести *Verarbeitung*: французское *élaboration* имеет другой смысл – на реальных объектах или на воображаемых. Различия появляются лишь позднее, когда происходит ориентация либидо на ирреальные объекты. Это приводит к *Stauung*, затору либидо, что знакомит нас с воображаемым характером эго, поскольку речь идет о его либидо.

О. Маннони: – *Данное немецкое слово должно означать построение запруды. Оно, как кажется, имеет динамический смысл и означает одновременно повышение уровня и, как следствие, увеличение энергии либидо, что в английском хорошо передает слово* "damming".

Лакан: – Даже "*damming up*". По ходу изложения Фрейд цитирует четверостишие Гейне из "*Schopfungslieder*", обычно объединяемых вместе с *Lieder*. Это очень любопытный цикл из семи поэм, сквозь иронию и юмор которых проявляется немало вещей, касающихся психологии *Bildung*. Фрейд задается вопросом, что заставляет человека выйти из нарциссизма. Почему человек не довольствуется им? В этом ключевом моменте своего научного доказательства Фрейд приводит стихотворение Гейне. Слово здесь берет бог, он говорит: "*Болезнь, вероятно, была последней пружиной всего стремления к творчеству: созидая мог я выздороветь, созидая стал я здоров*".

Д-р Леклер: – *То есть речь идет о внутренней работе, для которой объекты реальные равноценны объектам воображаемым...*

Лакан: – Фрейд не говорит, что они равноценны. Он говорит, что на данном этапе образования внешнего мира нет разницы, реальны они или воображаемы. Различие выявляется лишь в тот момент, когда вступают в силу последствия запруды.

Д-р Леклер: – *Итак, мы подошли ко второй подглавке второй части, где Фрейд говорит, что другой важный для изучения нарциссизма момент состоит в различии модальностей любовной жизни мужчины и женщины. Он приходит к различию двух типов выбора: нарциссического и опорного – и изучает их*

происхождение. Дальше следует фраза: "Человек имеет первоначально два сексуальных объекта: самого себя и воспитывающую его женщину". *Я думаю, это может послужить нам отправной точкой.*

Лакан: – *Самого себя*, т. е. свой образ – это совершенно ясно.

Д-р Леклер: – *Немного раньше он поясняет происхождение и саму форму такого выбора. Он констатирует, что первые аутоэротические сексуальные удовлетворения служат функции самосохранения. Затем, он замечает, что сексуальные влечения сначала присоединяются к удовлетворению влечений Я и лишь впоследствии приобретают самостоятельность. Так, ребенок любит сначала объект, удовлетворяющий его влечения Я, то есть лицо, ухаживающее за ребенком. И наконец, Фрейд определяет нарциссический тип выбора объекта, особенно отчетливо наблюдаемый, по его словам, у лиц с нарушенным развитием либидо.*

Лакан: – То есть у невротиков.

Д-р Леклер: – *Два данных фундаментальных типа соответствуют – как он в точности заявляет – мужскому и женскому фундаментальным типам.*

Лакан: – Два типа – нарциссический и *Anlehnung*.

Д-р Леклер: – Anlehnung *имеет значение опоры.*

Лакан: – Понятие *Anlehnung* связано с понятием зависимости, получившем развитие позднее. Однако данное понятие обширнее и богаче. Фрейд составляет список различных типов любовных фиксаций, исключающий какую-либо возможность ориентирования на так называемое зрелое отношение, – очередной миф психоанализа. Сначала очерчивается поле любовной фиксации, *Verliebtheit*, нарциссического типа. Такой тип выбора определяется тем, что любишь, во-первых, то, что сам из себя представляешь, т. е. в скобках уточняет Фрейд, себя самого; во-вторых, то чем прежде был; в-третьих, то, чем хотел бы быть; в-четвертых, лицо, бывшее частью своего собственного Я. Это *Narzissmustypus*.

Anlehnungstypus в неменьшей степени относится к воображаемому, поскольку он так же основан на обращенной идентификации. Субъект ориентируется тогда на первичную ситуацию.

Он любит либо вскармливающую женщину, либо защищающего мужчину.

Д-р Леклер: – *Тут Фрейд выдвигает некоторое количество соображений, служащих косвенными доказательствами его концепции первичного нарциссизма ребенка и того, что главным образом он определяется – любопытно отметить – тем, как родители воспринимают своего ребенка.*

Лакан: – Речь идет о соблазне, исходящем со стороны нарциссизма. Фрейд указывает, что в восприятии представленного нарциссическим типом существа, обладающего чертами такого замкнутого в себе самом мира, довольствующегося самим собой и своей полнотой, есть нечто завораживающее и приносящее чувство удовлетворения для любого человека. Тем же самым, говорит Фрейд, прельщает нас и красота животного.

Д-р Леклер: – *Фрейд говорит: "Его Величество Ребенок". Ребенок – это то, что делают из него родители по мере проецирования на него идеала. Фрейд уточняет, что он оставляет в стороне нарушения первичного нарциссизма ребенка, хотя это и важный вопрос, поскольку он связан с проблемой комплекса кастрации. Однако в свете данной темы он указывает истинное* место "мужского протеста" *Адлера и таким образом более полно определяет его.*

Лакан: – ...место его, однако, не столь уж незначительно.

Д-р Леклер: – *...да, его место очень важно, но Фрейд связывает его с нарушениями первоначального нарциссизма ребенка. Следующий важный вопрос: что становится с Я-либидо у нормального взрослого? Должны ли мы полагать, что все оно целиком уходит на привязанность к объекту? Фрейд отвергает такую гипотезу и напоминает, что существует вытеснение с его, в общем, нормализующей функцией.* "Вытеснение, – *говорит он в самом важном моменте своего доказательства*, – исходит от Я, точнее сказать, от собственного Я с его этическими и культурными требованиями. Те же впечатления, переживания, импульсы, желания, которые один человек у себя допускает или, по крайней мере, сознательно перерабатывает, отвергаются другим с полным негодованием или подавляются даже до того, как они достигают сознания". *Таким образом, в поведении индивидов существует различие. Фрейд старается сформулировать*

данное различие в следующих выражениях: “Мы можем сказать – один создал идеал, с которым он сравнивает свое действительное Я, между тем как у другого такой идеал отсутствует. Образование идеала является, таким образом, условием вытеснения со стороны Я. Этому идеальному Я и достается теперь та любовь к себе, которой в детстве пользовалось истинное Я”. *И он продолжает...*

Лакан: – Это не истинное Я, а реальное Я – *das wirklich Ich.*

Д-р Леклер: – *Он продолжает:* “ Нарциссизм оказывается перенесенным на это новое идеальное Я, которое, подобно инфантильному, обладает всеми ценными совершенствами. Человек оказался в данном случае, как и во всех других случаях, в области либидо, не в состоянии отказаться от некогда испытанного удовлетворения”. *Фрейд впервые употребляет термин “идеальное Я” в предложении:* “Этому идеальному Я досталась та любовь к себе, которой в детстве пользовалось реальное Я”. *Но затем он говорит:* “Он не хочет поступиться нарциссическим совершенством своего детства, и [...] старается возместить его в новой форме Я-идеала”. *Итак, здесь фигурируют два термина – идеальное Я и Я-идеал.*

Лакан: – Принимая во внимание строгость рассуждений Фрейда, сосуществование в одном абзаце двух терминов, на которое обратил внимание Леклер, является одной из загадок этого текста.

Д-р Леклер: – *Интересно отметить, что слово “Я” заменяется словом “форма”.*

Лакан: – Прекрасное замечание. И Фрейд употребляет здесь термин *Ich-Ideal,* являющийся симметричным и противоположным *Ideal-Ich.* Это знак того, что Фрейд обозначает тут две разные функции. Что это значит? Мы постараемся разобраться в них.

Д-р Леклер: – *Как я заметил, при замещении термина* “идеальное Я” *термином* “Я-идеал” *Фрейд предваряет выражение* “Я-идеал” *словами* “новая форма”.

Лакан: – Безусловно.

Д-р Леклер: – *Новая форма его Я-идеала – это то, что он выставляет как собственный идеал.*

Лакан: – Следующий параграф разъясняет эту трудность. Здесь Фрейд, в первый и последний раз в своем творчестве, расставляет точки над *i* в вопросе о различии между сублимацией и идеализацией.

Д-р Леклер: – *Итак, Фрейд говорит о существовании идеального Я, которое затем он называет Я-идеалом или формой Я-идеала. Он говорит, что отсюда само собой напрашивается исследование взаимоотношений между таким формированием идеала и сублимацией. Сублимация – это процесс, происходящий с объектным либидо. Идеализация же, напротив, касается объекта, который, не изменяясь в своей сущности, становится психически более значимым и получает более высокую оценку. Идеализация одинаково возможна как в области Я-либидо, так и объектного либидо.*

Лакан: – То есть Фрейд опять же размещает оба либидо в одной плоскости.

Д-р Леклер: – *Идеализация Я может существовать и при отсутствии сублимации. Образование Я-идеала увеличивает требовательность Я и максимально благоприятствует вытеснению.*

Лакан: – Одно относится к плану воображаемого, другое – к плану символического, поскольку требование *Ich-Ideal* занимает место в ряду требований закона.

Д-р Леклер: – *И тогда сублимация предлагает окольный путь для удовлетворения такого требования без участия вытеснения.*

Лакан: – В том случае, если сублимация удается.

Д-р Леклер: – *Затем Фрейд заканчивает этот небольшой параграф, где речь шла об отношении Я-идеала к сублимации.* "Ничего не было бы удивительного, – *говорит он*, – если бы нам удалось найти особую психическую инстанцию, имеющую своим назначением обеспечить нарциссическое удовлетворение, исходящее из идеала Я, и с этой целью беспрерывно наблюдающую за действительным Я и контролирующую его". *Такая гипотеза о существовании специальной психической инстанции, выполняющей функцию наблюдателя, приведет нас впоследствии к сверх-Я. И Фрейд подкрепляет свое доказательство примером психоза, где такая инстанция вполне очевидна в так*

называемом "бреде влияний". До этого он замечает, что если подобная инстанция существует, то для нас исключается возможность открыть ее: мы можем лишь предположить ее как таковую. Мне представляется крайне важным, что, впервые вводя функцию сверх-Я, Фрейд говорит о несуществовании такой функции – ее нельзя открыть, ее можно лишь предположить. То, что мы называем своей совестью, добавляет он, носит все признаки такой инстанции. Признанием такой инстанции разъясняется и симптоматология параноидных заболеваний. Больные жалуются тогда, что все их мысли известны, за всеми их действиями наблюдают и следят, о бдительности этой инстанции их информируют голоса. "Эта жалоба оправдана, – *замечает Фрейд.* – Подобная сила, которая следит за всеми нашими намерениями, узнает их и критикует, действительно существует даже у всех нас в нормальной жизни". *Затем...*

Лакан: – Смысл не совсем таков: Фрейд говорит, что если подобная инстанция существует, невозможно, чтобы она была чем-то, что мы еще не открыли. И он отождествляет ее с цензурой, как показывают выбранные им примеры. Он вновь обнаруживает данную инстанцию в бреде влияний, где она соединяется с тем, что управляет действиями субъекта. Затем он узнает ее признаки в том, что Зильбер описал под названием "функционального феномена". Согласно Зильберу, в состоянии между сном и бодрствованием в образовании картин участвует внутреннее восприятие субъектом его собственных состояний, его мыслительных механизмов в их функциях. Сновидение представляет такое восприятие в символическом виде (в данном случае "*символическое*" представление означает лишь превращение в *образы*). При этом можно наблюдать спонтанную форму раздвоения субъекта. Отношение Фрейда к данной концепции Зильбера всегда оставалось двойственным: он признавал важность такого феномена, но считал его, тем не менее, вторичным по отношению к проявлению в сновидении желания. Возможно, говорит он, такое отношение обязано особенностям его собственной натуры, обусловившей то, что данный феномен в его собственных сновидениях не играет той роли, какую может играть у других людей. Эта постоянно сопровождающая сон бдительность собственного Я, на которую обращает внимание

Фрейд, служит хранителем сновидения, располагающимся на полях его и очень часто готового, со своей стороны, его прокомментировать. Такое остаточное участие собственного Я является, как и все инстанции, которым Фрейд придает здесь статус цензуры, говорящей инстанцией, т. е. символической.

Д-р Леклер: – *Дальше следует своего рода попытка синтеза, где рассматривается вопрос о самочувствии нормального человека и невротика. Самочувствие имеет три составляющих – первичное нарциссическое удовлетворение; признаки успеха, т. е. удовлетворение желания всемогущества, и вознаграждение, полученное от объектов любви. Вот три источника самочувствия. Я полагаю, нет необходимости проводить по этому вопросу детальное обсуждение. Я предпочел бы остановиться на первом дополнительном замечании. Оно мне кажется крайне важным* – “Развитие Я состоит в отходе от первичного нарциссизма и вызывает интенсивное стремление опять вернуться к нему. Отход этот происходит посредством перемещения на навязанный извне идеал Я, а удовлетворение придается осуществлением этого идеала”. *Я оказывается посредством некоторого отхода в промежуточной позиции – позиции идеала, и затем возвращается в свое первичное положение. Я думаю, что такое движение – это типичное развитие.*

О. Маннони: – *Структурирование.*

Лакан: – Да, структурирование, это вполне справедливое замечание.

Д-р Леклер: – *Такое перемещение либидо на идеал следовало бы уточнить, поскольку тут возможны две вещи – либо либидо опять перемещается на образ, на образ собственного Я, то есть некую форму собственного Я, называемую идеалом, поскольку она не похожа на ту, что существовала раньше или существует в данный момент, – или же идеалом собственного Я называют нечто по ту сторону конкретной формы собственного Я, являющееся, собственно, идеалом и приближающееся к идее, к форме как таковой.*

Лакан: – Согласен с вами.

Д-р Леклер: – *Именно в этом смысле обнаруживается все богатство фразы, – но так же и определенная двусмысленность, поскольку, говоря о структурировании, Я-идеал рассматрива-*

ют как идеальную форму собственного Я. Однако в тексте нет соответствующих уточнений.

Ипполит: – *Не могли бы вы перечитать фразу Фрейда?*

Д-р Леклер: – "Развитие Я состоит в отходе от первичного нарциссизма и вызывает интенсивное стремление опять вернуться к нему".

Ипполит: – *Отход это* Entfernung?

Лакан: – Да, это именно *Entfernung*.

Ипполит: – *Однако следует ли это понимать как порождение Я-идеала?*

Д-р Леклер: – *Нет. О Я-идеале говорится раньше. Отход происходит путем перемещения либидо на идеал собственного Я, навязанный извне. А удовлетворение вытекает из осуществления этого идеала. Очевидно, в той мере как происходит осуществление такого идеала...*

Ипполит: – *...идеала неосуществимого, поскольку таковы, в конечном счете, истоки трансценденции, разрушительной и манящей.*

Д-р Леклер: – *Тем не менее это прямо не сказано. В первый раз Фрейд говорит об идеальном Я чтобы сказать, что именно к такому идеальному Я направлена теперь любовь к самому себе.*

О. Маннони: – *На мой взгляд, зачастую складывается впечатление. что разговор происходит на разных языках. Как мне кажется, следовало бы разделять развитие личности и структурирование собственного Я. Это позволило бы нам понять самих себя, так как именно собственное Я создает структуру, но в существе, которое переживает развитие.*

Лакан: – Да, речь идет о структурировании. Как раз тут-то и разворачивается весь аналитический опыт – на стыке воображаемого и символического. Только что Леклером был поставлен вопрос о функции образа и функции так называемой идеи. Идея, как мы знаем, никогда не пребывает в одиночестве – она существет лишь вкупе с другими идеями, как объяснил нам уже Платон.

Чтобы внести немного ясности, обратимся к той схеме, которую я демонстрирую вам вот уже в течение нескольких встреч.

2

Давайте будем отталкиваться от животного, животного идеального, т. е. удавшегося – неудавшееся животное оказалось у нас в ловушке. Такое идеальное животное дарует нам зрелище полноты, осуществленности, поскольку оно предполагает совершенное слияние, даже тождество *Innenwelt* и *Umwelt*. Вот почему столь прельщает нас эта живая форма, чья внешность являет гармонию.

О крайней важности образа свидетельствует нам здесь развитие инстинктивного функционирования. Что обуславливает взаимодополнительное поведение колюшки-самца и колюшки-самки? – *Gestalten*.

Для простоты будем рассматривать такое функционирование лишь в некий данный момент. Животное, самка или самец, находится как бы в плену у *Gestalt*'а. Субъект буквально идентифицирован со стимулом, вызывающим инстинктивный двигательный акт. Самец начинает зигзагообразный танец исходя из отношения, которое устанавливается между ним самим и образом, дающим пусковой сигнал циклу его сексуального поведения. Точно так же и самку захватывает соответствующий танец. Здесь имеет место не только внешнее проявление чего-то, что всегда бывает отмечено чертами танца, гравитации двух тел. До сих пор эта проблема остается одной из наиболее трудных в физике, но в природе она получает гармоничное воплощение в отношении спаривания. В такой момент субъект оказывается полностью идентичен образу, дающему сигнал к запуску некоторого двигательного механизма. Подобные действия производит он сам и посылает партнеру команду, заставляющую того продолжить другую часть танца.

Природное проявление такого замкнутого мира двоих рисует нам образ соединения объектного либидо и нарциссического. Действительно, привязанность каждого объекта к другому происходит вследствие нарциссической фиксации на таком образе, поскольку именно этот образ, и единственно он, был ожидаем. Вот где основа того факта, что для живых существ лишь партнер той же породы – а этому факту никогда не предавалось достаточного значения – может вызвать тот особый род поведения, который назван сексуальным. Это верно за редким

исключением, которое следует отнести к разряду ошибок в природных проявлениях.

Итак, в животном мире господство над циклом сексуального поведения отдано воображаемому. С другой стороны, именно с сексуальным поведением связана наибольшая возможность замещений даже у животных. Мы уже пользовались этим в экспериментах, предоставляя животному обманку, ложное изображение, партнера-самца, который был лишь видимостью, наделенной важнейшими чертами вышеупомянутого. Во время проявлений фенотипа, который продуцируется у различных видов животных в тот биологический момент, который вызывает сексуальные поведение, достаточно поместить в поле зрения животного такую обманку, чтобы дать начало сексуальному поведению. Возможность замещений, воображаемое, иллюзорное измерение является главным во всем, что относится к порядку сексуального поведения.

Происходит ли у человека нечто подобное? Такой образ мог бы быть тем *Ideal-Ich*, о котором мы только что говорили. Почему бы и нет? И тем не менее, сложно назвать эту обманку *Ideal-Ich*. Куда же тогда его следует поместить? Тут-то и приходит на помощь моя схема.

Я уже объяснял вам физический феномен реального изображения, которое может дать сферическое зеркало. Такое изображение мы видим там, где оно в действительности и существует; оно вписывается в мир реальных объектов; на него наравне с реальными объектами аккомодирует глаз, и оно даже сообщает реальным объектам воображаемый распорядок, т. е. включает, исключает, размещает, дополняет их.

Тот же самый воображаемый феномен я описывал вам у животных. Животное совмещает реальный объект с заложенным в нем самом образом. Более того, я сказал бы, как указано и в тексте Фрейда, что совпадение образа с реальным объектом упрочивает этот образ, дает ему воплощение. В этот момент через посредничество образа происходит запуск деятельности, направляющей субъекта к своему объекту.

Действует ли такой механизм у человека?

Как нам известно, в сексуальных проявлениях человека царит полный беспорядок. Здесь нигде нет слаженности. Идет ли

речь о неврозах, перверсиях – тот образ, от которого мы, аналитики, пляшем, представлен своего рода раздробленностью, расщепленностью, отрывочностью, разлаженностью, несоответствием. Тут происходит как бы игра в прятки между образом и его нормальным объектом – если в функционировании сексуальности можно говорить о какой-то идеальной норме. Как же может быть тогда представлен механизм, посредством которого такому беспорядочному воображению все же удается в конечном итоге выполнить свою функцию?

Я постараюсь употреблять простые термины, чтобы вы могли следить за моей мыслью. Можно обратиться и к более сложным понятиям, но вы прекрасно знаете, что данный вопрос относится к разряду тех, над которыми аналитики неустанно ломают головы.

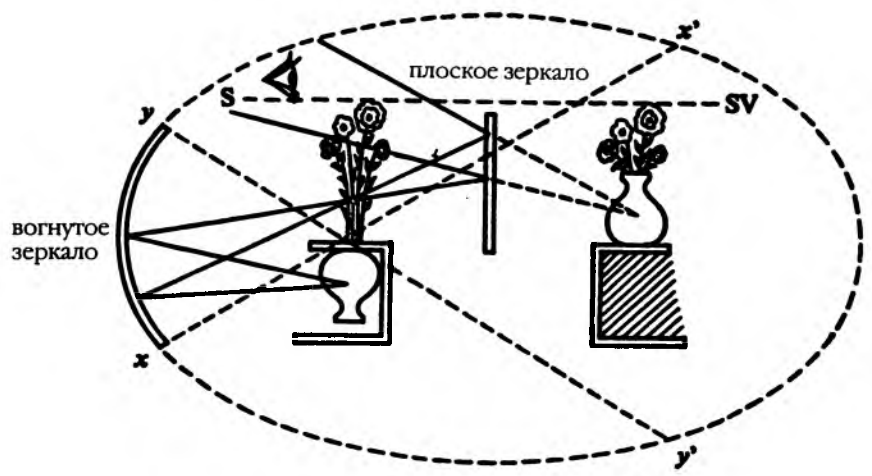
Возьмите любую статью, хотя бы последнюю из тех, что я вам читал. Должен вам сообщить, что автор ее, Микаэль Балинт, собирается нанести нам визит и вступить в наше общество. Итак, он задается вопросом, что является концом лечения. На последней лекции этого семестра я собирался – не знаю, возможно, я этого и не сделаю: это будет зависеть от моего вдохновения – говорить вам о завершении анализа. Конечно, это будет скачком, но разве наше изучение механизмов сопротивления и переноса не позволяет нам его совершить?

Итак, что же такое конец лечения? Аналогичен ли он концу естественного процесса? Генитальная любовь – Эльдорадо, обещанное аналитикам и которое мы столь неосмотрительно обещаем нашим пациентам, – является ли она естественным процессом? Не идет ли здесь речь, напротив, лишь о ряде культурных приближений, которые могут осуществиться лишь в некоторых случаях? Зависит ли завершение анализа от всякого рода случайностей?

Итак, дело здесь в том, какова же функция другого, другого человеческого существа в установлении адекватности воображаемого и реального?

Тут мы можем воспользоваться нашей схемкой. В прошлый раз я привнес в нее небольшое усовершенствование, составляющее важную часть моего доказательства. Реальное изображение можно отчетливо увидеть лишь в некотором поле реаль-

ного пространства аппарата, в поле, находящемся впереди устройства – сферического зеркала и опрокинутого букета.



Упрощенная схема двух зеркал

Мы расположили субъекта у края сферического зеркала. Однако мы знаем, что вид изображения в плоском зеркале для субъекта в точности эквивалентен тому, что было бы изображением реального объекта для наблюдателя, находящегося по ту сторону данного зеркала на том месте, где субъект видит собственное изображение. Таким образом, мы можем заменить субъект на субъекта виртуального, *SV*, расположенного внутри конуса, ограничивающего область возможности иллюзии, – это поле *x'y'*. Изобретенный мной механизм показывает, что, находясь в точке, близкой к реальному изображению, можно тем не менее видеть его в зеркале в статусе мнимого изображения. Вот что происходит с человеком.

Отсюда вытекает весьма своеобразная симметрия. В самом деле, виртуальный субъект, отражение мифического глаза (то есть другой, чем мы есть) находится там, где мы впервые увидели наше собственное эго – вне нас самих, в человеческой форме. Такая форма находится вне нас не потому, что она предназначена завладеть сексуальным поведением, но потому, что она по самой сути своей обусловлена первоначальной беспомощностью человеческого существа. Человеческое существо видит

свою форму осуществленной, целостной, миражом себя самого – лишь вне себя. Такое понятие еще не присутствует в изучаемой нами статье, оно появится в творчестве Фрейда лишь позднее.

То, что существующий субъект видит в зеркале, представляет собой изображение либо четкое, либо фрагментарное, неустойчивое, неполное. Это зависит от его положения по отношению к реальному изображению. Находясь слишком в стороне, он будет видеть плохо. Все зависит от конкретного угла падения луча на зеркало. Лишь находясь в конусе, можно увидеть четкое изображение.

То, как четко вы увидите изображение, зависит от наклона зеркала. Что же касается виртуального наблюдателя, того, которым вы посредством условности зеркала заменили себя, чтобы увидеть реальное изображение, – достаточно наклонить определенным образом плоское зеркало, чтобы он оказался в поле, где изображение видно плохо. Уже одно это приведет к тому, что и вы сами будете плохо видеть изображение в зеркале. Допустим, что подобным образом мы представили сложность аккомодации воображаемого у человека.

Теперь предположим, что наклон плоского зеркала подчиняется голосу другого. Такой зависимости не существует на уровне стадии зеркала, но она осуществляется позднее всей совокупностью нашего отношении к другому – речь идет о символическом отношении. Итак, вы видите, что настройка воображаемого зависит от чего-то, расположенного трансцендентно, как сказал г-н Ипполит, – в данном случае трансцендентным является не что иное, как символическая связь между человеческими существами.

Что такое символическая связь? Чтобы расставить все точки над *i*, обозначим ее следующим образом: это то, что социально мы определяем себя посредством закона. Мы определяем свои различные собственные Я, одни в отношении других, исходя из обмена символами, – вы, Маннони, и я, Жак Лакан, находимся в определенном символическом отношении, весьма сложном и зависящем от различных планов, в которых мы вместе пребываем – у комиссара ли полиции, в этом ли зале, в каком-то путешествии.

Другими словами, именно символическое отношение определяет положение субъекта в качестве видящего. Именно слово,

символическая функция, определяет большую или меньшую степень совершенства, полноты, приблизительности воображаемого. В таком отображении можно провести различие между *Ideal-Ich* и *Ich-Ideal*, между идеальным Я и Я-идеалом. Я-идеал управляет той игрой отношений, от которой зависит все отношение к другому. И от такого отношения к другому зависит то, насколько удовлетворительно структурировано воображаемое.

На данной схеме вы видите, что воображаемое и реальное действуют на одном уровне. Для того, чтобы понять это, достаточно немного усовершенствовать наш механизм. Предположите, что данное зеркало является стеклом. Вы увидите в стекле себя и объекты по ту сторону стекла. Речь идет как раз о совпадении некоторых образов и реального. Упоминая об оральной, анальной, генитальной реальности мы говорим именно об этом, т. е. о некотором отношении между нашим образом и образами вообще. Мы говорим об образах человеческого тела, об очеловечении мира и его восприятии, зависящем от образов, связанных со структурированием тела. Реальные объекты проходят через посредничество зеркала и сквозь него и таким образом оказываются на том же месте, что и воображаемый объект. Образу свойственно либидинальное инвестирование. Под либидинальным инвестированием понимают то, в чем объект становится желанным, т. е. то, в чем он сливается с образом, который мы по-разному и в разной степени структурированности несем в себе.

Итак, наша схема помогает представить различие, тщательно проводимое Фрейдом и часто остающееся загадкой для читателей, между топической регрессией и регрессией генетической, архаической или, как также ее называют, регрессией в истории.

В зависимости от наклона зеркала изображение в сферическом зеркале бывает отчетливее или в центре, или по краям. Можно также представить различные изменения этого изображения. Каким образом первоначальный рот трансформируется под конец в фаллос? – быть может, не так уж сложно было бы создать соответствующую модель занимательной физики. Итак, вы видите, что всякая поистине действенная и полная настройка воображаемого у человека может быть установлена лишь через

вмешательство другого измерения. Вот к чему, по крайней мере мифически, стремится психоанализ.

Каково мое желание? Каково мое положение в структуре воображаемого? Такое положение постигаемо лишь постольку, поскольку мы будем сознавать, что направляющая инстанция находится по ту сторону воображаемого, на уровне символической плоскости, узаконенного обмена, который может быть воплощен лишь исходя из вербального обмена между человеческими существами. Такой направляющей инстанцией субъекта является *Ich-Ideal*.

Данное различие крайне важно: оно позволяет нам понять то, что происходит в анализе в плоскости воображаемого и носит название переноса.

Чтобы постичь это – вот где достоинство текста Фрейда, – надо понять, что такое *Verliebtheit*, влюбленность. Влюбленность – это феномен, который разворачивается на уровне воображаемого и приводит к настоящему западанию символического, к своего рода аннулированию, нарушению функции Я-идеала. Влюбленность вновь открывает двери – как без обиняков говорит Фрейд – совершенству.

Ich-Ideal, Я-идеал – это другой в той мере, как он говорит; другой в той мере, как его связывает со мной символическое сублимированное отношение; другой, являющийся в динамике нашего обращения одновременно нам подобным и отличным от воображаемого либидо. Символическим обменом является то, что связывает между собой человеческих существ – слово – и что позволяет идентифицировать субъекта. Высказывание Гегеля: символ порождает мыслящих существ – не является метафорой.

Ich-Ideal в качестве говорящего может попасть в мир объектов на уровне *Ideal-Ich*, то есть на уровне, где может произойти то нарциссическое пленение, о котором Фрейд твердит нам на протяжении всей статьи. Вы прекрасно понимаете, что когда происходит такое слияние, никакой возможности настройки аппарата больше уже не существует. Иначе говоря, нам остается лишь согласиться с расхожей мудростью, что тот, кто влюблен, безумен.

Я хотел бы проиллюстрировать тут психологию любви с первого взгляда. Помните, как Вертер впервые увидел Лотту, нянчившую ребенка. Это вполне подходящий образ *Anlehnungstypus,* выбора объекта по опорному типу. Такое совпадение объекта с основополагающим образом героя Гете приводит к возникновению его смертельной привязанности – в следующий раз нужно будет разъяснить, почему такая привязанность смертельна по сути. Вот она, влюбленность. Будучи влюбленным, любят свое собственное Я – свое собственное Я, осуществленное на уровне воображаемого.

Многие ломают голову над проблемой – как может у невротиков, столь запутавшихся в любви, происходить перенос? Возникновение переноса имеет универсальный характер, поистине автоматический, тогда как требования влюбленности, напротив, столь специфичны... Вовсе не каждый день можно встретить готовый образ собственного желания. Как же случается, что в аналитическом отношении перенос, обладающий той же природой, что и любовь – так говорит Фрейд в тексте, разбор которого я поручил Гранову, – возникает "*даже прежде*" самого начала анализа? Конечно, перенос до начала анализа и во время него – это не совсем то же самое.

Я вижу, что уже подходит время окончания нашей беседы и не хочу задерживать вас дольше положенной границы без четверти два. В следующий раз мы вернемся к вопросу, каким образом почти автоматическое возникновение переноса в отношении анализируемый/аналитик – происходящее даже прежде начала анализа посредством присутствия аналитика и самой функции анализа – позволит нам задействовать воображаемую функцию *Ideal-Ich.*

31 марта 1954 года.

XII

ZEITLICH-ENTWICKELUNGSGESCHICHTE

Образ смерти.
Собственная персона спящего.
Имя, закон.
От будущего к прошлому.

Ален отмечал, что в мысленном изображении Пантеона никто не считал его колонн. На что я охотно возразил бы ему – никто, кроме архитектора Пантеона. Что ж, таким образом мы уже приступили к обсуждению отношений реального, воображаемого и символического.

1

Ипполит: – *Могу ли я задать вам вопрос о структуре оптического образа? Меня интересуют некоторые фактические уточнения. Если я правильно понял материальную структуру опыта, существует сферическое зеркало и действительное (реальное) перевернутое изображение объекта в центре зеркала. Такое изображение получилось бы на экране, но и без экрана мы можем наблюдать его глазом в этом месте.*

Лакан: – Совершенно верно, так как данное изображение является реальным, в той мере как глаз саккомодирован на некоторую плоскость, обозначенную реальным объектом. В приведенном мной опыте перевернутый букет оказывался на горлышке реальной вазы. Глаз видит реальное изображение постольку, поскольку он саккомодирован на него. Четкость изображения зависит от того, сходятся ли все световые лучи в одной точке виртуального пространства, т. е. соответствует ли каждой точке объекта некоторая точка изображения.

Ипполит: – *Если глаз расположен в световом конусе, он видит изображение, если нет – не видит.*

Лакан: – Как показывает опыт, чтобы воспринимать изображение, необходимо, чтобы наблюдатель находился на неболь-

шом удалении от оси сферического зеркала, как бы расширенном сегменте, образованном кривой его поверхности.

Ипполит: – *В таком случае, если мы поместили плоское зеркало, оно даст нам мнимое изображение действительного изображения, принятого в качестве объекта.*

Лакан: – Все, что может быть увидено непосредственно, может быть увидено и в зеркале. Это все равно как если бы мы представили, что зеркало создает совокупность из двух симметричных, соответствующих между собой частей – реальной и виртуальной. Виртуальная часть соответствует противолежащей реальной части и наоборот: как если бы мнимое изображение в зеркале было реальным изображением, выступающим в качестве объекта для воображаемого, виртуального наблюдателя, находящегося в зеркале, в позиции, симметричной нашей.

Ипполит: – *Такие построения напоминают мне времена моего бакалавриата или начального экзамена по медицине. Да, но еще есть глаз, который, глядя в зеркало, видит мнимое изображение изображения действительного.*

Лакан: – Раз я могу увидеть реальное изображение, то, поместив на полпути зеркало, я столь же хорошо увижу появление этого изображения оттуда, где я нахожусь, то есть из какого-то места между реальным изображением и сферическим зеркалом – или даже позади него. При соответствующем размещении зеркала, т. е. если оно будет перпендикулярно осевой линии, о которой я только что говорил, я увижу в этом зеркале реальное изображение, вырисовывающееся на смутном фоне, который даст мне в плоском зеркале вогнутая поверхность зеркала сферического.

Ипполит: – *Когда я смотрю в это зеркало, я вижу одновременно мнимый букет цветов и мнимый собственный глаз.*

Лакан: – Да, если только мой собственный реальный глаз существует и не является сам лишь абстрактной точкой. Поскольку я подчеркнул, что мы не являемся глазом – но тут начинается абстракция.

Ипполит: – *С образом мне все ясно. Осталось разобраться с символическими соответствиями.*

Лакан: – Именно это я и постараюсь вам сегодня объяснить.

Ипполит: – *Какова игра соответствий между реальным объектом, цветами, реальным изображением, мнимым изображением, реальным глазом и мнимым глазом? Начнем с реального объекта – что для вас представляют собой реальные цветы?*

Лакан: – Интерес данной схемы, конечно же, состоит в том, что она пригодна для различных применений. Фрейд уже строил нечто подобное и нарочито указывал нам в “*Traumdeutung*” и в “*Abriss*”, что психические инстанции должны быть поняты исходя именно из феноменов воображаемого. В “*Traumdeutung*” Фрейд дает нам схему наслоений, куда вписываются восприятия и воспоминания, и одни из них составляют сознательное, а другие – бессознательное. Такие наслоения, выходя на поверхность вместе с сознанием, замыкают цикл стимул-реакция, при помощи которого в то время пытались понять жизненный цикл. Перед нами что-то вроде наложения фотопленок. Однако, безусловно, такая схема несовершенна, поскольку...

Ипполит: – *Я уже воспользовался вашей схемой. Хотелось бы найти простейшие соответствия.*

Лакан: – Говоря о первичных соответствиях, реальному изображению, которое вмещает одни реальные объекты и одновременно исключает другие, мы можем придать значение границ собственного Я. Однако если вы придаете одну функцию некоторому элементу модели, то другой элемент необходимым образом получает другую, поскольку здесь важны именно отношения.

Ипполит: – *Можно ли, например, допустить, что реальный объект означает* Gegenbild, *сексуальное подобие собственного Я? В схеме с животным самец находит* Gegenbild, *т. е. некую половину, дополняющую его в структуре.*

Лакан: – Если уж нужен *Gegenbild*...

Ипполит: – *Это слово Гегеля.*

Лакан: – Сам термин *Gegenbild* подразумевает соответствие некоторому *Innenbild*, что возвращает нас к соответствию *Innenwelt* и *Umwelt*.

Ипполит: – *Именно это и привело меня к мысли, что если реальный объект, цветы, представляет собой реальный объект, коррелятивный животному, субъекту восприятия, то реальное изображение горшочка с цветами представляет собой вооб-*

ражаемую структуру, являющуюся отражением данной реальной структуры.

Лакан: – Лучше и не скажешь. Именно это происходит, когда речь идет лишь о животном. Как раз так и обстояло дело в моем первом построении, где было лишь сферическое зеркало и когда опыт ограничивался тем, чтобы показать, как реальное изображение сливается с реальными вещами. Именно таким образом мы можем представить себе *Innenbild*, позволяющий животному отыскать своего особого партнера, подобно тому как ключ отыскивает замочную скважину или замочная скважина – ключ, и направить свое либидо туда, куда это необходимо для размножения вида. Я уже замечал вам, что в этой перспективе мы можем отчетливо ощутить существенную переходность характера индивида в отношении к типу.

Ипполит: – *Круговорот вида.*

Лакан: – Речь идет не только о круговороте вида – особь настолько полно находится в плену типа, что в отношении к этому типу она исчезает. Как, по-моему, сказал Гегель, хотя я в этом не уверен: особь уже мертва в отношении к вечной жизни вида.

Ипполит: – *Комментируя данный вами образ, я процитировал бы следующую фразу Гегеля: в действительности знание, т. е. человечество, является провалом сексуальности.*

Лакан: – Мы немного поторопились.

Ипполит: – *На мой взгляд, важно допущение, что реальный объект может быть реальным, относящимся к порядку вида, дополнением реальной особи. Однако в результате некоторого развертывания в воображаемом данное дополнение становится в сферическом зеркале реальным изображением, которое пленяет уже само по себе, даже в отсутствии спроецировавшегося в воображаемое реального объекта – изображение, которое завораживает особь и захватывает ее даже в плоском зеркале.*

Лакан: – Вы знаете, сколь трудно судить о том, что воспринимает и что не воспринимает животное, поскольку у него, как и у человека, восприятие, похоже, выходит далеко за рамки того, что можно выделить в экспериментальных, то есть искусственных, действиях. Нам случается замечать, что животное может делать выбор при помощи тех вещей, о которых мы даже не

подозреваем. Тем не менее, мы знаем, что когда животное захвачено циклом инстинктивного поведения, у него происходит сгущение, конденсация, помутнение восприятия внешнего мира. Животное тогда как бы затягивается в ловушку некоторых условий воображаемого, и именно там, где оно не должно было бы ошибаться, мы легче всего можем его обмануть. В определенном смысле, либидинальная фиксация предстает тут как своего рода воронка.

Именно из этого мы будем исходить. Однако для человека требуется создать более сложный и хитроумный механизм, поскольку у людей все происходит иначе.

Раз уж именно ваши настойчивые вопросы послужили толчком сегодняшнему обсуждению, я не вижу причин, почему бы нам не начать с упоминания основной гегелевской темы: человеческим желанием является желание другого.

Именно это выражено в модели плоским зеркалом. Именно тут мы обнаруживаем классическую стадию зеркала Жака Лакана; этот переломный момент в развитии, где индивид подвергает собственное зеркальное изображение, себя самого, триумфальному испытанию. Исходя из некоторых соответствий в поведении ребенка мы можем понять, что здесь впервые речь идет о предвосхищении господства над собственным телом.

Тут же мы можем ощутить и нечто другое, что я назвал *Urbild*, *Bild* (в ином смысле, нежели тот, которым вы только что пользовались) – самую первую модель, где намечается задерживание, отставание человека по отношению к собственному либидо. В результате такого зазора возникает радикальное различие между удовлетворением желания и движением по завершению желания – желание по сути является негативностью, возникшей не обязательно в исходный, но в решающий, поворотный момент. Сперва желание смутно улавливается в другом. Соотнесенность человеческого желания с желанием другого известно нам во всякой реакции, где имеет место соперничество, конкуренция, и так – во всем развитии цивилизации, включая фундаментальную эксплуатацию человека человеком, конца которой мы не можем разглядеть, поскольку она является чисто структурной и составляет, будучи раз и навсегда принятой Гегелем, саму структуру понятия труда. Конечно, речь там идет уже не о желании, а о

полном опосредовании собственно человеческой деятельности, вовлеченной на путь человеческих желаний.

Субъект намечает и изначально распознает желание через посредничество не только собственного образа, но и тела себе подобного. Именно в этот момент у человеческого существа происходит отделение сознания в качестве самосознания. Обмен производится в той мере, в которой он распознает свое желание в теле другого. И в той степени, в которой его желание пришло с другой стороны, он ассимилирует тело другого и распознает себя как тело.

Ничто не позволяет утверждать, что животное обладает отдельным сознанием собственного тела как такового, что его телесность является для него объективированным элементом...

Г-н Ипполит: – *Статутным, в двояком смысле слова.*

Лакан: – Совершенно точно. Хотя нет сомнений, что если есть для нас какая-то фундаментальная данность, предшествующая даже появлению регистра несчастного сознания, то это различие нашего сознания и нашего тела. В результате такого различия наше тело остается чем-то ненастоящим, и хотя наше сознание не способно от него отделиться, оно понимает себя – возможно, я подобрал не самые подходящие термины – как отличное от него.

Различение сознания и тела происходит в той внезапной взаимозамене ролей, которая совершается в опыте зеркала относительно другого.

Вчера вечером Маннони сказал нам, что в межличностных отношениях всегда вводится нечто ненастоящее – проецирование другого на нас самих. Это, безусловно, связано с тем фактом, что мы распознаем себя в качестве тела в той мере, как другие, необходимые для распознания желания, также обладают телом, или точнее, что мы, как и они, обладаем телом.

Ипполит: – *Это мне плохо понятно, скорее различие самого себя и тела это различие двух тел.*

Лакан: – Несомненно.

Ипполит: – *Поскольку само я (soi) представляет себя как идеальное тело, и поскольку есть тело, которое я ощущаю, – их два?*

Лакан: – Нет, конечно. Вот в чем основная нить фрейдовского открытия: человеку в течение первых фаз его развития сразу совладать со своим желанием не дано. В образе другого он признает и фиксирует желание раздробленным. А внешнее овладение в зеркальном образе дано ему, по крайней мере виртуально, как полное. Это идеальное овладение.

Ипполит: – Именно это я и называю идеальным телом.

Лакан: – Это *Ideal-Ich*. Его же желание, напротив не конституировано. Сперва субъект находит в другом лишь ряд амбивалентных плоскостей, отчуждений собственного желания – желания еще раздробленного. Все, что мы знаем об инстинктивных изменениях, представляет нам схему такого раздробленного желания, поскольку теория либидо у Фрейда зиждется на сохранении, постепенном сложении определенного количества частичных влечений, которым удается или не удается вылиться в сложившееся желание.

Ипполит: – *Я думаю, что мы говорим вполне согласующиеся вещи. Не так ли? И тем не менее, только что вы сказали "нет". Между нами нет никаких серьезных разногласий. Если я говорю "два тела", это попросту означает, что то, что я вижу установленным либо в другом, либо в моем собственном зеркальном образе, – это то, чем я не являюсь и что находится в действительности по ту сторону моего собственного Я. Вот что я называю идеальным телом, телом статутным или статуей. Как сказал Валери в* "Юной Парке" – *"Но моя собственная статуя в то же время содрогается", то есть разлагается. Ее разложение я называю другим телом.*

Лакан: – Тело как раздробленное, ищущее себя желание, и тело как идеал себя взаимопроецируются и предстают для субъекта как раздробленное тело, в то время как другого он видит в качестве совершенного тела. Для субъекта раздробленное тело является по сути расчлененным образом собственного тела.

Ипполит: – *Два тела взаимопроецируются друг на друга в том смысле, что разом субъект видит себя как статую и в то же время расчленяется, проецирует расчленение на статую, и так – в бесконечной диалектике. Простите, что мне пришлось повторить сказанное Вами, чтобы быть уверенным в правильном понимании.*

Лакан: – Мы можем сделать, если хотите, еще один шаг вперед.

В конце концов, реальное, само собой разумеется, находится по эту сторону зеркала. Но что же находится по ту сторону? Прежде всего, как мы уже видели, там есть первичное воображаемое зрительной диалектики с другим.

Уже эта основополагающая диалектика вводит смертное измерение инстинкта смерти, и притом в двух различных смыслах. Во-первых, либидинальное пленение неизбежно несет для индивида смертельный смысл, поскольку оно подчинено некоторому "*x*" вечной жизни. Во вторых, – и это подчеркнуто Фрейдом, но не полностью различено в "*По ту сторону принципа удовольствия*" – у человека инстинкт смерти приобретает иное значение в силу того, что его либидо изначально принуждено пройти через этап воображаемого.

Более того, именно образ образа и приносит человеку ущерб той зрелости либидо, тому соответствию реальности воображаемому, которое, предположительно (ведь что мы на самом деле об этом знаем?), существует у животного. Животное настолько более уверенно руководствуется воображаемым, что отсюда даже возник фантазм *natura mater*, сама идея природы, которой человек, по его собственному представлению, изначально не соответствует и тысячью способов пытается это несоответствие выразить. Такое несоответствие вполне объективно обнаруживается в его исключительной беспомощности в начале жизни. Вовсе не психоаналитики создали идею о преждевременности рождения. Как свидетельствуют гистологи, аппарат, играющий в организме роль нервного аппарата (что само по себе представляет тему для обсуждения), является при рождении незавершенным. Либидо человека достигает завершенности раньше, чем к нему присоединяется объект. Вот каким путем вторгается в жизнь человека тот особый недостаток, который увековечивается в его отношении к другому, гораздо более смертоносному для человека, чем для любого другого животного. Тот образ господина, который видит человек в форме зрительного образа, сливается у него с образом смерти. Человек может находиться в присутствии абсолютного господина. Указывают ли ему на это или нет, но в его присутствии он находится изначально, поскольку он подчинен этому образу.

Ипполит: – *Животное подвержено смерти в момент любви, но ничего об этом не знает.*

Лакан: – Тогда как человек знает это. Знает и испытывает.

Ипполит: – *И так вплоть до того, что он сам дает себе смерть. Посредством другого он хочет собственной смерти.*

Лакан: – Все мы вполне согласны, что любовь – это форма самоубийства.

Д-р Ланг: – *Есть один момент, на котором вы настаивали, но смысл вашей настойчивости остался мне непонятен. Вы говорили, что необходимо находиться в определенном поле в отношении упомянутого механизма.*

Лакан: – Вижу, я недостаточно высунул нос, если вы только нос и увидели, а не то, к чему он прилагается.

То, о чем идет речь, может быть использовано в различных плоскостях. Мы можем интерпретировать вещи либо на уровне структурирования, либо описания, либо способа вести лечение. Чрезвычайно удобно иметь такую схему, где появление образа в каждый заданный момент зависит от движения отражающей плоскости – при том, что субъект остается всегда на одном месте. Образ можно увидеть в достаточной завершенности лишь из определенной виртуальной точки наблюдения. Вы можете менять такую виртуальную точку как угодно. Что же изменяется, когда зеркало поворачивается?

Изменяется не только фон, т. е. то, что субъект может увидеть как фон, себя самого, например, – или эхо себя самого, как заметил г-н Ипполит. Если в действительности передвигать плоское зеркало, в некоторый момент определенные предметы выпадают из поля зрения. Очевидно, что ближайшие исчезают последними – одно это уже позволяет объяснить некоторые особенности размещения *Ideal-Ich* по отношению к чему-то другому, что останется для нас пока загадочным и что мы назвали наблюдателем. Вы прекрасно понимаете, что речь идет не только о наблюдателе, но, в конечном счете, о символическом отношении, а именно, о точке, где говорят, где налицо речь.

Однако меняется не только это. Если вы наклоните зеркало. изменится само изображение. Без всякого передвижения реального образа одно лишь изменение положения зеркала приведет к тому, что образ, который увидит в этом зеркале субъект, раз-

мещенный у края сферического зеркала, перейдет из формы рта в форму фаллоса; т. е. желание более или менее цельное сменится тем типом желания, которое я только что назвал расчлененным. Другими словами, такое действие механизма позволяет показать то, что всегда было идеей Фрейда – т. е. возможные корреляции понятия топической регрессии и регрессии, названной им "*zeitlich-Entwickelungsgeschichte*" – и тут мы прекрасно видим, насколько и сам он запутался со временным отношением. Он говорит "*zeitlich*", т. е. "*временный*", затем тире и – "*истории развития*", тогда как вы прекрасно знаете, какое внутреннее противоречие существует между термином "*Entwickelung*" и термином "*Geschichte*". Он соединяет эти три термина вместе, а вы уж разбирайтесь сами.

Но если бы нам не в чем было разбираться, нам не было бы и необходимости находиться здесь. А это печально.

Что ж, Перье, вам слово, изложите нам ваши мысли о "*Метапсихологических дополнениях к теории сновидений*".

2

Д-р Перье: – *Да, этот текст...*

Лакан: – Он показался вам несколько неприятным?

Д-р Перье: – *Да, в самом деле. Лучше всего, я думаю, будет набросать его схему. Во вступительной части статьи Фрейд говорит, что было бы поучительно провести параллель между некоторыми патологическими проявлениями и их прототипами в нормальной жизни, позволяющими нам изучать их, например: траур и меланхолия, сновидение и нарциссические состояния.*

Лакан: – Кстати, для обозначения прототипов из нормальной жизни Фрейд употребляет термин "*Vorbild*", что соотносится со смыслом термина "*Bildung*".

Д-р Перье: – *Затем Фрейд переходит к изучению сновидений для того, чтобы, как показывает окончание статьи, углубить исследование некоторых феноменов, встречающихся в нарциссических заболеваниях, например в шизофрении.*

Лакан: – Нормальный прообраз болезненных привязанностей – *Normalvorbilden-Krankheitsaffektion.*

Д-р Перье: – *Фрейд говорит, что сон – это состояние психического разоблачения, приводящего человека в состояние, аналогичное первичному состоянию зародыша, и при этом человек, подобно тому, как перед сном он снимает парик, одежду, зубные протезы – избавляется и от облачения целой части своей психической организации.*

Лакан: – Любопытно, что в связи с этим образным описанием нарциссизма субъекта, являющегося для Фрейда основной сутью сна, он добавляет замечание, которое, как кажется, не относится к физиологии, – что верным это является не для всех человеческих существ. Ведь если человек в обыденной жизни сбрасывает одни одежды, то он надевает другие. Смотрите, что он одновременно перечисляет в данном им образе: человек снимает очки (многие из нас подвержены недугу, делающему очки необходимыми), но так же искусственные зубы, искусственные волосы. Внушающий отвращение образ разлагающегося существа. Это как бы начало частичного разложения, демонтирования человеческого Я, чьи границы столь нечетки. Конечно, искусственные зубы не являются частью моего собственного Я, но в какой мере частью его являются зубы настоящие? – ведь они вполне заменимы. Таким образом, идея двусмысленного, нечеткого характера границ собственного Я выводится на первый план, подводя нас к метапсихологическому изучению сна. Приготовления ко сну выдают нам его значение.

Д-р Перье: – *В следующем параграфе Фрейд, по-видимому, переходит к краткому изложению всего дальнейшего исследования. Он напоминает, что при изучении психозов всякий раз констатируется наличие временных регрессий, то есть наличие тех точек, к которым в каждом случае происходит возврат через этапы собственного же развития субъекта. Фрейд говорит, что подобные регрессии заметны либо в эволюции собственного Я, либо в эволюции либидо. Регрессия эволюции либидо, подобно тому как это происходит во сне, приведет к установлению первичного нарциссизма. Аналогичная регрессия эволюции собственного Я во сне приведет к галлюцинаторному удовлетворению желания. Сами по себе такие утверждения не совсем ясны, по крайней мере для меня.*

Лакан: – Возможно, обратившись к нашей схеме, мы внесем сюда некоторую ясность.

Д-р Перье: – *Это можно предположить уже обратив внимание на тот факт, что Фрейд исходит из временных регрессий, из регрессий в истории субъекта. Поэтому регрессия в эволюции собственного Я приведет к совершенно элементарному, первичному, не получившему разработки состоянию – галлюцинаторному удовлетворению желания. Сперва он возвращает нас к изучению процесса сновидения, и в частности, к изучению нарциссизма сна в свете происходящего – сновидения. Прежде всего, он говорит об эгоизме сновидения, и этот термин в сравнении с нарциссизмом несколько шокирует.*

Лакан: – Каким образом обосновывает он эгоизм сновидения?

Д-р Перье: – *Он говорит, что в сновидении сама личность сновидца всегда является центральным персонажем.*

Лакан: – И играет главную роль. Может ли кто-нибудь уточнить нам смысл слова "*agnosieren*"? Значения этого немецкого слова я не смог найти. Однако смысл его не оставляет сомнений – речь идет о том лице, которое всегда должно быть признано собственной персоной сновидца, *als die eigene Person zu agnosieren*. Кто-нибудь может привести примеры использования этого слова? Фрейд не употребляет слова "*anerkennen*", что подразумевало бы измерение признания в том смысле, в каком мы постоянно упоминаем его в нашей диалектике. На уровне чего должна быть признана личность сновидца – на уровне нашей интерпретации или на уровне нашего гадания? Это вовсе не одно и то же. Отличие "*anerkennen*" и "*agnosieren*", это отличие того, что мы усваиваем от того, что мы знаем, – отличие, остающееся для нас, между тем, глубоко двусмысленным. Посмотрим, как сам Фрейд анализирует в "*Traumdeutung*" знаменитый сон о монографии по ботанике. Чем дальше мы продвигаемся, тем лучше становится видна гениальность первых прозрений о значении сновидения и его сценарии.

Г-жа *X*, может, вы дадите нам некоторые разъяснения по поводу слова "agnosieren"?

Г-жа X: – *Иногда Фрейд употребляет венские словечки. Это слово больше не употребляется в немецком, но данный вами смысл верен.*

Лакан: – В самом деле, интересно значение венской среды.

Во всей глубине оно выражается в отношении Фрейда к персонажу брата, этому другу-врагу, о котором он говорит, что тот играл в его жизни существенную роль и что ему всегда был необходим кто-либо, покрываемый таким *Gegenbild*. Но в то же время именно через посредство данного персонажа, воплощенного его коллегой по лаборатории – я уже упоминал о нем в моих предыдущих семинарах, когда мы в самом начале говорили о первых этапах научной жизни Фрейда, – именно в связи с ним и посредством него, его действий, его чувств Фрейд проецирует, оживляет в сновидении то, что было его латентным желанием, а именно, притязания его собственной агрессии, его собственных амбиций. Таким образом, мы убеждаемся в полной двусмысленности *eigene Person*. Именно внутри самого сознательного представления сновидения, точнее, внутри миража сновидения должны мы искать в лице, играющем главную роль, собственную персону сновидца. Но это как раз не сновидец, а другой.

Д-р Перье: *Затем Фрейд ставит вопрос, не является ли нарциссизм и эгоизм поистине одним и тем же. И говорит, что слово "нарциссизм" лишь подчеркивает либидинальный характер эгоизма. Другими словами, нарциссизм можно рассматривать как либидинальное дополнение эгоизма. В частности, Фрейд упоминает о диагностической способности сновидения, замечая нам, что в сновидении часто воспринимаются те вещи, которые совершенно не проявляются при бодрствовании: некоторые органические изменения, позволяющие диагносцировать еще не проявившиеся в бодрствующем состоянии вещи. И тут встает проблема ипохондрии.*

Лакан: – Да, здесь затрагиваются уже более сложные и тонкие вопросы. Подумайте хорошенько, о чем тут идет речь. Я говорил вам об обмене, который происходит между образом субъекта и образом другого, в той мере как образ этот получает в воображаемой ситуации либидинальную, нарциссическую нагрузку. При этом, подобно тому, как у животного некоторые части мира становятся непрозрачными и завораживающими, таким же становится и образ. В сновидении мы способны *agnosieren* собственную персону сновидца в чистом виде. Возможности позна-

ния субъекта во сне значительно возрастают. В состоянии бодрствования, напротив, субъект, особенно, если он не читал "*Traumdeutung*", недостаточно воспринимает ощущения собственного тела, которые могут возвестить ему во время сна нечто внутреннее, кинестезическое. И в той мере, как в сновидении либидинальная непрозрачность оказывается по другую сторону зеркала, ощущение собственного тела не ухудшается, но, напротив, субъект более чутко начинает воспринимать и узнавать его.

Вам понятен этот механизм?

В состоянии бодрствования субъект обретает, по закону отражения, тело другого и поэтому многое в отношении себя игнорирует. То, что эго есть способность игнорировать, служит основанием всей аналитической техники.

Этот факт имеет далеко идущие последствия, вплоть до структурирования, организации и в то же время безотчетного исключения объектов из поля сознания, скотомизации – здесь довольно уместно употребление данного термина, – а также других разнообразных вещей, являющихся информацией, которая может поступить к нам от нас же самих – это своеобразная игра, отсылающая нам эту чужую по своему происхождению телесность. И так вплоть до – "Они имеют глаза, чтобы не видеть". Фразы из Евангелия всегда следует принимать в их буквальном смысле, иначе они остаются совершенно непонятными – ведь думают же, что это ирония.

Д-р Перье: – *Сновидение является также процессом проецирования, экстериоризации внутренней деятельности. Фрейд напоминает, что экстериоризация внутренних процессов является средством защиты от пробуждения. В истерической фобии существует то же самое проецирование, являющееся само по себе средством защиты и заменяющее внутреннюю функцию. Однако почему намерение спать встречает противодействие? Намерению спать могут помешать внешние раздражения или внутреннее возбуждение. Случай с внешними препятствием более интересен, и именно его изучением займется Фрейд.*

Лакан: – Стоит внимательно отнестись к этому отрывку, поскольку он позволит внести немного строгости в использование в анализе термина проекции. При употреблении данного поня-

тия вечно возникает путаница. В частности, мы все время соскальзываем на его классическое использование, говоря о проецировании наших чувств на нам подобного. Однако вовсе не о том идет речь, когда мы должны, подчиняясь давлению вещей, то есть в силу закона связности системы, использовать данный термин в анализе. Если в следующим семестре нам удастся заняться случаем Шребера и вопросом психозов, нам необходимо будет внести последние уточнения того значения, которое мы должны придавать в анализе термину проекции.

Если вы внимательно следили за ходом моего изложения, вы должны видеть, что так называемый внутренний процесс всегда приходит извне. Распознается он в первую очередь посредством наружного.

Д-р Перье: – *Вот трудность, которую мы с отцом Бернартом и Андрэ Леманом, помогавшими мне, обнаружили вчера вечером, – что такое предсознательное желание сна?*

Лакан: – То, что Фрейд называет желанием сновидения, является элементом бессознательного.

Д-р Перье: – *Совершенно верно. Как говорит Фрейд, сперва происходит образование предсознательного желания сновидения – в состоянии бодрствования, как я предполагаю, – что позволяет бессознательному влечению выразиться благодаря материалу, то есть в дневных обрывках предсознательного. Вот где возникает запутавший меня вопрос. Употребив термин "предсознательное желание сновидения", Фрейд говорит, что ему не было необходимости существовать в состоянии бодрствования и оно может уже обладать иррациональным характером, свойственным всему бессознательному. Оно лишь бывает выражено в терминах сознания.*

Лакан: – И это важно.

Д-р Перье: – *Нельзя смешивать, говорит он, желание сновидения со всем, что относится к порядку предсознательного.*

Лакан: – Вот!

Заметьте, как обычно понимают данный отрывок после прочтения. Говорят, что есть нечто очевидное и нечто латентное. И тут начинаются определенные усложнения. Очевидной является композиция. В результате разработки сновидения – очень любопытный оборот первого из его аспектов, воспоминания –

субъекту удается воскресить в памяти очевидную часть сновидения. А вот то, что составляет сновидение, действительно относится к бессознательному, и нам необходимо отыскивать его. Находим мы такое желание или нет, очертания его заметны лишь на заднем плане. Бессознательное желание является как бы направляющей силой, принуждающей все *Tagesresten*, все неясные вспышки в сознании организоваться некоторым образом. Такое составление приводит к образованию очевидного содержания, т. е. миража, ничего общего не имеющего с тем, что мы должны реконструировать – с бессознательным желанием.

3

Как можно представить это моей схемой? Благодаря г-ну Ипполиту уже в начале сегодняшней встречи мне весьма кстати пришлось раскрыть все мои карты. Мы не сможем сегодня же целиком решить поставленный вопрос, однако необходимо хоть немного продвинуться вперед.

Теперь нам потребуется вмешательство так называемых "команд" механизма.

Итак, субъект осознает свое желание в другом, при посредничестве образа другого, наделяющего субъект призраком собственного могущества. Подобно тому, как в наших научных рассуждениях мы довольно часто сводим субъекта к глазу – мы можем точно так же свести его к персонажу, мгновенно запечатленному в отношении к предвосхищаемому им образу самого себя, безотносительно к его эволюции. Но мы должны отметить себе, что это – человеческое существо, что рождается оно в состоянии беспомощности, и что слова, язык чрезвычайно послужили ему призывом; причем призывом самым жалким, поскольку от этих криков зависит его питание. Уже выявлена связь состояний зависимости с этими первичными отношениями матери и ребенка. Однако это не повод скрывать, что столь же преждевременно такое отношение к другому получает в устах субъекта имя.

Переход к человеческому состоянию заключается именно в том, что имя, каким бы неотчетливым оно ни было, обозначает определенное лицо. Если уточнять, в какой момент человек ста-

новится человечным, скажем, что это происходит тогда, когда он хоть сколько-нибудь вступает в символическое отношение.

Как я уже подчеркивал, символическое отношение является вечным. И не потому лишь, что оно требует в действительности наличия трех лиц – оно вечно в том, что символ вводит третье, элемент опосредования, определяющий места двух присутствующих персонажей, переводит их в другую плоскость и видоизменяет их.

Я хотел бы еще раз подробно остановиться на этом моменте, даже если нам придется прервать для этого наш путь.

Г-н Келлер, будучи философом гештальтистом и не сомневаясь поэтому в своем превосходстве над философами-механицистами, много иронизирует на тему стимула-реакции. Он говорит, в частности, следующее (вот забавная ситуация!): я получаю, скажем от г-на Н..., нью-йоркского издателя, заказ на книгу – если мы находимся в регистре стимул-реакция, можно было бы подумать, что стимулом мне послужил этот заказ и что моя книга была ответом. О-ля-ля! – восклицает Келлер, апеллируя, как нельзя более обоснованно, к жизненной интуиции, – все не так просто. Я не довольствуюсь лишь ответом на такое предложение, я пребываю в состоянии страшного напряжения. Мое равновесие – гештальтистское понятие – восстановится лишь тогда, когда данное напряжение приобретет форму реализации в тексте. В результате получения такого призыва у меня возникает динамическое состояние неуравновешенности. Этот призыв будет удовлетворен лишь будучи принят, т. е. тогда, когда замкнется круг, предваряемый уже самим фактом такого призыва к полному ответу.

Данное описание вовсе не является достаточным. Келлер предполагает в субъекте заранее образованную модель хорошего ответа и вводит некоторый загодя наличный элемент. В пределе, речь идет о заранее на все готовом ответе, своего рода *virtus dormitiva*. Как полагают (и тем и довольствуются) подобные исследователи, генеративным регистром всякого действия является то, что некая модель, уже встроенная в субъект, им не реализована. Перед нами всего-навсего переписывание механистической модели на более разработанном уровне.

Нет, тут нельзя пренебрегать символическим регистром, посредством которого происходит конституирование человеческого существа как такового. В самом деле, с тех пор как г-н Келлер получил заказ, ответил "да", подписал обязательства, г-н Келлер уже не тот же самый Келлер. Существует уже другой Келлер, Келлер, взявший на себя обязательства, и также – другое издательство, издательство, заключившее одним контрактом больше и располагающее одним символом больше.

Я обратился к столь грубому и осязаемому примеру, поскольку здесь мы вполне погружаемся в диалектику труда. Так, в одном том факте, что я определяю себя как сын в отношении некоторого господина и определяю его как моего отца, возникает нечто, как кажется, совершенно невещественное, но столь же весомое, как и связывающее нас рождение плоти, и даже более весомое в человеческих отношениях. Поскольку даже до того, как я буду способен произносить слова "отец" и "сын", и даже потеряй он уже рассудок и способность произносить эти слова, – вся система нашего ближайшего человеческого окружения уже определит нас, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как отца и сына.

Итак, диалектика собственного Я и другого трансцендируется, помещается на более высокий уровень посредством отношения к другому, посредством одной только функции системы языка, поскольку язык более или менее тождественен или во всяком случае находится в существенной связи с тем, что мы называем правилом или, еще лучше, – законом. Всякий раз вмешательство закона создает нечто новое. Его вмешательство трансформирует каждую ситуацию, за исключением тех моментов, когда мы говорим, чтобы ничего не сказать.

Однако даже это, как я уже однажды объяснял, имеет свое значение. Такая реализация языка, которая служит лишь тому, чтобы, "как стертая монета, переходить из рук в руки в молчании" (эту фразу Малларме я цитировал в моем римском докладе) – выявляет в чистом виде функцию языка, состоящую в том, чтобы уверить нас в собственном существовании – и ничего более. То, что мы способны говорить, чтобы ничего не сказать, столь же показательно как то, что, говоря, обычно имеют в виду какую-то цель. Поразительно то, сколь многочисленны случаи,

когда люди говорят, хотя можно было бы и промолчать. Однако промолчать – это как раз самое сложное.

Что ж, мы вступили на тот элементарный уровень, где язык непосредственно присоединяется к нашим первым опытам, поскольку сама жизненная необходимость делает человеческую среду средой символической.

Для того чтобы понять влияние символического отношения на примере моей схемы, достаточно предположить, что поворот зеркала, представляющий субъекту в другом, другом абсолютном, различные обличья его желания, происходит вследствие вмешательства языковых отношений. Между измерением воображаемого и символической системой существует связь – существует в той мере, в которой вписывается в эту систему история субъекта, т. е. не развитие, *Entwickelung*, а именно *Geschichte*, то, в чем субъект соответственно распознает себя в прошлом и будущем.

Я понимаю, что мое изложение слишком бегло, но я еще вернусь к этому вопросу более подробно.

Прошлое и будущее в точности соответствуют друг другу. Однако направление этого соответствия вполне определенно указано анализом – не от прошлого к будущему, как вы могли бы подумать. Напротив, в самом анализе, поскольку техника его действенна, все благополучно происходит от будущего к прошлому. Вы можете подумать, что занимаетесь отыскиванием прошлого больного в старом мусоре, однако, наоборот, лишь благодаря тому факту, что у больного есть будущее, вы можете продвигаться в обратном направлении.

Я не могу тут же объяснить вам причину такого положения вещей. Я продолжаю.

Все человеческие существа участвуют в символическом универсуме. Они гораздо более включены в него и переживают его влияние, нежели сами конституируют его. Они в гораздо большей степени являются его носителями, нежели действующими факторами. Именно вследствие влияний символов, символического построения истории человека происходят изменения, в которых субъект бывает готов признать своими меняющиеся, раздробленные, изломанные, порою даже не сложившиеся и регрессивные образы. Именно это можем мы наблюдать как в

нормальных *Vorbilden* повседневной жизни субъекта, так и более направленно – в анализе.

Что же здесь выступает как бессознательное и предсознательное?

Придется сегодня так и оставить вас без этого лакомого кусочка. Однако даже в первом приближении к этому вопросу в рамках сегодняшней беседы, речь здесь идет о некоторых различиях или, точнее, невозможностях, связанных с историей субъекта именно в той степени, в какой в эту историю вписано его развитие.

Мы попытались высветить значение двусмысленной формулы Фрейда, *zeitlich-Entwickelungsgeschichte*. Однако ограничимся историей и скажем, что именно в силу определенных особенностей истории субъекта существуют определенные части реального изображения или определенные внезапные фазы. Но нужно так же понимать, что такая связь подвижна.

Во внутрианалитической игре некоторые фазы (phases) или некоторые лики (faces) – воспользуемся тут игрой слов – реального образа никогда не могут быть даны в виртуальном изображении. Напротив, все, что становится доступным виртуальному изображению путем простого передвижения зеркала и что вы можете увидеть от реального образа в изображении виртуальном, – следует, скорее, отнести к предсознательному. Тогда как те части реального изображения, которые никогда не бывают видны, где механизм заедает, блокируется – ограничимся лишь этими метафорами – представляет собой бессознательное.

Если вы думаете, что поняли сказанное, то, конечно же, ошибаетесь. Вы еще увидите, сколько сложностей связано с понятием бессознательного, и я лишь стремлюсь представить вам их самые общие черты. С одной стороны, бессознательное является, как я только что определил, чем-то негативным, недоступным по сути, с другой стороны, это нечто квазиреальное. Наконец, это нечто, что будет реализовано в символическом или, точнее, благодаря процессу символического в анализе *станет бывшим*. Следуя текстам Фрейда, я покажу вам, что понятие бессознательного должно удовлетворять трем данным вехам.

Однако я хотел бы сразу же проиллюстрировать третий пункт, ведь его появление, возможно, вас удивляет.

Не будем забывать, что сначала Фрейд объясняет вытеснение как фиксацию. Но в момент фиксации нет ничего, что было бы вытеснением, – вытеснение в случае с человеком с волками происходит после фиксации. *Verdrängung* всегда является *Nachdrängung*. И кроме того, как объяснить возвращение вытесненного? Сколь бы парадоксальным это ни казалось, но есть лишь единственная возможность найти этому объяснение – оно исходит не из прошлого, но из будущего.

Чтобы дать вам верное представление о том, что такое возврат вытесненного в симптоме, необходимо обратиться к метафоре, которую я почерпнул у кибернетиков, – мне не придется в этом случае изобретать ее самому, поскольку не следует слишком изощряться в изобретательности.

Винер предлагает рассмотреть двух персонажей, временное измерение которых было бы обратным одно другому. Конечно, этим еще ничего не сказано, и именно таким образом вещи, которые еще ничего не говорят, вдруг получают некоторое значение, но совсем в другой области. Если один посылает другому сообщение, например, квадрат, то персонаж, движущийся по времени в обратном направлении, увидит, как квадрат исчезает, перед тем как увидеть сам квадрат. И то же самое наблюдаем мы. Симптом сначала предстает нам как след, который лишь следом и будет и останется всегда непонятным до тех пор, пока анализ не продвинется достаточно далеко и мы не реализуем смысл. Точно так же можно сказать, что подобно *Verdrängung*, являющемуся всегда лишь *Nachdrängung*, – то, что мы видим в качестве возврата вытесненного, является стертым сигналом чего-то, что получит свое значение лишь в будущем посредством его символической реализации, его вписывания в историю субъекта. Буквально говоря, это всегда будет чем-то, что в конкретный момент исполнения *станет бывшим*.

С помощью моей схемки вы сможете лучше это увидеть. Я открою вам мой небольшой секрет – я каждый раз что-нибудь к ней прибавляю. Я не открываю ее целиком, как Минерву, вышедшую из головы Юпитера, – ведь я совсем не Юпитер. Мы будем следовать нашей схеме до тех пор, пока она нам не надоест – тогда мы оставим ее. Но пока она еще послужит нам, показывая строение трех ликов бессознательного, без которых его

понимание невозможно, и исключая все противоречия, выделенные г-ном Перье в тексте Фрейда.

Сегодня мы на этом остановимся. Я еще не показал вам, почему аналитик находится на месте виртуального образа. Тогда, когда вы это поймете, вы будете уже более или менее разбираться в том, что происходит в анализе.

7 апреля 1954 года.



ПО ТУ СТОРОНУ ПСИХОЛОГИИ

XIII

ОПРОКИДЫВАНИЕ ЖЕЛАНИЯ

Смешение языков в анализе
Рождение Я (Je).
Непризнавание не есть незнание.
Мистическая интроекция.
Об изначальном мазохизме.

Мы начинаем третий семестр, который, слава Богу, будет коротким.

Прежде чем нам расстаться в этом году я думал заняться случаем Шребера. Мне нравилась эта идея; к тому же, учитывая, что это будет полезно нам в самых различных целях, я поручил перевести оригинал текста президента Шребера – текста, над которым работал Фрейд и на обращении к которому он настаивал. Впрочем, совету этому и по сю пору вряд ли кому удастся последовать, так как найти данную работу невозможно – насколько мне известно, в Европе существует лишь два ее экземпляра. Мне удалось раздобыть один из них и сделать с него два микрофильма – для себя и для библиотеки Французского психоаналитического общества.

Произведение Шребера – это захватывающее чтение. На его основе можно составить полное описание паранойи а также дать ценное истолкование механизму психозов. Г-н Ипполит говорил, что мое знание исходит из знания параноического – если так оно и есть, я надеюсь, что оно ушло от него достаточно далеко.

Тут есть дыра. Но мы не станем сразу же в нее лезть, чтобы не оказаться ненароком ее узниками.

До настоящего момента мы занимались изучением "*Работ по технике психоанализа*" Фрейда. Я думаю, что теперь нельзя не продолжить сопоставление, которое неявно я проводил постоянно, с современной техникой анализа или тем, что можно было бы назвать ее, в кавычках, "*последними достижениями*". Имплицитно я ссылался на получаемое вами в ходе контрольно-

го анализа обучение, согласно которому психоанализ – это анализ сопротивлений, систем защит "собственного Я". Центральные моменты такой концепции остаются плохо очерченными, и мы можем ориентироваться лишь на обучение конкретное, но не систематизированное, порой даже толком не сформулированное.

Всем известно, сколь мало существует аналитической литературы, касающейся техники психоанализа, но все же некоторые авторы высказывались по этому вопросу. Книги, в собственном смысле слова, им создать не удалось, но написаны статьи – и что любопытно, некоторые из них, притом из наиболее интересных, так и остались незаконченными. В своей совокупности эти тексты достаточно объемны, и я надеюсь, что смогу рассчитывать на вашу помощь, если предложу некоторым из вас просмотреть эти тексты.

Прежде всего надо отметить три статьи Сакса, Александера и Радо, составленные на основе их выступлений на Берлинском симпозиуме. Эти работы должны быть знакомы вам, если вам приходилось углубляться в книгу Фенихеля.

Затем на Мариенбадском конгрессе состоялся симпозиум относительно так называемых результатов анализа. В действительности речь шла скорее не о результатах, а о процедуре, приводящей к таким результатам. Уже здесь вы можете наблюдать зарождение и даже расцвет того, что я называю смешением языков в анализе, то есть крайнюю разноголосицу представлений о путях активного воздействия в аналитическом процессе.

Наконец, третий этап – это настоящий момент. В первую очередь тут нужно отметить недавние наработки по теории эго тройки американских исследователей – Гартманна, Левенштейна и Криса. Эти работы порой весьма озадачивают своего рода умножением понятий. В них беспрестанно говорится о "*десексуализированном*" либидо – едва ли не "*делибидинизованном*" – или о "*дезагрессивированной*" агрессивности. Функции собственного Я все больше и больше отводится та проблематичная роль, которую получила эта функция еще в работах Фрейда, относящихся к третьему периоду – данный период был оставлен за пределами нашего исследования, где мы ограничились лишь рассмотрением "собственного Я" среднего периода 1910-

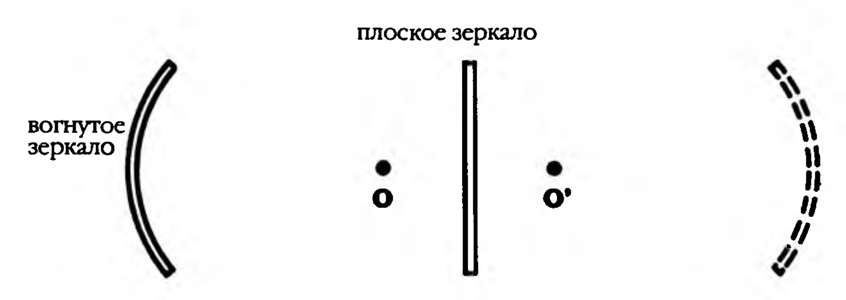
1920, когда вместе с понятием нарциссизма Фрейд начинает разрабатывать то, что станет последней теорией "собственного Я". Прочитайте сборник, названный во французском издании "*Психоаналитические эссе*" и объединивший работы "*По ту сторону проинципа удовольствия*", "*Коллективная психология и анализ человеческого Я*", "*Я и Оно*" (*le Moi et le Soi*). Мы не сможем проанализировать его в этом году, но такой анализ был бы необходим тем, кто хотел бы понять, какое развитие получила теория лечения у названных авторов. Начиная с 1920 года все теории лечения ориентировались именно на последние формулировки Фрейда. По большей части крайне неумело, ведь понять то, что было сказано Фрейдом в этих трех поистине монументальных работах, чрезвычайно сложно, если не углубляться в сам генезис понятия нарциссизма. Я уже попытался продемонстрировать вам это в связи с анализом сопротивлений и переноса в "*Работах по технике психоанализа*".

1

По сути, путь, которому я следую, является дискурсивным. Я стараюсь поставить перед вами вопросы, исходя из текстов Фрейда. Но время от времени все же необходимо обобщать вещи в виде дидактической формулы и связывать воедино различные формулировки, которые получали эти вопросы в истории психоанализа.

Я лишь стремлюсь найти компромиссный выход, представляя вам модель, которая не претендует быть системой, но лишь изображением, созданным с целью сопоставлений. Вот зачем я потихоньку подвел вас к той оптической схеме, которая начала у нас складываться.

Это устройство уже должно быть теперь вам привычно. Я показал вам, каким образом можно представить, что реальный образ, полученный в вогнутом зеркале, возникает внутри субъекта, в точке, названной нами O. Субъект видит данный реальный образ в качестве образа виртуального в плоском зеркале, в точке O', при условии, что сам он занимает виртуальную позицию, симметричную относительно плоского зеркала.



Упрощенная схема двух зеркал

Итак, мы имеем две точки: О и О'. Почему О и О'? Так, одна маленькая девочка – виртуальная женщина, а значит, существо гораздо более вовлеченное в реальное, чем существа мужского пола, – сказала однажды очень забавную вещь: "Ах, не стоит думать, что вся моя жизнь пройдет в О и О'". Бедняжка! Как и у всех остальных, твоя жизнь пройдет в О и О'. Но ведь она сказала нам, к чему она стремилась. В ее-то честь я и назову такие точки О и О'.

Уже с этим нам надо бы разобраться.

Вопреки всему, нужно исходить из О и О'. Как вы уже знаете, речь идет о том, что имеет отношение к образованию *Ideal-Ich*, а не *Ich-Ideal* – другими словами, о воображаемом, зрительном, по сути, происхождении собственного Я. Вот что я попытался дать вам понять на примере определенных текстов, из которых самым главным является "*Zur Einführung des Narzissmus*".

Я надеюсь, вы уловили в этом тексте тесную связь между образованием объекта и образованием собственного Я. Именно потому что они находятся в строгом соответствии друг другу, появляясь, на самом деле, одновременно, и зарождается проблема нарциссизма. На этом этапе развития мысли Фрейда либидо оказывается подчиненным иной диалектике, нежели его собственная – я назвал бы ее диалектикой объекта.

Нарциссизм не является обогащенным и усложненным отношением биологического индивида к его природному объекту. Существует особое нарциссическое инвестирование. При этом либидо инвестируется в то, что может быть понято иначе, нежели образ эго.

Я довольно грубо представляю вещи. Можно было бы выразить их языком более оформленным, философским, но я хотел,

чтобы вы могли их четко увидеть. Совершенно очевидно, что начиная с определенного момента развития фрейдовского опыта все его внимание сосредотачивается на воображаемой функции "собственного Я". После Фрейда вся история психоаналитической мысли становится возвратом к хотя и не традиционной, но академической концепции "собственного Я" как психологической функции синтеза. Однако если "собственное Я" имеет свой вес в человеческой психологии, оно может быть представлено лишь в транс-психологической плоскости, или, как без обиняков говорит Фрейд – ведь Фрейд, несмотря на все его затруднения, связанные с формулировками, относящимися к "собственному Я", никогда не терял основной нити – "*метапсихологической*".

Что иное может это означать, как не "по ту сторону психологии"?

2

Сказать "*Я*" – что это такое? Что это – то же самое, что и психоаналитическое понятие *эго*? Вот из чего нам следует исходить.

Употребляя слово "*Я*", вы не можете не знать, что "*Я*" прежде всего отсылает нас к психологии, в том смысле, что, когда речь идет о наблюдении за происходящим в жизни человека, перед нами не что иное, как психология. Как научается человек говорить это "*Я*"?

"*Я*" является словесным выражением, обучение употреблению которого происходит в некоторой отнесенности к другому – речевой отнесенности. "*Я*" рождается в отнесенности к "*Ты*". Всем известно, сколько всего было тут выдумано психологами – отношение взаимности, например, которое устанавливается или нет и которое определяет какой-то этап в интимном развитии ребенка. Как будто бы можно таким образом обрести какую-то уверенность и вывести такое развитие из первой неловкой попытки ребенка разобраться с личными местоимениями. Ребенок повторяет сказанную ему фразу вместе с услышанным "*Ты*", вместо того чтобы заменить его на "*Я*". Речь идет о затруднении в усвоении языка, и мы не имеем права выходить за его пределы. Однако и этого уже нам достаточно для того чтобы убедиться, что "*Я*" устанавливается прежде всего в опыте языко-

вой деятельности, в отнесенности к "*Ты*", а именно, в некотором отношении, где другой нечто высказывает ребенку – приказы, желания, которые ребенок должен признать и которые исходят от его отца, матери, воспитателей, а также от его ровесников и товарищей.

Очевидно, что сначала шансы того, что ребенок даст знать о своих желаниях, крайне незначительны, если только он не сделает этого самым непосредственным образом. Мы ничего не знаем, по крайней мере – поначалу о той конкретной точке резонанса, где располагается в представлении маленького субъекта индивид. Вот в чем его проблема.

Как же, в самом деле, мог бы он дать знать о своих желаниях? Он ничего о них не знает. Скажем, что у нас есть все основания полагать, что он ничего о них не знает. Именно об этом свидетельствует наш аналитический опыт со взрослым. В самом деле, взрослому приходится отыскивать свои желания. Иначе он не нуждался бы в анализе. Это достаточное указание на его отделенность от того, что относится к его "собственному Я", а значит, от того, что он может дать знать о себе самом.

Я сказал – "*он ничего о них не знает*". Довольно расплывчатая формула, но анализ лишь поэтапно предоставляет нам знание – вот почему помимо всего прочего интересно для нас проследить за прогрессом творчества Фрейда. Теперь я поясню данную формулу.

Что такое незнание? Это, безусловно, диалектическое понятие, поскольку единственно в перспективе истины оно устанавливается как таковое. Если субъект не полагает себя в отнесенности к истине, то нет и незнания. Если субъект не станет задаваться вопросом, что он есть и что он не есть, то не будет основания для существования истины и лжи, как и стоящих за ними реальности и видимости.

Однако будем внимательны. Мы начали углубляться в философию. Скажем, что незнание устанавливается как полярная противоположность в отношении виртуальной позиции истины, которую предстоит найти. Таким образом, это и есть состояние субъекта в той мере, как он говорит.

В анализе, с того момента как мы имплицитно вовлекаем пациента в изыскание истины, мы начинаем конституировать его

незнание. Именно мы создаем данную ситуацию, а следовательно, и незнание в ней. Если же мы говорим, что собственное Я не знает ничего о желаниях субъекта, то именно потому, что разработка опыта в мысли Фрейда нас тому учит. Итак, данное незнание уже не является простым незнанием. Вот что конкретно выражено процессом *Verneinung* и что в статической совокупности субъекта называется непризнаванием.

Непризнавание не есть незнание. Непризнавание представляет собой определенную организацию утверждения и отрицания, к которой привязан субъект, и оно немыслимо без соответствующего ему знания. Если субъект может нечто непризнавать, значит он необходимым образом должен знать, вокруг чего совершается действие данной функции. Позади непризнавания субъекта необходимым образом существует определенное знание того, что ему приходится непризнавать.

Возьмем человека в бреду, упорствующего в непризнавании смерти одного из его родственников – было бы ошибкой думать, что он путает его с живым. Он не признает или отказывается признать, что тот умер. Однако вся деятельность, обнаруживаемая его поведением, указывает на то, что он знает, что некоторых вещей он не желает признавать.

Что же это за непризнавание, скрывающееся за функцией "собственного Я", которая является по сути своей функцией знания? Вот ключевой пункт нашего исследования проблемы "собственного Я". Возможно, именно таково фактическое, действительное происхождение нашего опыта – в присутствии того, кто является анализируемым, мы занимаемся мантикой, иначе говоря, истолкованием, которое имеет целью выявить по ту сторону языка субъекта, двусмысленного в плане познания, некоторую истину. Чтобы продвинуться вперед в этом регистре, необходимо задаться вопросом, что представляет собой знание, направляющее непризнавание и его ориентирующее.

У животного знание является коаптацией, коаптацией в воображаемом. Структурирование мира в форме *Umwelt* происходит путем проецирования определенного количества связей, *Gestalten*, которые организуют этот мир и определяют его специфику для каждого животного.

Так, исследователи психологии поведения животных, этологи, считают врожденными у животного некоторые механизмы структурирования, определенные пути высвобождения накопленной энергии. Мир животного – это среда, в которой оно развивается. В этой среде неопределенность реальности пронизана и разделена теми путями, которых придерживается животное в своем поведении, отдавая им предпочтение в первую очередь.

У человека вы не обнаружите ничего подобного. Аналитический опыт выявляет полную анархию его первичных влечений. Его отдельные поступки, его отношение к объекту – объекту либидинальному – подчинены различным случайностям. Все попытки синтеза не имеют успеха.

Что же у человека соответствует такому врожденному знанию, которое настолько руководит жизнью животного?

Здесь необходимо особо выделить ту функцию, которую играет у человека образ его собственного тела, – заметив при этом, что у животного также значение его крайне велико.

Тут я позволю себе маленький скачок, поскольку полагаю, что мы уже достаточно много говорили об этом с вами.

Вам известно, что поведение перед зеркалом ребенка в возрасте от шести до восемнадцати месяцев дает нам возможность судить о фундаментальном отношении человека к образу. На протяжении всего данного периода ребенок ликует перед зеркалом, что в прошлом году мне удалось показать вам в фильме г-на Жезеля, который – уж поверьте мне – ничего не слышал о моей стадии зеркала и который никогда не задавался вопросами аналитического толка. Тем лишь ценнее становится тот факт, что в фильме столь четко выделен этот знаменательный момент. Конечно, нельзя сказать, что сам автор вправду подчеркивает главное отличие такого момента – его захватывающий характер. Ведь важнее всего не появление подобного поведения в возрасте шести месяцев, а его закат в восемнадцать месяцев. Внезапно все поведение меняется, как я показывал это в прошлом году, и становится лишь видимостью, *Erscheinung*, опытом среди других, на которые направлена контролирующая деятельность и игры, осваивающие предметы в их орудийной функции. Все признаки, в предыдущей фазе столь ярко выраженные, здесь пропадают бесследно.

Чтобы объяснить то, что происходит, я прибегнул бы к одному термину, который благодаря определенной литературе должен был стать для вас по крайней мере привычным – мы употребляем подобные термины без строгого различия, но они все же соответствуют у нас определенной ментальной схеме. Вам известно, что в момент заката эдипова комплекса совершается так называемая "*интроекция*".

Только не торопитесь давать этому термину слишком конкретное значение. Скажем, что он используется тогда, когда происходит как бы инверсия – то, что было снаружи, оказывается внутри, то что было отцом, становится сверх-Я. Нечто произошло на уровне того невидимого, немыслимого субъекта, который никогда не бывает назван как таковой. Где? На уровне "собственного Я" или на уровне Оно? – Между ними. Именно поэтому его назвали супер-эго.

Но тут уже начинается квази-мифология для знатоков, в которой истощаются обычно наши умы. В конце концов это вполне приемлемые схемы – ведь мы всегда живем в мире приемлемых схем. Но спросите какого-нибудь аналитика: "*Вы в самом деле считаете, что тогда ребенок пожирает своего отца, и то, что попадает к нему в живот, становится сверх-Я?*".

Мы поступаем так, словно все само собой разумеется. И совершенно невинные способы употребления термина "интроекция" могут завести нас очень далеко. Представьте себе этнолога, слыхом не слыхивавшего ни о каком психоанализе и попавшего вдруг сюда чтобы послушать нас. Он сказал бы: "*Эти пациенты, пожирающие мелкими кусочками своего аналитика, – любопытный первобытный народ*".

Загляните в книгу Бальтазара Грациана, значительнейшего, на мой взгляд, автора, – господа Ницше и Ларошфуко выглядят жалко рядом с его "*Придворным*" и "*Критиканом*". Раз уж люди верят в причастие, почему бы им не думать, что Христа поедают, а как лакомство съедают мочку его уха? Почему бы им не составить меню причастия? Для тех, кто верит в пресуществление, тут ведь нет ничего из ряда вон выходящего. Но как же дело обстоит с остальными, с нами, аналитиками, интересующимися наукой и привыкшими прислушиваться к голосу разума? То, о чем пишут господин Штекель и прочие авторы в своих работах, является, в

конечном итоге, лишь постепенной интроекцией аналитика, а постороннему наблюдателю не оставалось бы ничего иного, кроме как перевести ее в мистическую плоскость причастия.

И все же это довольно далеко от нашей действительной мысли – в той мере как мы мыслим. Но, слава богу, нас извиняет то, что мы не думаем. Полагать, что люди действительно думают то, что говорят, – одно из самых больших и постоянных заблуждений.

Мы не думаем, но это не повод для того, чтобы отказаться от попытки понять, почему слова столь явно безрассудные все же были произнесены.

Итак, продолжим. Тот момент, когда исчезает стадия зеркала, напоминает в какой-то степени момент опрокидывания, происходящего на определенных этапах психологического развития. Мы можем проследить его в феноменах транзитивизма, где видно, как происходит уравновешивание для ребенка между его действием и действием другого. Ребенок говорит: "*Франсуа ударил меня*", тогда как ударил Франсуа он сам. При этом между ним и ему подобным оказывается неустойчивое зеркало. Как объяснить такие феномены?

Это момент, когда именно посредством образа другого у ребенка происходит восторженное усвоение себе господства, им еще не достигнутого. Субъект оказывается вполне способным внутренне усвоить себе такое господство, опрокинуть его в себя.

Безусловно, такое усвоение доступно ему лишь в состоянии пустой формы. Данная форма, оболочка господства столь определенна, что хотя ход мыслей Фрейда был отличен от моего, он не смог, прослеживая динамику либидинального инвестирования, подобрать в данном случае иного выражения – прочтите "*Я и Оно*" (*le Moi et le Ça*). Когда Фрейд говорит об эго, речь вовсе не идет о чем-то резком, определяющем, императивном, что сближало бы его с тем, что в академической психологии называется "*высшими инстанциями*". Фрейд подчеркивает, что оно сильно походит на поверхность тела. Здесь имеется в виду не чувствительная, сенсорная, испытывающая воздействия поверхность, а поверхность в той мере, как она выразилась в форме. Не существует формы, которая была бы лишена поверхности, форма задана поверхностью – различием в идентичном, т. е. поверхностью.

Субъект усваивает себе образ формы другого. Вот та расположенная внутри субъекта поверхность, благодаря которой в человеческой психологии возникает отношение внешнего к внутреннему и посредством этого отношения субъект мыслит себя, знает себя как тело.

Кроме того, это единственное, в самом деле основополагающее отличие человеческой психологии от психологии животного. Человек мыслит себя как тело, хотя ничто не предполагает такого знания о себе, ведь он находится внутри. Животное также находится внутри, но у нас нет никаких оснований предполагать, что животное таковым себя представляет.

Именно в этом движении опрокидывания, обмена с другим, человек узнает себя как тело, как пустую форму тела. Точно так же все, что пребывает в нем в состоянии чистого желания, желания первоначального, неконституированного и невнятного, выражающегося в крике младенца, – окажется обращенным в другого, и лишь тогда ребенок научится его распознавать. Он научится, так как еще не умеет этого, поскольку мы еще не подключили коммуникацию.

Такое предшествование является не временным, а логическим – мы пришли к нему путем дедукции. Однако это нисколько не умаляет его значения, ведь оно позволяет нам различить плоскости символического, воображаемого и реального, без которых всякий прогресс в аналитическом опыте едва ли обойдется без использования понятий, граничащих с мистикой.

До тех пор пока желание не научится узнавать себя – скажем же, наконец, это слово – посредством символа, оно видимо лишь в другом.

Первоначально, до подключения языковой деятельности, желание существует единственно в плоскости воображаемого соотношения зрительной стадии – проецированным и отчужденным в другом. Таким образом, возникающее при этом напряжение не находит выхода. А значит, у нее нет иного выхода – как учит нас Гегель, – чем разрушение другого.

В условиях этого воображаемого соотношения желание субъекта может утвердиться лишь в конкуренции, абсолютном соперничестве с другим в отношении объекта, к которому тяготеет желание. И всякий раз, когда в работе с субъектом мы к это-

му изначальному отчуждению приближаемся, мы наблюдаем возникновение острейшей агрессивности – желания исчезновения другого, в той мере, в какой он является носителем желания субъекта.

Наши замечания совпадают здесь с тем, что наблюдает в поведении человека простая психология. Так, я нередко повторял фразу святого Августина, где он говорит о сокрушительной, неистовой ревности, которую испытывает малютка к ему подобному, главным образом тогда, когда тот припадает к груди его матери, то есть затрагивает основной для него объект желания.

И в этом состоит главная зависимость. Отношение, существующее между субъектом и его *Urbild*, его *Ideal-Ich*, посредством чего субъект включается в функцию воображаемого и научается знанию о себе как о форме, всегда может оказаться опрокинутым. Каждый раз, как субъект воспринимает себя в качестве формы и в качестве собственного Я, каждый раз, как он конституирует себя в своем статусе, в своей стати, в своей статике, его желание проецируется вовне. Откуда и вытекает невозможность всякого человеческого сосуществования.

Но, слава богу, субъект живет в мире символа, т. е. в мире говорящих других. Вот почему его желание может быть опосредовано и признано. Иначе вся человеческая деятельность исчерпывалась бы беспредельным стремлением к уничтожению другого как такового.

И наоборот, каждый раз, как в феномене другого появляется нечто, что позволяет субъекту вновь спроецировать, вновь восполнить, "*напитать*", как сказал как-то Фрейд, образ *Ideal-Ich*; каждый раз, как аналогичным образом воссоздается восторженное принятие стадии зеркала; каждый раз, как субъект бывает увлечен одним из ему подобных – желание возвращается в субъекта. Но возвращается оно вербализованным.

Другими словами, каждый раз при осуществлении объектных идентификаций *Ideal-Ich* – возникает *Verliebtheit*, феномен, на который я с самого начала обращал ваше внимание. Различие между *Verliebtheit* и переносом состоит в том, что *Verliebtheit* не вызывается автоматически – для этого необходим ряд условий, определенных развитием субъекта.

В статье о "*Я и Оно*" – которую не читают внимательно, поскольку помнят лишь о пресловутой дурацкой схеме со стадиями, маленькой линзой, поверхностями, и этой штуковиной внутри, названной Фрейдом супер-Эго; почему-то выделяют именно эту схему, тогда как у Фрейда есть, конечно, и другие – Фрейд пишет, что собственное Я создано последовательностью идентификаций субъекта с его любимыми объектами, позволившими ему обрести свою форму. Собственное Я по своему складу похоже на луковицу, его можно было бы распотрошить и обнаружить все последовательные идентификации, образовавшие его в свое время. И это также написано в только что упомянутых мной статьях.

Постоянное обращение желания в форму и формы в желание, другими словами, сознания и тела, желания, поскольку оно является частичным, в любимый объект, в котором субъект буквально утрачивает себя и с которым он себя идентифицирует, – является основным механизмом, вокруг которого разворачивается все, что относится к эго.

Важно понимать, что такие игры – это игры с огнем и приводят они к немедленному истреблению, лишь только субъект окажется способным что-либо сделать. И поверьте мне, он очень быстро приобретает такие способности.

Помните ту маленькую девочку, о которой я только что рассказывал вам и которая вовсе не отличалась особой свирепостью – гуляя в саду во время своего пребывания в деревне, она, едва научившись ходить, в совершенном спокойствии настойчиво стремилась влепить здоровым камнем по голове своему маленькому соседу, который был центром ее первых идентификаций. Вовсе не требуется совершенного владения двигательным аппаратом для того, чтобы самым непосредственным способом, и я даже должен сказать, с полным триумфом осуществить жест Каина. Девочка не испытывала ровно никакого чувства вины – "*Я сама разбить голову Фрэнсису*". Эту фразу она произнесла твердо и спокойно. Но я вовсе не пророчу ей будущего преступницы. Ее поступок лишь выявляет основополагающую структуру человеческого существа в воображаемой плоскости – разрушить того, кто таит в себе отчуждение.

Вы хотите что-то сказать, г-н Гранов?

3

Д-р Гранов: – *Как на данном этапе следует понимать мазохистский исход стадии зеркала?*

Лакан: – Предоставьте мне немного времени. Я как раз и собираюсь вам это объяснить. Но если мы станем называть это “мазохистским исходом”, в опущенных сумерках нам уже не определить цвета кошки.

Мазохистский исход – я никогда не отказываюсь рассмотреть ваши вопросы, даже если они уводят в сторону от нити моего изложения – мы не сможем с ним разобраться без измерения символического. Он располагается на стыке воображаемого и символического. Именно в этой точке стыка располагается в своей структурирующей форме то, что обычно называют первичным мазохизмом. Здесь же следует поместить и так называемый инстинкт смерти, конституирующий фундаментальную позицию человеческого субъекта.

Не нужно забывать, что Фрейд, выделяя функцию первичного мазохизма, говорит о ее воплощении в игре ребенка. А точнее, тому малышу было восемнадцать месяцев. Мучительное напряжение, вызванное неизбежным опытом присутствия и отсутствия любимого объекта, пишет Фрейд, ребенок замещает игрой, в которой он сам манипулирует отсутствием и присутствием как таковыми и находит удовольствие в господстве над ними. Он делает это при помощи маленькой катушки на нитке, выбрасывая и возвращая ее назад.

Поскольку моей целью здесь является не выстраивать собственную диалектику, но попытаться найти ответы на поставленные Фрейдом вопросы и разъяснить основания его мысли, я сделал бы упор на том, что сам Фрейд не подчеркивает, но что, тем не менее, очевидно, – как обычно, его наблюдения позволяют дополнить теоретическое представление. Так, игра с катушкой сопровождается вокализацией, показательной в плане того, что, с точки зрения лингвистов, является основанием языка и что позволяет уловить проблематику языка – а именно, простой оппозиции.

Важно не то, что ребенок говорит слова *Fort/Da*, что на его родном языке значит *Прочь/Здесь* – к тому же произносит он их очень приблизительно. Важно то, что это первое в жизни про-

явление языковой деятельности. В данной фонематической оппозиции ребенок трансцендирует, переносит в плоскость символического феномен присутствия и отсутствия. Он оказывается господином вещи как раз по мере того как ее и разрушает.

Время от времени мы читаем отрывки текстов Фрейда, теперь же мы впервые обратимся к тексту Жака Лакана. Недавно я перечитывал его и нашел его вполне вразумительным. Правда, я занимал при этом привилегированное положение.

Вот что я писал: – "*Речь идет о тех играх сокрытия-обнаружения, которые Фрейд благодаря его гениальной интуиции представил нашим взорам, чтобы мы смогли распознать в моменте очеловечивания желания рождение ребенка в язык. Сегодня мы уже можем уловить, что субъект не только овладевает в них своим лишением, принимая его*, – как говорил Фрейд, – *но и возводит в них свое желание во вторую степень. Ибо его действие разрушает объект, который оно заставляет появляться и исчезать в провокации* – в собственном смысле слова, вокальными средствами, – *в предвосхищающей провокации его присутствия и отсутствия. Таким образом, действие это негативирует поле сил желания, чтобы стать самому своим собственным объектом. И данный объект, тотчас обретая тело в символической паре двух элементарных восклицаний, возвещает в субъекте диахроническую интеграцию дихотомии фонем* – т. е. по-просту говоря, это входная дверь в то, что уже существует, составляющие язык фонемы, – *чью синхронную структуру существующий язык предоставляет к ассимиляции; кроме того, вовлекается он уже и в систему конкретного дискурса его окружения, воспроизводя более или менее приблизительно своими* Fort *и* Da *слова, у этого окружения воспринятые* – именно извне заимствует он *Fort/Da*, – *и даже в его одиночестве желание маленького человечка стало желанием другого,* alter ego, *который доминирует над ним, и объект желания которого окажется отныне собственной заботой малыша*".

"*Обратится ли теперь ребенок к партнеру воображаемому или реальному, он с равным успехом увидит его послушание негативности своей речи, и если эффектом его призыва* – ведь не следует забывать, что когда он говорит *Fort*, объект находится

рядом, а когда он говорит *Da*, объект отсутствует, – *станет исчезновение этого партнера, то в изгоняющем утверждении он будет искать* – он очень рано познает силу отказа, – *провокацию возврата, где желание получит свой объект обратно*".

Итак, вы видите, что – еще до введения "нет", отказа другого, где субъект научается конституировать себя, как показал нам это г-н Ипполит, – негативация простого призыва, явление простой пары символов перед лицом феномена контраста присутствия и отсутствия, т. е. введение символа, меняет позиции местами. К отсутствию взывает присутствие, а присутствие – к отсутствию.

Все это кажется само собой разумеющимися пустяками. Однако над этим стоит подумать и еще раз проговорить. Ведь поскольку символ делает возможным такую инверсию, то есть аннулирует существующую вещь, постольку происходит открытие мира негативности, конституирующего одновременно речь человеческого субъекта и реальность его мира как мира человеческого.

Вот эту первую негативацию, это изначальное убийство вещи и следует считать центром первичного мазохизма.

4

И еще несколько слов в заключение.

Я намечал продвинуться немного дальше, чем нам удалось это сделать. Тем не менее, я показал вам, что отчужденное желание постоянно реинтегрируется вновь, проецируя вовне *Ideal-Ich*. Именно так вербализуется желание. Здесь, словно на качелях, опрокидываются друг в друга, меняясь местами, два соотношения противоположной направленности: зрительная соотнесенность с эго, которое субъектом усваивается и реализуется, и всегда готовая к возобновлению проекция в *Ideal-Ich*.

Первичное воображаемое отношение задает основные рамки всевозможного эротизма. Это условие, которому должен быть подчинен как таковой объект Эроса. Объектное отношение всегда должно быть подчинено нарциссическим рамкам и вписано в них. Конечно, данное отношение выходит за пределы нарциссизма, но лишь тем способом, который невозможно

осуществить в плоскости воображаемого. Вот почему для субъекта становится необходимым то, что я назвал бы любовью.

Человеческому существу требуется опора по ту сторону языка, в определенном пакте, обязательстве, которое, собственно говоря, конституирует его как другого, включает в общую, или точнее, универсальную систему межчеловеческих символов. В человеческом сообществе не может существовать функционально реализуемой любви иначе, чем через посредство определенного пакта, и какова бы ни была его форма, такой пакт всегда тяготеет вылиться в некоторую функцию одновременно внутри и вовне языка. Именно это называют функцией святыни, функцией, находящейся за пределами воображаемого отношения. К ней мы еще вернемся.

Быть может, я немного тороплюсь. Вам важно запомнить следующее: желание может быть реинтегрировано лишь в словесной форме, путем символического именования – вот что Фрейд называл вербальным ядром эго.

С этих позиций мы можем лучше понять аналитическую технику. Она строится на разрушении уз речевого отношения и требует порвать с учтивостью, уважением, послушанием другому. Термин "свободная ассоциация" крайне невыразителен – речь идет о том, чтобы порвать узы беседы с другим. И тогда субъект окажется в некоторой подвижности по отношению к тому универсуму языковой деятельности, куда мы его вовлекаем. В то время как он будет аккомодировать свое желание в присутствии другого, в плоскости воображаемого происходит качание зеркала, и оно позволит воображаемым и реальным вещам, которые обычно не сосуществуют для субъекта, предстать в определенной одновременности, или в определенных контрастах.

Тут возникают отношения по сути двусмысленные. Что пытаемся мы показать субъекту в ходе анализа? К чему стремимся мы подвести его в подлинной речи? Все наши попытки и указания имеют целью на этапе, когда мы освобождаем дискурс субъекта, лишить его всякой подлинной речевой функции – и путем какого же парадокса удается нам вернуться к ней вновь? Этот парадоксальный путь состоит в извлечении речи из языковой деятельности. Каково же, исходя из этого, значение феноменов,

имеющих место в промежутке между двумя данными этапами? Вот перспективы моего дальнейшего изложения.

В следующий раз я продемонстрирую вам последствия такого опыта свободного от уз дискурса, опыта колебания зеркала, делающего возможным игру качания от O к O' в конце правильно проведенных анализов. Балинт дает нам сенсационное определение того, что достигается обычно *"в конце тех редких анализов, которые можно считать завершенными"* – я использовал его собственное выражение. Балинт относится к числу тех редких людей, которые знают, что говорят, и, как вы увидите, его описания того, что происходит, довольно удручающи. Но речь идет о правильно проведенном анализе...

Кроме того, существует метод анализа, который обычно практикуется и является неправильным, как я показывал вам. Вы увидите, что *"анализ сопротивлений"* – это правомерное название, но вовсе не практика, соответствующая посылкам психоанализа.

5 мая 1954 года.

XIV

КОЛЕБАНИЯ ЛИБИДО

Агрессивность ≠ агрессии.
Слово "слон".
Узы речи.
Перенос и внушение.
Фрейд и Дора.

Итак, на чем мы остановились? Кто-то может помочь нам вопросом?

Д-р Пюжоль: – *Вы говорите* "желание другого". *Что вы имеете в виду – желание, существующее у другого, или мое желание в отношении другого? На мой взгляд, это не одно и то же. Если обратиться к тому, что вы говорили в конце прошлой лекции, то речь шла о желании, которое существует у другого и которое может перенять эго, разрушив другого. Но в то же время это желание эго в отношении другого.*

1

Не таково ли само изначальное зрительное основание отношения к другому, в той мере как оно укореняется в воображаемом?

Первое отчуждение желания связано с данным конкретным феноменом. Если игра имеет для ребенка свою ценность, то именно потому, что она конституирует плоскость отражения, где он видит, как другой проявляет деятельность, которая, будучи хоть сколько-нибудь более совершенной, более управляемой, нежели его собственная, предвосхищает ее, служит ее идеальной формой. И с этого момента такой первый объект приобретает свою ценность.

Уже преждевременность развития ребенка свидетельствует о том, что человеческий объект по существу отличается от объекта животного. Человеческий объект изначально опосредован соперничеством, ожесточением по поводу соперника, отношением престижа и представительности. Оно с самого начала яв-

ляется отношением, принадлежащим порядку отчуждения, поскольку именно в сопернике субъект сначала постигает себя как "собственное Я". Первое невыразимое переживаемое представление о целостности тела, первый всплеск аппетита и желания проходит у человеческого субъекта через посредство определенной формы, которую субъект видит сначала проецированной, внешней по отношению к нему, и прежде всего он увидит такую форму в своем собственном отражении.

Кроме того, человек знает, что он является телом – хотя он никогда не воспринимает его полностью: ведь он находится внутри; он все же знает это. Такой образ является кольцом, горлышком, через которое должен пройти пучок, смесь желания и потребностей, чтобы стать им, то есть чтобы получить доступ к его воображаемой структуре.

Выражение "*желание человека является желанием другого*" требует, как, впрочем, и остальные выражения, уместного применения. Оно может быть использовано в различных смыслах. Например, оно может иметь значение в плоскости, из которой мы исходили, в плоскости пленения воображаемым. Однако, как я говорил вам в конце прошлой лекции, дело лишь тем не ограничивается. Иначе, как я, в несколько мифологизированной форме, уже указывал, никакого другого возможного межчеловеческого отношения кроме взаимной и решительной нетерпимости к сосуществованию сознаний не существовало бы; ведь как выразился г-н Гегель – всякий *другой* оставался бы по сути тем, кто фрустрирует человеческое существо не только своим объектом, но самой формой своего желания.

В этом плане между людьми существуют деструктивные, смертельные отношения. И подспудно они присутствуют всегда. Политический миф *struggle for life* оказался годен для того, чтобы вместить в себя ряд вещей. Если г-н Дарвин выдумал его, то именно потому, что он принадлежал нации корсаров, для которой основным промыслом был расизм.

В действительности же все говорит против тезиса о выживании сильнейших видов. Это миф, противоречащий положению вещей. Все факты свидетельствуют о том, что каждому виду свойственны точки постоянства и равновесия и что жизнь различных видов подчиняется своего рода координации, касаю-

щейся также хищников и их жертв. Дело никогда не доходит до истребительного радикализма, который попросту привел бы к уничтожению хищного вида, оставшегося без пищи. Тесное межвидовое прилаживание, существующее в плоскости жизни, совершается не в смертельной борьбе.

Нам необходимо углубить понятие агрессивности, обычно используемое слишком грубо. Принято считать, что агрессивность – это агрессия. Ничего подобного. Лишь в пределе, виртуально, агрессивность разрешается в агрессию. Однако агрессия не имеет ничего общего с витальной реальностью, это экзистенциальный акт, связанный с воображаемым отношением. Вот ключ к переосмыслению проблем, и не только наших, в совершенно ином регистре.

Я попросил вас задать мне вопрос. И вы прекрасно сделали, что задали его. Удовлетворены ли вы моим ответом? Мне кажется, что в прошлый раз мы продвинулись немного дальше.

У человеческого субъекта желание реализуется в другом, посредством другого – у другого, как вы говорите. Вот оно, второе время, время зрительное, момент интеграции субъектом формы собственного Я. Однако он может его интегрировать лишь после первого опрокидывания, во время которого он обменял "собственное Я" на то желание, которое он видит в другом. И тогда желание другого, желание человека попадает в опосредование языка. Именно в другом, посредством другого именуется желание. Оно вступает в символическое отношение *я* и *ты*, в отношение взаимного признания и трансценденции, в порядок закона, уже готового к тому, чтобы включить в себя историю каждого индивида.

Я говорил вам о *Fort* и *Da*. Это пример того, каким образом ребенок непринужденно вступает в эту игру. Он начинает играть с объектом, а точнее, единственно с фактом его присутствия и отсутствия. Таким образом, это уже преобразованный объект, объект символической функции, объект обезжизненный и являющийся уже знаком. Когда объект находится рядом, ребенок гонит его прочь, а когда его здесь нет, он зовет его. Посредством таких первых игр объект как бы непринужденно переходит в плоскость языка. Проступает символ, который становится важнее объекта.

Я уже столько раз все это повторял, что если вы до сих пор не намотали себе это на ус...

Для человека слово или понятие являются не чем иным как словом в его материальности. Это даже вещь. Это не просто тень, дуновение, виртуальная иллюзия вещи, это сама вещь.

Поразмышляйте чуточку в реальном. Лишь потому что слово "*слон*" существует в человеческом языке и слон, таким образом, входит в человеческие расчеты, люди смогли принимать в отношении слонов, даже не притронувшись к ним, решения гораздо более серьезные для этих пахидермов, нежели все то, что может произойти в их собственной истории – переправа через реку или естественное истощение леса. Благодаря одному только слову "*слон*" и способу его использования человеком в жизни слонов случаются вещи, благоприятные или нет, счастливые или злополучные – во всяком случае, катастрофические – даже до того, как на слонов поднимутся лук или ружье.

Впрочем, это ясно, им нет нужды быть здесь – мне достаточно упомянуть о них, чтобы благодаря слову "*слон*" они здесь присутствовали и были гораздо реальнее конкретных существующих где-то особей.

Ипполит: – *Это из гегелевской логики.*

Лакан: – Что ж, она уязвима?

Ипполит: – *Нет, она не уязвима. Только что Маннони сказал, что это относится к политике.*

О. Маннони: – *Это грань, через которую подключается человеческая политика. В широком смысле. Если люди действуют не как животные, то именно потому, что они обмениваются своим знанием посредством языка. Следовательно, это относится к политике. Политика в отношении слонов возможна благодаря слову.*

Г-н Ипполит: – *Но не только.Достается и самому слону. Это как раз и есть гегелевская логика.*

Лакан: – Все это предваряет политику. Я хотел простонапросто наглядно показать вам значимость имени.

Пока что мы затронули лишь плоскость наименования. Тут нет еще даже синтаксиса. Но все же ясно, что синтаксис рождается в то же время. Как я уже отмечал, ребенок воспроизводит элементы таксиса раньше фонем. "*Столько раз*" появляется

иногда в полном одиночестве. Конечно, мы вовсе не вправе делать отсюда решительные выводы о логическом предшествовании, поскольку речь, собственно говоря, идет лишь о возникновении феноменов.

Я обобщу сказанное. За проекцией образа неизменно следует проекция желания. Соответственно, существует ре-интроекция образа и реинтроекция желания. Игра взаимоопрокидывания, игра в зеркале. Безусловно, такое соединение совершается не единожды. Оно повторяется. И в течение данного цикла ребенок реинтегрирует, усваивает вновь свои желания.

Теперь я хочу остановиться на том способе, каким план символического подключается к плану воображаемого. В самом деле, как вы видите, желания ребенка проходят сперва через зримого другого. Именно здесь они бывают одобрены или же получают осуждение, принимаются или отвергаются. Вот посредством чего ребенок привыкает к символическому порядку и получает доступ к его основанию – закону.

На этот счет также имеются экспериментальные свидетельства. Сьюзан Исаак отмечает в одном из своих текстов – да и в школе Келера обращают на это внимание, – что в очень раннем, еще младенческом возрасте, между восемью и двенадцатью месяцами ребенок реагирует совершенно по-разному на случайное столкновение, падение, механическую резкость, связанную с неловкостью, и с другой стороны, на оплеуху, полученную в наказание. Мы можем видеть тут две совершенно различные реакции маленького ребенка даже до внешнего проявления языковой деятельности. А значит, ребенок уже имеет первое представление о символизме языка – о символизме языка и о его функции пакта.

А теперь мы постараемся разобраться с тем, какова в анализе функция речи.

2

Речь представляет собой своего рода мельничное колесо, при помощи которого человеческое желание беспрестанно опосредуется, возвращаясь в систему языка.

Я выделяю регистр символического порядка потому, что мы никогда не должны терять из виду соотнесенности с ним, тогда

как о нем чаще всего забывают и отворачиваются от него в анализе. Ведь о чем привыкли мы говорить? А говорим мы без конца и зачастую слишком туманно, с трудом выражая свои мысли, о воображаемых отношениях субъекта к построению его собственного Я. Мы беспрестанно ведем речь об опасностях, потрясениях, кризисах, которые субъект испытывает на уровне построения собственного Я. Вот почему я начал с объяснения вам отношения О-О', воображаемого отношения к другому.

Первое проявление генитального объекта является не менее преждевременным, чем все, что можно наблюдать в развитии ребенка, и оно терпит крах. Однако либидо, относящееся к генитальному объекту, принадлежит другому уровню, нежели первичное либидо, объектом которого является собственный образ субъекта. Этот феномен имеет первостепенное значение.

Поскольку ребенок рождается на свет в состоянии, структурно характеризующемся повсеместной и полной преждевременностью, его либидинальное отношение к образу является первичным. С отзвуками того либидо, о котором идет здесь речь, вы знакомы, оно относится к порядку *Liebe*, любви. Вот большой *X* всей аналитической теории.

Вы думаете, что это уж слишком, называть его большим *X*? Мне не составило бы никакого труда найти тому доказательства в текстах, созданных лучшими аналитиками – ведь ссылаться следует не на тех, кто ничего не смыслит в том, что говорит. Я поручу кому-нибудь из вас почитать Балинта. Что представляет собой эта якобы сформировавшаяся уже генитальная любовь? Это остается полностью проблематичным. Вопрос о том, идет ли здесь речь о природном процессе или о культурной реализации, еще не решен аналитиками, – текстуально заявляет Балинт. Это довольно необычная двусмысленность, сохранившаяся в самом сердце того, что кажется в нашей среде общепринятым.

Как бы то ни было, если первичное либидо соотносится с преждевременностью, то вторичное либидо обладает другой природой. Оно простирается по ту сторону и отвечает первому созреванию желания, если не жизненного развития. Вот что, по крайней мере, должны мы предположить, чтобы теория осталась в силе и чтобы опыт мог быть объяснен. При этом уровень отношения человеческого существа к образу, к другому полно-

стью меняется. Это ключевой момент того, что называют созреванием и вокруг чего разворачивается вся драма Эдипа. Это инстинктуальный коррелят того, что в Эдипе происходит в ситуационной плоскости.

Итак, что же происходит? В той мере, в какой первичное либидо достигает зрелости, отношение к нарциссическому образу переходит в плоскость *Verliebtheit* (если воспользоваться поздней терминологией Фрейда). В плоскости воображаемого отчуждающий и пленяющий нарциссический образ оказывается инвестированной *Verliebtheit*, феноменологически восходящей к регистру любви.

Если объяснять вещи подобным образом, то получится, что именно от внутреннего созревания, связанного с жизненной эволюцией субъекта, зависит заполнение, даже переполнение первичного зияния либидо незрелого субъекта. Предгенитальное либидо является уязвимой точкой, точкой миража между Эросом и Танатосом, между любовью и ненавистью. Таков наипростейший способ очертить ту решающую роль, которую играет так называемое де-сексуализированное либидо собственного Я в возможности мгновенного обращения, поворота от ненависти к любви, от любви к ненависти. Похоже, что решение этой проблемы было связано для Фрейда с наибольшими трудностями – загляните в его работу *"Я и Оно"*. В названном тексте эта проблема предстает даже как возражение теории, полагающей в качестве отличных инстинкты смерти и инстинкты жизни. Я же, напротив, считаю, что все прекрасно согласуется – при условии, что мы располагаем верной теорией воображаемой функции собственного Я.

Если сказанное показалось вам слишком сложным, я могу предложить вам в помощь иллюстрацию.

Агрессивная реакция на Эдипово соперничество связано с одним из таких уровневых изменений. Сначала отец становится одной из наиболее ярко выраженных воображаемых фигур *Ideal-Ich* и в качестве таковой инвестируется влюбленностью, *Verliebtheit*. Фигура отца Фрейдом четко выделена, названа и описана. А между тремя и пятью годами субъект достигает фазы Эдипа ровно в той мере, в какой происходит регрессия либидинальной позиции. И тогда появляется чувство агрессии, сопер-

ничества и ненависти по отношению к отцу. Небольшое изменение либидинального уровня относительно некоторого порога превращает любовь в ненависть – впрочем, колебания продолжаются в течение определенного времени.

Итак, вернемся к тому, на чем мы остановились в прошлый раз.

Я заметил вам, что воображаемое отношение окончательно задает рамки, в которых происходят либидинальные колебания. И я оставил открытым вопрос о символических функциях в лечении. Каким же образом используем мы в лечении языковую деятельность и речь? В аналитическом отношении существуют два субъекта, связанные пактом. Этот пакт устанавливается на совершенно различных уровнях, поначалу весьма неясных. И тем не менее, по сути своей это именно пакт. И мы делаем все возможное, чтобы посредством предварительных правил установить с самого начала именно такой характер отношений.

Внутри этих отношений прежде всего предполагается развязать узы речи. В том, как субъект говорит, в его стиле, в способе обращаться к слушателю он освобождается от уз не только вежливости, любезности, но даже связности. Определенные узы речи оказываются порваны. Если мы считаем, что между тем способом, которым субъект выражает себя, заставляет себя признать, и эффективной, переживаемой динамикой его отношений желания существует тесная связь, то нам должно быть очевидно, что уже одно это вводит в зеркальное отношение к другому некоторую дезинтеграцию, неустойчивость, возможность колебаний.

Вот для чего предназначена моя маленькая модель.

Для субъекта дезинтеграция его отношения к другому приводит к варьированию, отсвечиванию, колебанию образа собственного Я, создает и нарушает целостность данного образа. Речь идет о том, чтобы субъект воспринял такой образ в его целостности, к которой у него никогда не было доступа, и тогда он сможет распознать все этапы своего желания, все объекты, которые привнесли состоятельность в этот образ, напитали его, составили его плоть. Речь идет о том, чтобы путем последовательных возобновлений и идентификаций субъект конституировал историю собственного Я.

Блуждающая речевая связь с аналитиком стремится при помощи аналитика произвести в образе самого себя вариации, достаточно обширные и повторяющиеся, даже если они при этом бесконечно малы и ограничены, чтобы субъект смог заметить завладевающие образы, находящиеся в основании установления его собственного Я.

Я говорил о мелких колебаниях. Мне нет необходимости распространяться о том, что обуславливает их мелкость. Очевидно, что существует торможение, заминки, которые нам надлежит, согласно нашей технике, преодолевать, восполнять и даже порой воссоздавать. Мы располагаем на этот счет соответствующими указаниями Фрейда.

Подобная техника ставит субъект по отношению к себе самому в положение воображаемого миража – положение, далекое от всего того, что может быть получено из опыта повседневных переживаний. Она стремится искусственно, в мираже создать основное условие всякой *Verliebtheit*.

Именно разрыв уз речи позволяет субъекту увидеть, по крайней мере последовательно, различные части собственного образа и достичь того, что может быть нами названо максимальной нарциссической проекцией. Анализ в этом отношении является еще рудиментарным, ведь поначалу дело, надо признаться, исчерпывается тем, чтобы посмотреть, что даст нам "развязность" субъекта. Дело могло бы и может обстоять иначе – тут нет ничего невероятного. Но так или иначе, все идет к тому, чтобы достичь максимальной степени нарциссического раскрытия в воображаемой плоскости. А это ведь основное условие *Verliebtheit*.

Когда состояние влюбленности появляется само по себе, оно возникает совершенно иным способом. Тут необходимо удивительное совпадение, поскольку оно не безразлично к партнеру, не безразлично к образу. Я уже упоминал о максимальности условий постигшей Вертера любви с первого взгляда.

В анализе точкой, в которой фокусируется идентификация субъекта на уровне нарциссического образа, является так называемый перенос. Перенос не в том диалектическом смысле, каким я пользовался, например, при объяснении случая Доры, а

перенос в обычном понимании этого термина – как воображаемый феномен.

Итак, посмотрим, что является пиком в использовании воображаемого переноса – этой точкой водораздела в технике анализа.

Балинт – один из наиболее сознательных аналитиков. Его изложения собственных действий отличаются редкой ясностью. И в то же время его анализ – это один из лучших примеров той тенденции, к которой мало-помалу склоняется вся аналитическая техника. Его простые высказывания отличаются связностью и открытостью в тех вопросах, где иные погрязают в схоластике, где все кошки серы. А Балинт говорит буквально следующее – весь аналитический прогресс исчерпывается тенденцией субъекта обрести вновь то, что он называет первичной любовью, *primary love*. Субъект испытывает необходимость быть объектом любви, заботы, привязанности, интереса некоторого другого объекта, при этом сам не принимая во внимание потребности или даже существование данного объекта. Вот что недвусмысленно заявляет Балинт, и я ему весьма за это признателен – что не означает моего согласия с ним.

Помещать всю игру анализа в такую плоскость, без каких-либо поправок или иных составляющих, выглядит уже странным. И тем не менее данная концепция вполне соответствует той линии эволюции анализа, где все больше и больше делается упор на отношения зависимости, на инстинктивное удовлетворение и даже фрустрацию – что одно и то же.

Как же при таких условиях описывает Балинт то, что можно наблюдать в конце анализа, в конце законченного анализа, действительно завершенного, каких, по его собственному признанию, насчитывается не более четверти? У субъекта, буквально пишет он, возникает состояние нарциссизма, доходящее до экзальтации при необузданности желаний. Субъект упивается ощущением абсолютного овладения реальностью, совершенно иллюзорной, но необходимой ему в период после завершения анализа. Он должен освободиться от него, постепенно возвращая на свое место естество вещей. Что же касается последнего сеанса, он не обходится без того, чтобы обоим участникам захотелось заплакать. Вот что пишет Балинт – и мы должны видеть

здесь чрезвычайно ценное свидетельство того, что является пиком целого направления психоанализа.

Не осталось ли у вас впечатления, что подобная игра едва ли приемлема, что перед нами утопический идеал? Идеал, который, бесспорно, нечто в нас обманывает.

Определенный способ понимать анализ, а точнее, не понимать некоторых из его главнейших пружин, не может не привести к подобной концепции и к подобным результатам.

Я оставлю этот вопрос на сегодня открытым. Комментарием текстов Балинта мы займемся позднее.

3

Обратимся теперь к примеру, который уже прекрасно знаком вам, ведь я уже раз двадцать возвращался к нему, – это случай Доры.

Очевидно, что речь как функция признавания остается в анализе без внимания. Речь является тем измерением, посредством которого желание субъекта подлинно включается в плоскость символического. Лишь будучи сформулированным, именованным перед лицом другого, желание, каким бы оно ни было, становится признанным в полном смысле слова. Речь идет не об удовлетворении желания, не о какой-то *primary love*, но именно о признании желания.

Вспомните, что Фрейд делает с Дорой. Дора больна истерией. В тот момент Фрейду не вполне было известно – он не раз писал об этом, повторял в замечаниях и даже в самом тексте – то, что он называет *гомосексуальной составляющей* – выражение, ничего собой не подразумевающее, но представляющее собой этикетку. Это сводится к следующему – он не догадался о позиции Доры, т. е. о том, что было объектом Доры. Он не догадался, что в точке О' была для нее г-жа К.

Как Фрейд направляет свое вмешательство? Его работа с Дорой проходит в плоскости, как он сам говорит, сопротивления. Что это значит? Я уже объяснял вам это. Фрейд задействует, что совершенно очевидно, свое эго, его собственное понимание того, для чего создана девушка – девушка создана для того, чтобы любить молодых людей. Если же что-то не ладится, что-то мучит ее, что-то вытеснено, это может быть, на взгляд Фрейда,

лишь следующим – она любит г-на К. Быть может, заодно она любит немного и Фрейда. В такой связи это совершенно очевидно.

Фрейд по некоторым причинам, восходящим, в частности, к ошибочности его отправной точки, даже не интерпретирует Доре проявлений приписываемого ей в отношении него переноса – что уберегло его, по крайней мере, от ошибки в этом пункте. Он просто говорит ей о г-не К. Что это значит, как не то, что он ведет речь на уровне опыта других? Как раз на таком уровне и надлежит субъекту признавать свои желания самому и добиваться их признания от других. Если же они остаются не признаны, они как таковые оказываются запрещенными и тогда действительно начинается вытеснение. Так вот, в то время как Дора находилась еще на стадии, когда, если можно так сказать, она научилась ничего не понимать, Фрейд начинает действовать на уровне признания желания, на определенном уровне, который был во всех пунктах сродни опыту хаотичного, неудавшегося признания, уже предрешившего ее жизнь.

И вот Фрейд говорит Доре – Вы любите г-на К. Получилось, что сказал он это к тому же достаточно неловко, и Дора немедленно прекращает анализ. Если бы в тот момент Фрейд был в курсе техники так называемого анализа сопротивлений, он бы подал ей эту мысль маленькими дозами, он начал бы вразумлять ее, что то-то и то-то является у нее защитой, и силой он в самом деле разрушил бы у нее целый ряд маленьких защит. Собственно говоря, он осуществил бы таким образом акт внушения, иными словами, он внес бы в ее эго некоторый элемент, некоторую дополнительную мотивацию.

В одном из текстов Фрейд пишет, что это и есть перенос. И в определенном смысле он прав. Однако нужно понимать, на каком уровне. Поскольку постепенно он мог бы в достаточной степени изменить эго Доры, чтобы та обручилась – и брак этот был бы столь же несчастлив, как и любой другой – с г-ном К.

Что же должно было произойти, если бы, напротив, анализ был проведен верно? Что бы произошло, если бы вместо того, чтобы задействовать свою речь в точке O', то есть ввести в игру собственное эго с целью переделать, вылепить заново эго Доры,

– Фрейд показал бы ей, что именно г-жа К. была предметом ее любви?

В самом деле, вмешательство Фрейда относится к тому моменту, когда в очередном взмахе качелей желание Доры было в точке О', где она желала г-жу К. Вся история Доры – в таком колебании, где она не знает, любит ли она только себя, свой возвеличенный образ в г-же К или же она желает г-жу К. Именно потому, что подобное колебание совершается беспрерывно, что качание происходит вечно, – Дора не выходит из него.

Именно в тот момент, когда желание было в точке О', Фрейд должен был назвать его, – ведь именно тогда оно могло реализоваться. При неоднократном повторении и достаточной полноте вмешательства *Verliebtheit*, до той поры непризнанная, раздробленная, постоянно преломляющаяся как неуловимое изображение на воде, может реализоваться. В этой точке Дора могла бы признать в г-же К. свое желание, действительный предмет своей любви.

Вот иллюстрация к только что мной сказанному – если бы Фрейд открыл Доре, что она влюблена в г-жу К, именно это с Дорой бы и произошло. В этом ли цель анализа? Нет, перед нами лишь первый его этап. Но если вы провалили данный этап, то вы либо поломаете весь анализ, как Фрейд, либо произведете совсем иное – ортопедию эго. Но анализа вы не проведете.

Нет никаких оснований для того, чтобы анализ, понимаемый как процесс сдирания кожи, шкуры систем защит, не пошел бы. Вот что аналитики называют "найти союзника в здоровой части эго". Им в самом деле удается перетянуть на свою сторону одну половину эго субъекта, затем половину половины и т. д. Почему не сделать это вместе с аналитиком, ведь именно так конституируется эго в жизни? Однако тому ли учил нас Фрейд – вот в чем вопрос.

Фрейд показал нам, что речь должна найти воплощение в самой истории субъекта. Но если субъект не воплотил ее, если эта речь зажата и пребывает латентной в симптомах, должны ли мы освободить ее, как Спящую Красавицу, или нет?

Если нам не надо ее освобождать, нам стоит проводить анализ по типу анализа сопротивлений. Однако Фрейд не это имел в виду, когда он изначально предлагал проанализировать со-

противления. Мы еще увидим, каков тот законный смысл, который нужно придавать этому выражению.

Если бы вмешательство Фрейда позволило субъекту назвать его желание – поскольку вовсе не необходимо, чтобы называл его он сам – то в точке О’ возникло бы состояние *Verliebtheit*. Однако не стоит упускать из виду, что субъект был бы очень хорошо осведомлен, что именно Фрейд дал ему такой объект *Verliebtheit*. Это не было бы завершением процесса.

Когда совершается очередное опрокидывание, посредством которого субъект и, одновременно, его собственная речь вновь включают в себя речь аналитика, субъект получает возможность признать свое желание. Это происходит не за один раз. Именно потому, что субъект видит приближение столь драгоценной для него полноты, он решительно погружается в эти тучи, как в мираж. И по мере того, как он отвоевывает свой *Ideal-Ich*, Фрейд получает возможность занять место на уровне *Ich-Ideal*.

На этом мы сегодня остановимся.

Отношение аналитика и *Ich-Ideal* ставит проблему сверх-Я. Вам известно, что *Ich-Ideal* иногда используется как синоним сверх-Я.

Я решил карабкаться в гору, хотя мог выбрать и отлогую тропинку, сразу же задав вопрос: что такое сверх-Я? Мы лишь теперь к этому подходим. Ответ кажется само собой разумеющимся, однако это вовсе не так. До сегодняшнего дня все проводимые аналогии – соотнесения с категорическим императивом, с совестью – остаются слишком неясными. Но не будем забегать вперед.

Первая фаза анализа определяется переходом от О к О’ – от того, что неизвестно субъекту в собственном Я, к тому образу, где он признает свои инвестиции воображаемого. Каждый раз такой проецирующийся образ пробуждает в субъекте чувство необузданной экзальтации, ощущение полнейшего господства, изначально уже знакомого ему по опыту с зеркальным отражением. Однако теперь субъект может именовать его, ведь с тех пор он научился говорить. Иначе он не проходил бы анализ.

Таков первый этап. Он сильно схож с тем пунктом, в котором оставляет нас г-н Балинт. Что представляет собой этот необуз-

данный нарциссизм, эта экзальтация желаний, если не точку, которую могла бы достичь Дора? Что ж, нам оставить ее в этом созерцании? Иногда, наблюдая за ней, ее можно увидеть погруженной в созерцание картины – изображения Мадонны, перед которым преклоняются и мужчина и женщина.

Как следует нам понимать продолжение процесса? Чтобы сделать следующий шаг, нам потребуется углубить наше понимание функции *Ideal-Ich*, место которой, как вы видите, однажды занимает аналитик – в той мере, как его вмешательство происходит в подходящем месте, в подходящий момент и в подходящем положении.

Итак, следующая глава будет посвящена тому, как пользоваться переносом. Этот вопрос я оставляю открытым.

12 мая 1954 года.

XV

ЯДРО ВЫТЕСНЕНИЯ

Именовать желание.
Prägung *травмы.*
Забывание забывания.
Субъект в науке.
Сверх-Я, рассогласованное высказывание.

Говоря о нашем продвижении вперед в течение этого года, а форма этого продвижения начинает складываться по мере того, как его ход клонится к своему завершению, – я не могу не выразить свое удовлетворение, ведь, как свидетельствуют ваши вопросы, некоторые из вас начинают понимать, что речь в преподаваемом мной материале идет о сути психоанализа, о самом смысле ваших действий. А сказал я это о тех, кто понял, что единственно исходя из постижения смысла психоанализа можно излагать правила техники.

В том, что мы с вами разбираем по складам, нигде еще нет полной ясности. Однако у вас нет сомнений в том, что речь здесь идет ни больше ни меньше как о занятии определенной основополагающей позиции в вопросе о природе психоанализа. И это впоследствии скажется на ваших конкретных действиях, поскольку такая позиция изменит ваше понимание цели аналитического опыта и его места в человеческом существовании.

1

В прошлый раз я попытался представить вам тот процесс, который всегда бывает задействован в анализе несколько загадочным способом и который называется на английском *working-through*. На французский оно преводится трудно, обычно – как *élaboration* (разработка) или *travail* (работа). Именно благодаря этому, на первый взгляд – таинственному, измерению нам приходится по семь раз отмеривать, чтобы свершился определенный прогресс, субъективное преодоление.

В движении мельничного колеса, выражаемого двумя стрелками – от О к О' и от О' к О, – в этой игре туда-обратно воплощается отсвечивание того, что находится по эту сторону зеркала, в том, что находится по ту его сторону, и посредством такого отсвечивания мы можем уловить образ субъекта. По мере продвижения анализа речь идет о дополнении такого образа. Одновременно субъект реинтегрирует собственное желание. И при каждом новом шаге в дополнении этого образа субъект видит, как его желание появляется в нем самом в форме крайне острого напряжения. Одним лишь переворотом это движение не исчерпывается. Переворотов совершается столько, сколько их необходимо для того, чтобы различные фазы воображаемой, нарциссической, зрительной – три данных слова равнозначным способом представляют вещи в теории – идентификации оформились в законченном образе.

Феномен тем не исчерпывается, поскольку ровно так же ничего не может быть понято без вмешательства третьего элемента, введенного мной в прошлый раз, – речи субъекта.

В такой момент желание ощущается субъектом – оно не может быть ощутимо без подключения речи. И этот момент являет собой не что иное, как тревогу в чистом виде. Желание обнаруживает себя в конфронтации с образом. Когда данный образ, который был незавершенным, становится законченным; когда появляется воображаемый лик, который не был интегрирован, а был подавлен, вытеснен, – тогда возникает тревога. Появление такого момента сулит нам дальнейший успех.

Некоторые авторы постарались уточнить его. Стрэчи попытался определить то, что он называет интерпретацией переноса, а точнее, преобразующей интерпретацией. Загляните в XV том *International Journal of Psychoanalysis*, за 1934 год, номера 2 и 3. Он действительно подчеркивает, что лишь в некоторый определенный момент анализа интерпретация может иметь значение прогресса. Такая возможность предоставляется редко и не терпит лишь приблизительного определения. Тут не может быть никаких вокруг да около, ни позже, ни раньше; лишь в строго определенный момент – когда то, что готово выступиться в воображаемом, в то же время присутствует в вербальном отношении с аналитиком, – должна быть дана интерпретация, чтобы

она смогла осуществить свое решающее значение, свою преобразующую функцию.

Что же имеется в виду, если не то, что это момент слияния воображаемого и реального аналитической ситуации? Как раз это я и пытаюсь вам объяснить. Желание субъекта в такой ситуации является одновременно наличным и невыразимым. Вмешательство же аналитика должно, по словам Стрэчи, ограничиваться именованием его. Это единственный пункт, в котором речь аналитика должна быть добавлена к речи, возбужденно произносимой пациентом в ходе его длинного монолога, словесной мельницы – ведь движение стрелок на схеме вполне оправдывает такую метафору.

В качестве иллюстрации я напомнил вам в прошлый раз функцию интерпретаций Фрейда в случае Доры, их неадекватный характер, а также ту мысленную стену, застопоривание, явившиеся их результатом. Это был лишь первый этап открытия Фрейда. Нам нужно проследовать за ним дальше. Кто-то из вас, наверно, присутствовал два года тому назад на моем комментарии случая "человека с волками"... да, не очень то вас много. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь из вас – может быть, отец Бернарт? – потрудился прочитать для нас этот текст. Вы увидите, сколь показательна предложенная мной схема.

Случай "человека с волками" отнесли бы сегодня к разряду неврозов характера, или нарциссического невроза. Как таковой, этот невроз оказывает большое сопротивление лечению. Фрейд обдуманно решается представить нам одну его часть. В действительности, детский невроз – таково название в немецком издании случая "человека с волками" – сослужил Фрейду большую службу, поскольку благодаря ему в теории были поставлены некоторые вопросы, касающиеся функции травматизма.

Итак, мы переместились в 1913 год, т. е. в самое сердце комментируемого нами в этом году периода 1910-1920 гг.

Без "*Человека с волками*" немыслимо понять то, что Фрейд разрабатывал в указанное время, а именно, теорию травматизма, которой предстоит подвергнуться настойчивой критике Юнга. В этом наблюдении присутствует немало вещей, не упомянутых Фрейдом нигде более, и уж конечно, опущенных в его чисто

теоретических работах, – как, например, важные дополнения к его теории вытеснения.

Прежде всего я напомню вам, что вытеснение в случае “человека с волками” было связано с травматическим опытом – зрелища совокупления родителей в положении *a tergo*. Данная сцена никогда не могла быть непосредственно припомнена, восстановлена в памяти пациента, она была Фрейдом реконструирована. Положение при совокуплении могло быть воссоздано лишь исходя из травматических последствий в настоящем поведении субъекта.

Безусловно, некоторые из этих терпеливых исторических реконструкций весьма удивительны. Фрейд действует здесь так, как будто он работает с памятниками, архивными документами, прибегнув к методу критики и толкования текстов. Если определенный элемент возникает в некоторой точке продуманным, разработанным, то очевидно, что точка, в которой он появляется менее разработанным, предшествует первой. Таким образом Фрейду удается определить дату обсуждаемого совокупления. Он безоговорочно, с абсолютной строгостью, относит его к дате *n+1/2 года*. Но *n* не может превышать 1, поскольку данное событие не могло произойти в два с половиной года по определенным причинам, которые для ребенка мы вынуждены допустить и которые относятся к последствиям такого зрительного открытия. Не исключено, что это произошло в шесть месяцев, однако Фрейд отклоняет данное предположение, так как это ему представляется, на тот момент, едва ли правдоподобным. Замечу мимоходом, он не исключает, что это произошло в 6 месяцев. И по правде говоря, я и сам этого не исключаю. Я даже считаю, что эта дата более подходящая, чем полтора года. Быть может, я теперь же скажу вам, почему.

Вернемся к главному. Травматическое значение взлома в воображаемом, произведенного таким зрелищем, вовсе не обязательно должно было последовать сразу же за событием. Сцена приобретает для пациента травматический характер в возрасте от трех лет и трех месяцев до четырех лет. Мы можем опираться на точные даты, поскольку ребенок родился в Рождество, что стало решающим совпадением в его истории. Именно в ожидании рождественских событий, всегда сопровождаемых для него,

как и для всех детей, получением подарков, которые, как считалось, были ниспосланы ему свыше, – он впервые видит страшный сон, ставший для наблюдений Фрейда ключевым. Этот страшный сон является первым проявлением травматического значения того, что я только что назвал взломом в воображаемом. Позаимствовав термин из теории инстинктов, в ее нынешнем виде (а она, конечно, продвинулась вперед со времен Фрейда, в особенности – применительно к птицам), назовем это "*Prägung*" – а слово это созвучно удару, оттиску, тиснению монеты – *Prägung* травматического события, дающего начало отсчета.

Prägung – со всей ясностью объясняет нам Фрейд – относится сначала к невытесненному бессознательному – позднее мы это приблизительное выражение уточним. Скажем, что *Prägung* не был интегрирован в вербализованную систему субъекта, что он вообще не достиг вербализации, и даже значения. Такой *Prägung*, строго ограниченный областью воображаемого, вновь заявляет о себе по мере входа субъекта во все более и более организованный символический мир. Именно это и объясняет нам Фрейд, рассказывая всю историю пациента такой, какой она вытекает из его рассказов, касающихся времени между начальным моментом x и возрастом 4 лет, к которому Фрейд относит вытеснение.

Вытеснение происходит лишь постольку, поскольку события ранних лет пациента исторически развиваются достаточно бурно. Я не могу рассказать вам всю его историю – соблазнение старшей сестрой, которая была мужественнее его и служила одновременно объектом соперничества и идентификации, – он идет на попятную и отказывается от этого соблазнения, для которого у него не было в этом раннем возрасте ни внутреннего стремления, ни необходимых оснований, – затем его попытка сближения и активного соблазнения своей няни, соблазнения, направленного соответственно норме первичной эдиповой генитальной эволюции, но изначально нарушенного соблазном, который он пережил ранее со стороны сестры. И ступив на эту почву, субъект оказывается отброшен к садо-мазохистской позиции, регистр и все элементы которой дает нам Фрейд.

Теперь я укажу вам два ориентира.

Прежде всего, именно введение субъекта в символическую диалектику может дать нам надежду на какие-либо благополучные исходы. Символический мир не потеряет своей направляющей притягательности на всем продолжении развития данного субъекта: впоследствии еще будут моменты счастливого разрешения, обусловленные тем, что в его жизни будут задействованы, в собственном смысле слова, обучающие элементы. Вся диалектика инертного в его случае соперничества с отцом в определенный момент потеряет силу благодаря вмешательству авторитетных лиц – того или иного преподавателя – или еще раньше, благодаря подключению религиозного регистра. Итак, Фрейд показывает нам следующее: в той мере, как субъективная драма включается в некоторый миф, обладающий широкой, даже универсальной, человеческой значимостью, – субъект реализует себя.

С другой стороны, что же происходит в период между тремя годами одним месяцем и четырьмя годами, если не то, что субъект научается интегрировать события своей жизни в определенном законе, в поле символических значений, в человеческом универсализующем поле значений? Вот почему, по крайней мере в эту пору, данный *детский невроз* представляет собой в точности то же самое, что и психоанализ. Он играет ту же роль, что и психоанализ, т. е. проводит реинтеграцию прошлого и в игре символов задействует сам оттиск *Prägung*, настигая его лишь в пределе, и притом задним числом, *nachträglich*, как пишет Фрейд.

Когда благодаря игре событий *Prägung* оказывается интегрированным в историю в форме символа, оттиск грозит появиться в любой момент. И когда, спустя ровно два с половиной года после вмешательства в жизнь субъекта – а быть может, согласно сказанному мной, спустя три с половиной года – он действительно проявляется, то из-за того, что форма его первой символической интеграции была потрясением для субъекта, оттиск приобретает в плоскости воображаемого характер травмы.

Травма, в той мере как она оказывает вытесняющее действие, вмешивается задним числом, *nachträglich*. В такой момент нечто отделяется от субъекта в том самом символическом мире, в процессе интеграции которого субъект как раз и находится. Впредь

это нечто уже не будет относиться к субъекту, не будет присутствовать в его речи, не будет интегрировано им. И тем не менее оно здесь же и останется и будет, если можно так сказать, выговариваться чем-то, субъекту неподвластным. Вот что станет первым ядром того, что впоследствии получит название симптома.

Иначе говоря, между описанным мной моментом анализа и промежуточным моментом, между тиснением и символическим вытеснением, никакой существенной разницы нет.

Есть лишь одно различие, а именно: в такой момент рядом нет никого, кто мог бы субъекту дать в помощь слово. Конституировав свое первое ядро, вытеснение начинает действовать. Теперь уже существует центральная точка, вокруг которой позже может произойти организация симптомов, последующих вытеснений и в то же время – поскольку вытеснение и возврат вытесненного, одно и то же – возврат вытесненного.

2

Лакан: – Вы нисколько не удивлены тем, что возврат вытесненного и вытеснение – это одно и то же?

Д-р *X*: – *О! меня уже ничто не удивляет.*

Лакан: – Есть люди, которых это удивляет. Хотя *X* и говорит нам, что его уже ничем не удивишь.

О. Маннони: – *Этим снимается встречающееся порой понятие удачного вытеснения.*

Лакан: – Нет, оно тут не снимается. Чтобы объяснить вам это, пришлось бы разобрать всю диалектику забывания. Всякая удавшаяся символическая интеграция привносит своего рода нормальное забвение. Но это увело бы нас слишком далеко от фрейдовской диалектики.

О. Маннони: – *В этом случае забывание обходится без возврата вытесненного?*

Лакан: – Да, без возврата вытесненного. Интеграция в историю явно подразумевает забвение целого мира теней, которые не получают доступа к символическому существованию. А если такое символическое существование удается субъекту и полностью им принимается, оно не влачит за собой никакого груза. Тут уместно было бы обратиться к хайдеггеровским понятиям. Во всяком вступлении существа в его словесное жилище сущест-

вует дополнительное по отношению к любому ἀλήθεια поле забвения, λήθη.

Ипполит: – *В формуле Маннони мне остается непонятным слово "удачное".*

Лакан: – Это выражение терапевта. Удачное вытеснение – это суть.

Ипполит: – "Удачное" *могло бы означать самое глубокое забывание.*

Лакан: – Об этом я и говорю.

Ипполит: – *Тогда* "удачное" *в некотором смысле будет означать полный провал. Чтобы достичь интегрированности бытия, необходимо, чтобы человек забыл суть.* "Удачное" – *это* "провал". *Хайдеггер не принял бы слова* "удачное". *Лишь с терапевтической точки зрения можно говорить здесь об* "удачном".

Лакан: – Это точка зрения терапевта. Тем не менее, такое поле ошибки, наличное во всякой реализации бытия, Хайдеггер, похоже, возводит к своего рода основополагающей λήθη, тени истины.

Ипполит: – *Для Хайдеггера удача терапевта – это самое худшее. Это забвение забвения. Хайдегеровская подлинность состоит в том, чтобы не погрузиться в забвении забвения.*

Лакан: – Да, поскольку Хайдеггер создал из такого возвращения к истокам бытия своего рода философский закон.

Вернемся к нашему вопросу. В какой мере забвение забвения может быть удачным? В какой мере всякий анализ должен приводить к возвращению в бытие? Или к определенному отступлению в бытие, предпринятому субъектом по отношении к собственной судьбе? Поскольку я всегда стараюсь поймать мяч в полете, я хотел бы опередить те вопросы, которые могли бы быть заданы. Если субъект исходит из точки О, точки неясности и наивности, то какому же направлению должна следовать диалектика символической реинтеграции желания? Достаточно ли для завершения анализа, чтобы субъект просто назвал свои желания, чтобы он получил разрешение их назвать? Вот вопрос,

который, возможно, будет поставлен в конце сегодняшней встречи. Вы увидите также, что на этом мы не остановимся.

В конце, в самом конце анализа, совершив определенное количество кругов и осуществив полную реинтеграцию своей истории, субъект все еще останется в точке О? Или же где-то поблизости, около А? Иначе говоря, остается ли что-нибудь от субъекта на уровне той точки налипания, которую называют эго? Имеет ли психоанализ дело лишь с тем, что рассматривается как данность, то есть с эго субъекта, внутренней структурой, которую можно усовершенствовать посредством упражнения?

Вот каким путем Балинт и целое направление в психоанализе приходят к мысли что либо эго сильно, либо оно слабо. И если эго слабое, то внутренняя логика их позиции наводит на мысль, что оно должно быть усилено. С тех пор как в момент выстраивания иерархии нервных функций аналитики принимают эго за простое господство субъекта над самим собой, они уже непосредственно вступают на путь, где речь идет о том, чтобы научить эго быть сильным. Откуда и возникает понятие обучения путем упражнений, *learning*, и даже, как пишет человек со столь ясным умом, как Балинт, понятие результативности.

Говоря об усилении эго в ходе анализа, Балинт даже отмечает, сколь велики возможности для совершенствования собственного Я. То, что несколько лет тому назад, пишет Балинт, рассматривалось в том или ином виде упражнений или спорте как мировой рекорд, теперь хорошо лишь для квалификации среднего атлета. Дело в том, что человеческое Я, соревнуясь с самим собой, достигает все более и более необыкновенных результатов. Посредством чего делается вывод – у нас нет тому никаких доказательств, и не без оснований, – что такое упражнение, как психоанализ, могло бы структурировать собственное Я, применить к его функциям обучение навыкам, которое укрепило бы его и позволило бы ему выдерживать большее количество возбуждения.

Однако каким же образом психоанализ – словесная игра –, мог бы служить какому бы то ни было обучению навыкам?

Основополагающим фактом, который открыл нам психоанализ и который я излагаю вам, является то, что эго – функция воображаемая. Те, кто не видят этого факта, попадают на тот же

путь, какому следует сегодня всякий, или почти всякий анализ с первых же шагов.

Если эго является воображаемой функцией, то оно не сливается с субъектом. Но что же мы называем субъектом? Да то самое, что в развертывании объективации находится вне объекта.

Можно сказать, что идеал науки состоит в сведении объекта к тому, что может быть заключено и заперто в системе взаимодействия сил. В конечном итоге, объект таковым является лишь для науки. И всегда существует лишь один субъект – субъект, взирающий на совокупность и надеющийся однажды свести все к определенной игре символов, охватывающей все взаимодействия объектов. Однако, когда речь идет об организованных существах, ученый принужден всегда подразумевать, что имеется действие. Организованное существо можно, конечно, рассматривать как объект, но, приписывая ему значение организма, мы тем самым имплицитно сохраняем представление, что оно является субъектом.

Например, в ходе анализа инстинктивного поведения можно некоторое время пренебрегать субъективной позицией. Однако такой позицией совершенно нельзя пренебречь, если речь идет о говорящем субъекте. Говорящего субъекта мы принуждены принимать в качестве субъекта. Почему? По очень простой причине: он может наврать. То есть он отличен от того, что говорит.

Вот это измерение говорящего субъекта, говорящего субъекта как обманщика, и открыл нам Фрейд в бессознательном.

В науке субъекта полагают, в конечном итоге, лишь в плоскости сознания, поскольку *x* субъекта в науке по сути является самим ученым. Измерение субъекта сохраняет тот, кто обладает системой науки. Субъектом он является постольку, поскольку представляет собой отражение, зеркало, носителя объектного мира. Фрейд же, напротив, показывает нам, что в человеческом субъекте существует нечто говорящее, говорящее в полном смысле слова, то есть лгущее – лгущее со знанием дела и вне участия сознания. Вот что значит – в явном, напрашивающемся, экспериментальном смысле термина – реинтегрировать измерение субъекта.

Но тогда измерение это не сливается больше с эго. Собственное Я лишается в субъекте своей абсолютной позиции. Соб-

ственное Я получает статус миража и наряду с остальным является лишь элементом объектных отношений субъекта.

Это вам понятно?

Вот почему я оговорил мимоходом то, на что указал Маннони. В самом деле, вопрос состоит в следующем: идет ли в анализе речь лишь о расширении соотносительных объективаций эго, рассматриваемого как некий заранее данный центр, но более или менее сжатый – так выразилась Анна Фрейд. Когда Фрейд пишет: *"Там, где было Оно, должно быть эго,"* – нужно ли думать, что речь здесь идет о расширении поля сознания? Или же речь идет об определенном перемещении? *"Там, где было Оно"* – не думайте, будто оно там. *Оно* занимает различные места. Например, в моей схеме субъект смотрит за игрой в зеркале из точки А. Отождествим на мгновение Оно с субъектом. Нужно ли думать, что там, где было Оно, в точке А, должно быть эго? Что эго должно переместиться в А и в самом конце идеального анализа исчезнуть вовсе?

Что ж, вполне возможно, поскольку все относящееся к эго должно быть реализовано в том, что субъект в себе признает. Во всяком случае, это вопрос, который нам еще предстоит с вами решить. Надеюсь, я тем самым достаточно обозначил направление, которому следую. Эта тема еще не исчерпана.

Как бы то ни было, вернувшись к тому, о чем шла речь в моем замечании к случаю *"Человек с волками"*, вы, я думаю, видите пользу моей схемы. Она увязывает, в соответствии с лучшей аналитической традицией, исконное образование симптома, его значение как такового – с тем, что происходит в ходе анализа, рассматриваемом как диалектический процесс, по крайней мере, в его начале.

Ограничившись таким простым вступлением, я попросил бы преподобного отца Бернарта перечитать случай *"Человек с волками"* и представить нам как-нибудь его резюме; я также надеюсь, что он сформулирует определенные вопросы, сопоставив элементы, которые я сообщил вам относительно данного текста.

3

Поскольку мы останавливаемся на теме "человека с волками", я хочу несколько разъяснить то, чем в анализе является терапев-

тическая процедура, пружина терапевтического воздействия. А именно, что означает именование, признание желания в той точке, которой оно достигает, – в точке О? Что же, на этом дóлжно остановиться? Или же требуется еще один шаг за этот предел?

Я постараюсь дать вам услышать смысл этого вопроса.

В процессе символической интеграции субъектом своей истории есть одна существеннейшая функция – функция, в отношении которой аналитик, что стало уже давно общепризнанным, занимает показательную позицию. Такая функция была названа сверх-Я. В ней невозможно что-либо понять, не обратившись к ее возникновению. Сначала сверх-Я появляется в истории фрейдовской теории в виде цензуры. Я мог бы теперь же проиллюстрировать сделанное замечание, сказав, что с самого начала мы находимся в измерении речи, как в отношении симптома, так и всех бессознательных функций обыденной жизни. Цензура предназначена для обмана посредством лжи. Неслучайно ведь Фрейд выбрал слово цензура. Речь идет об инстанции, которая раскалывает символический мир субъекта, разбивает его надвое, притом одна часть остается доступной, распознаваемой, а другая – недоступной, запретной. И ту же самую функцию, едва измененную и сохранившую почти те же акценты, мы обнаруживаем в регистре сверх-Я.

Я хотел бы сразу же указать вам, в чем противопоставлено понятие сверх-Я, такое, каким я представил его с одной из его сторон, – расхожему о нем представлению.

Обычно сверх-Я мыслится в регистре определенного давления, и это совершенно верно, если только подобное давление не относить на счет таких чисто инстинктивных явлений, как, например, первоначальный мазохизм. Такое понимание не чуждо Фрейду. Фрейд даже идет дальше. В статье "*Das Ich und das Es*" он высказывает мнение, что чем больше субъект подавляет свои инстинкты, т. е. если хотите, чем более морально его поведение – тем сильнее становится давление сверх-Я, тем более суровым, требовательным, настоятельным оно становится. Таково клиническое наблюдение, но оно далеко не всегда верно. Однако объектом исследования Фрейда был невроз, что и обусловило в данном случае его позицию. Он даже рассматривает сверх-Я как

один из тех токсичных продуктов, которые выделяют в процессе жизнедеятельности другие токсичные вещества, способные в определенных условиях прекратить цикл их воспроизведения. Фрейд заходит тут слишком далеко. Но имплицитное присутствие такой идеи легко обнаруживается в господствующей аналитической концепции сверх-Я.

В противовес такому пониманию, нам следует сформулировать следующее. Бессознательное, в принципе, представляет собой раскол, ограничение, отчуждение, вызванное в субъекте символической системой. Сверх-Я является аналогичным расколом, который совершается в символической системе, интегрированной субъектом. Такой символический мир не ограничен субъектом, поскольку он реализуется в языке, который является общим языком, универсальной символической системой – поскольку он господствует в определенном сообществе, к которому принадлежит субъект. Сверх-Я является таким расколом, возникающим для субъекта – но не только для него – в его отношениях с тем, что мы назовем законом.

В качестве иллюстрации я приведу вам пример; ведь то, чему вас в психоанализе учили, не позволило вам хорошенько свыкнуться с данным регистром, и вы, пожалуй, думаете, что я выхожу за его границы. Ничего подобного.

Речь пойдет об одном из моих пациентов. Он уже проходил анализ у кого-то другого, прежде чем обратился ко мне. Он страдал весьма своеобразными симптомами, связанными с работой руки – органа, характерного для известного рода развлечений, на которые психоанализ пролил достаточно света. Анализ, проводившийся согласно классической линии, безуспешно усердствовал в том, чтобы любой ценой упорядочить различные симптомы пациента вокруг детской, конечно же, мастурбации и связанных с ней запретов и наказаний, исходивших со стороны окружения ребенка. Такие запреты существовали, поскольку они существуют всегда. К сожалению, это ничего не объясняло и не решало никаких проблем.

Этот пациент исповедовал – данный элемент его истории нельзя утаить, хотя сообщение частных случаев в ходе преподавания всегда является очень деликатным моментом – ислам. Однако одним из самых поразительных элементов истории его

субъективного развития было его отвращение, неприязнь к закону Корана. Этот закон является чем-то бесконечно более всеобъемлющим, нежели все, что мы можем представить себе в нашем культурном мире, который был определен правилом "*кесарю – кесарево, а богу – богово*". В исламском мире, напротив, закон обладает тотальным характером, совершенно не позволяющим выделить юридическую плоскость из плоскости религиозной.

Итак, этот пациент не признавал закона Корана. Для субъекта, принадлежащего культурному миру ислама всем своим прошлым и будущим, всеми своими функциями – это было совершенно поразительно, если учитывать вполне здравую, на мой взгляд, мысль, что мы не в силах не признавать символическую принадлежность субъекта. Что открывает нам прямую дорогу к тому, о чем шла речь.

А закон Корана гласит, в действительности, следующее: тому, кто повинен в краже, – "*будет отрезана рука*".

В детстве мой пациент пережил события, которые можно сравнить разве что с вихрем, пронесшимся как в его домашней жизни, так и в общественном мнении, а дело было примерно в следующем: он слышал – и это было настоящей драмой, когда его отец, бывший чиновником, потерял свое место – что его отец проворовался и должен был, соответственно, лишиться руки.

Конечно, уже давно такое предписание не приводится больше в исполнение – ровно как и законы Ману: "*тот, кто совершил инцест со своей матерью, да вырвет свой детородный орган и, неся его в руке, отправится к Западу*". Однако такое предписание остается вписанным в символический порядок, который закладывает основу межчеловеческих отношений и который называется законом.

Итак, данное высказывание оказалось для субъекта выделено среди остального содержания закона совершенно особым образом. И оно перешло в его симптомы. Остальная часть символических соотнесений моего пациента, его исконных тайн, вокруг которых организовывались для этого субъекта его существеннейшие отношения к универсуму символа, – несла на себе оттиск резкого преобладания для него данного предписания.

Оно оказалось в центре целого ряда симптоматических бессознательных выражений, недопустимых, конфликтных, связанных с этим основополагающим опытом его детства.

По мере продвижения анализа, как я вам указывал, именно при приближении к травматическим элементам – укорененным в образе, который так и не был интегрирован, – в упорядочении истории субъекта, синтезе ее, возникают дыры, точки разлома. Как я вам указывал, именно этими дырами и обусловлена для субъекта возможность вновь объединиться относительно различных символических детерминант, которые творят из него субъекта, имеющего свою историю. И точно так же, для каждого человеческого существа именно по отношению к закону, с которым человек себя связывает, сориентировано все, что может отличать его как личность. История человека упорядочивается законом, символическим универсумом закона, который не одинаков для всех.

Традиция и язык обуславливают разнообразие отнесенностей субъекта. Высказывание не законосообразное, не подзаконное, выведенное на первый план благодаря травматическому событию и сводящее закон к чему-то недопустимому, неприемлемому, наподобие занозы – вот что представляет собой та слепая, нудная инстанция, которую мы обычно определяем термином сверх-Я.

Я надеюсь, что это небольшое наблюдение достаточно впечатлит вас, чтобы сформировать представление об измерении, к которому размышление аналитиков обращается не часто, но которое не может быть им вовсе не известно. В самом деле, все аналитики свидетельствуют, что не существует никакого возможного разрешения анализа, каковы бы ни были разнообразие и переливы задействуемых им архаических событий, – разрешения, которое в конечном итоге не завязывалось бы вокруг той законной, узаконивающей направляющей, которая называется эдиповым комплексом.

Комплекс Эдипа настолько существенен для самого измерения аналитического опыта, что его преимущественность проявляется уже в самом начале творчества Фрейда и сохраняется вплоть до его завершения. Дело в том, что на данный момент

комплекс Эдипа занимает привилегированное положение в нашей культуре, в западной цивилизации.

Только что я упомянул о многоплановом делении регистра закона в нашем культурном мире. Видит Бог, многоплановость не делает жизнь человека легкой, поскольку бесконечные конфликты противопоставляют эти планы друг другу. По мере того, как различные языки цивилизации усложняются, привязанность человека к более первичным формам закона сводится к центральной точке эдипова комплекса (теория Фрейда утверждает это со всей строгостью). Это то, что в индивидуальной жизни является отголоском регистра закона, как это и подтверждает картина неврозов. Это наиболее постоянная точка пересечения, представляющая собой необходимый минимум.

Однако это не значит, что дело тем только и ограничивается и мы вовсе не выходим из поля психоанализа, когда обращаемся к совокупности символического мира субъекта – а такой мир может быть крайне сложным, даже противоречивым, – или к его личной позиции, которая зависит от его социального уровня, от его будущего, его проектов в экзистенциальном смысле, от его воспитания и его традиции.

Мы отнюдь не избавлены от проблем, которые ставятся отношением желания субъекта – что возникает в точке О – к совокупности символической системы, где субъект призван, в полном смысле слова, занять свое место. Тот факт, что структура эдипова комплекса является необходимой, не должен, тем не менее, помешать нам заметить, что другие структуры того же уровня, то есть относящиеся к плоскости закона, могут в каждом отдельном случае играть роль столь же решающую. Именно с этим мы и сталкиваемся в приведенном мной клиническом случае.

Дело не ограничивается тем, чтобы было совершено однажды определенное количество оборотов, необходимых для появления объектов субъекта; чтобы воображаемая история субъекта оказалась восполнена, когда непрерывные, напрягающие, подвешенные, томящие его желания субъекта будут именованы и реинтегрированы. То, что сначала было там, в О, затем тут, в О', потом снова в О, должно перейти в завершенную систему символов. Сам исход анализа того требует.

Где же конец этой вечной переброски туда-сюда? Должны ли беседы в духе широкой диалектической традиции, затрагивающие существо понятий справедливости и отваги, стать частью нашего аналитического вмешательства?

Это вопрос. Решить его нелегко, поскольку современный человек стал поистине на редкость не способен затронуть такие значительные темы. Он предпочитает разрешать вопросы в терминах поведения, адаптации, групповой морали и прочего вздора. Откуда и вытекает вся серьезность проблемы подготовки аналитика, с точки зрения формирования его как человека.

Остановимся сегодня на этом.

19 мая 1954 года.


ТУПИКИ МИКАЭЛЯ БАЛИНТА

XVI

ПЕРВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БАЛИНТА

Теория любви.
Определение характера.
Объективация

Теория и практическая техника анализа – это одно и то же. Красиво сказано. Ну что же, давайте этой истиной воспользуемся. Попробуем понять технику любого аналитика при условии, что теоретические идеи его достаточно хорошо сформулированы чтобы позволить нам ожидать от него чего-то определенного.

Однако зачастую выдвигаемые теоретические идеи, даже если они исходят от светлых голов, неприменимы на практике. Используя те или иные понятия, исследователи не всегда знают, что они говорят. В иных же случаях, напротив, возникает четкое ощущение, что понятия хорошо выражают нечто из опыта. Таков случай уважаемого нами Балинта.

Я решил опереться в своем изложении на его взгляды, поскольку во многих отношениях он близок нам, симпатичен и, бесспорно, проявляет ориентацию, сходную целому ряду требований, сформулированных здесь нами относительно того, что должно представлять собой интерсубъективное отношение в анализе. Вместе с тем, его способ выражать свои мысли оставляет у нас ощущение, что он испытывает влияние господствующего направления мысли.

Чтобы дать вам почувствовать, в чем выражается современный, как я его называю, уклонизм в отношении основного аналитического опыта, на который я постоянно ссылаюсь, – было бы слишком легко подобрать гротескные примеры едва ли не бредовых, в клиническом смысле, построений. Именно там, где они изощренны, где уличить их можно не столько в коренном заблуждении, сколько в своего рода промахе – именно там и нужно искать их слабое место.

Но сегодня я хотел бы убедиться в том, что должно составлять смысл всякого обучения – в том, что ему следуют. И здесь я доверился Гранову, за чью серьезную заинтересованность тем путем, которым я пытаюсь вас вести, я могу поручиться, – он должен сообщить нам сегодня то, что смог вынести из чтения книги Балинта под названием "*Primary love and psycho-analytic technics*".

Как говорит сам Балинт, он начал свою карьеру около 1920 года. В данной книге собраны статьи, написанные им между 1930 и 1950. Эта интересная, ясная, светлая, часто отважная и полная юмора книга – крайне занимательное чтение. Вам очень любопытно будет прочесть ее – когда у вас будет время, ведь это книга для отдыха, как приз, вручаемый в конце учебного года. Сделайте себе такой подарок сами, в этом году наше *Общество* недостаточно богато, чтобы раздать вам эти книги.

1

Замечания по ходу доклада доктора Гранова.

Проводится противопоставление двух типов любви. Во-первых, существует догенитальный тип. Целая статья, под названием *Pregenital love*, посвящена главным образом той идее, что речь идет о любви, в глазах которой объект не имеет абсолютно никакого собственного интереса. *Absolute unselfishness* – субъект не признает за ним никакой потребности, никакой личной нужды. Все, что хорошо для меня, *right* для вас – такова имплицитная формула, выражаемая поведением субъекта. Для *primary love*, последующей стадии, всегда характерен отрыв от всякой реальности, отказ признавать потребности партнера. В этом она противопоставлена *genital love*. Как вы увидите, у меня имеются значительные возражения такой концепции, я покажу вам, что она буквально отбрасывает все достижения психоанализа.

Г-н Гранов, вы были совершенно правы, указав что концепция Балинта строится вокруг более чем нормативной, морализующей теории любви. Вполне справедливо вы подчеркнули, что он приходит к вопросу – является ли то, что мы рассматриваем как норму, естественным состоянием, или же культурным, искусственным результатом, и даже тем, что он называет *a happy*

chance, счастливым случаем? И затем он спрашивает – что можем мы при завершении анализа назвать здоровьем? Является ли аналитическое лечение естественным процессом, или же искусственным? Существуют ли духовные процессы, которые, не будучи прерваны или потревожены, привели бы развитие к состоянию равновесия? Или же напротив, здоровье является счастливым случаем, маловероятным событием? В этом плане, отмечает Балинт, в хоре аналитиков царит полная разноголосица. И это наводит на мысль, что вопрос не был поставлен должным образом.

....

Вы не достаточно уделили внимание весьма интересному определению характера у Балинта.

Характер контролирует отношение человека к его объектам. Характер всегда означает более или менее широкое ограничение возможностей любви и ненависти. Соответственно, характер означает ограничение способности *for love and enjoyment*, к любви и радости. Измерение радости, имеющее большое значение, выходит за пределы категории наслаждения. Нам стоило бы очертить такое различие. Радость предполагает субъективную полноту, которая заслуживала бы нашего более подробного рассмотрения.

Если бы статья была написана не в 1932 году, я сказал бы, что она послужила распространению определенного идеала пуританской морали. Существующие в Венгрии исторические традиции протестантизма имеют точные исторические параллели с историей протестантизма в Англии. Так, можно наблюдать редкое совпадение идей Балинта, ученика Ференци, следовавшего за своим учителем той тропой, которой мы решили пройти сегодня, – с его судьбой, столь хорошо вписавшейся, в конечном итоге, в английское общество.

Балинт отдает предпочтение характеру в его сильной форме – той, что подразумевает собой подобные ограничения. *Weak character* – это определение для человека, позволяющего взять над собой верх. Излишне указывать, что отсюда следует полная путаница между тем, что он называет анализом характера, и тем, что он без лишних колебаний отваживается выделить в том же контексте как логический характер. Похоже, он не замечает, что

речь здесь идет о совершенно различных характерах – с одной стороны, характер является реакцией на либидинальное развитие субъекта, сетью, охватывающей и ограничивающей такое развитие; с другой же стороны, речь идет о врожденных, конституциональных элементах, при помощи которых характерологи делят индивидов на классы.

Балинт считает, что аналитический опыт способен дать нам в этом плане гораздо большее. Что касается меня, я готов с ним условно согласиться, заметив, что анализ может привести к глубоким изменениям в характере.

....

Вы совершенно справедливо остановились на том замечании Балинта, что начиная с 1938-1940 годов огромная часть прежнего словаря исчезает из статей по психоанализу одновременно с тем, как воцаряется ориентация психоанализа на объектное отношение. Как говорит Балинт, коннотации этой части словаря были *слишком либидинальными* – так, например, исчезает термин *садистский*.

Такое признание весьма показательно. Речь идет как раз об этом – о возрастающем пуританизме аналитической атмосферы.

....

Балинт вполне отдавал себе отчет в том, что здесь должно быть нечто, существующее между двумя субъектами. Поскольку он был совершенно лишен необходимого концептуального аппарата, чтобы ввести интерсубъективное отношение, ему приходится говорить о *two bodies' psychology*. Таким путем он пытается выйти за пределы *one body's psychology*. Однако очевидно, что *two bodies' psychology* является все же отношением объекта к обькту.

Теоретически, в этом не было бы ничего серьезного, если бы это не имело последствий в конкретном терапевтическом общении с пациентом. Ведь в действительности это вовсе не отношение объекта к объекту. Как вы прекрасно сказали, Балинт *запутался в дуальном отношении, отрицая его*. Я поздравляю вас, трудно найти более подходящую формулу, чтобы сказать, какие обычно подбирают выражения для объяснения аналитической ситуации.

Для того чтобы продвигаться вперед, всякое знание должно объективировать те части, которые могут быть объективированы. Каким же образом происходит прогресс в анализе, если не благодаря вмешательствам, которые помогают субъекту объективировать себя, рассматривать себя в качестве объекта?

Балинт объективирует субъекта, но в другом смысле. Он предлагает, как я сказал бы, прибегнуть к обращению к реальному, что полностью упраздняет тем самым – вследствие непризнания, как вы только что об этом говорили – весь регистр символического. В самом деле, данный регистр в объектном отношении полностью исчезает, а вместе с ним – и регистр воображаемого. И тогда объекты приобретают абсолютное значение.

Балинт говорит нам, как следует действовать – *создать атмосферу, атмосферу неповторимую, атмосферу подходящую.* Это все, что ему остается сказать – нечто крайне неясное, почти невыразимое, и тогда он задействует реальность, то, что он называет событием. Очевидно, что анализ проводится не для того, чтобы мы бросались на шею нашему пациенту, а он – нам на шею в ответ. Ограниченность средств анализа заставляет нас задуматься над проблемой, в какой плоскости происходит его действие. Балинту пришлось обратиться к пробуждению всех регистров реального.

Вовсе не случайно реальное всегда находится на заднем плане и я никогда прямо не указываю его в том, что мы здесь комментируем. Собственно говоря, оно просто исключено. И Балинту, как и любому другому, не удастся его вернуть. Но именно поэтому он и пытается к нему прибегнуть. И отклонение в технике вполне соответствует здесь неудаче в теории.

2

Уже много времени. Я не хочу задерживать вас после без четверти двух.

Я думаю, что Гранов заслуживает хорошей отметки. Он полностью осуществил то, что я от него ожидал, и прекрасно представил вам совокупность проблем, поставленных в книге Балинта – в его единственной книге, являющейся результатом как размышлений автора, так и его профессионального опыта.

На этой почве может возникнуть ряд вопросов. Мы обратимся к ним в следующий раз. Мне единственно хотелось бы выделить статью 1933 года, о которой вы не говорили – "*Transference of emotions*". Эмоции ли подвергаются переносу? Похоже, что это название недоумения ни у кого не вызвало.

Данная статья не предназначена лишь для аналитиков, она адресована также неспециалистам и написана для того, чтобы разъяснить понятие переноса, которое, как говорит Балинт, большинству мало знакомо, а в научном мире известно гораздо менее, нежели феномен сопротивления. Он приводит несколько примеров. Вы найдете их весьма забавными.

Итак, из этого пробела в изложении Гранова я и буду исходить, чтобы заново разъяснить оставшееся. Из-за того, что у Балинта нет верного определения символа, символ оказывается повсюду.

В той же самой статье Балинт говорит нам, что интерпретация аналитиками своего опыта, естественно, является психологией, или же характеристикой самого аналитика. Это сказал не я, это его собственное замечание. Сам автор дает нам свидетельство тому, что нужно провести психоанализ аналитика-теоретика, чтобы определить место некоторых современных тенденций как теории, так и практики.

До следующей среды.

26 мая 1954 года.

XVII

ОБЪЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОЕ

Балинт и Ференци.
Удовлетворение потребности.
Карта Страны Нежности.
Интерсубъективность в перверсиях.
Сартровский аналитик.

Итак, посмотрим, каковы особенности концепции, которую мы считаем принадлежащей Балинту, но на самом деле относящейся к совершенно особой, мы назовем ее венгерской, традиции, поскольку во главе ее оказалась личность Ференци. Мы, безусловно, коснемся также отношений Ференци и Фрейда в том виде, в каком они проявились во множестве мелких фактов из жизни. Это очень забавно.

До 1930 года Ференци отчасти имел репутацию *enfant terrible* психоанализа. В отношении хора аналитиков он сохранял завидную непринужденность. Его способ постановки вопросов не был отмечен следами заботы о соответствии выражений тому, что уже в ту эпоху считалось *ортодоксальным.* Так, он неоднократно обращался к вопросам, которые могут быть объединены вокруг выражения *активный психоанализ* – как будто что-то стало понятным благодаря именно этому ключевому слову.

Ференци начинает задаваться вопросом о той роли, какую должны играть в тот или иной момент анализа, во-первых, инициатива аналитика, во-вторых, само его бытие. При этом не следует упускать то, в каких терминах он это делает, и считать любое вмешательство активным. Например, вчера вы познакомились с вопросом о запретах в отношении случая, сообщенного нам доктором Морганом. Как я напомнил вам вчера вечером, в "*Работах по технике психоанализа*" Фрейда этот вопрос уже был затронут. Фрейд всегда допускал как совершенно очевидное, что в некоторых случаях нужно уметь активно вмешаться,

наложив определенные запреты: "*Ваш анализ не может быть продолжен, если вы станете заниматься деятельностью, которая, в определенном роде насыщая ситуацию, выхолащивает, в собственном смысле слова, все, что может в анализе произойти.*"

Исходя из предпринятого нами исследования концепции Балинта, и с этой целью вновь перелистывая страницы истории, мы постараемся выяснить, что означает для Ференци понятие активного психоанализа – понятие, введение которого следует отнести на его счет.

Мимоходом отмечу, что Ференци за свою жизнь неоднократно менял позицию. Отказываясь впоследствии от некоторых из своих попыток, он заявлял, что на деле они оказались излишними, неплодотворными, даже вредными.

Итак, Балинт принадлежит той венгерской традиции, которая развилась вокруг проблем, связанных с отношением анализируемого и аналитика – это отношение рассматривалось как меж-человеческая ситуация, в которую оба участника вовлечены как личности, что предполагает определенную взаимность. Подобные вопросы сегодня формулируются в терминах переноса и контр-переноса.

1930-м годом мы можем ограничить влияние личности Ференци. Далее начинается влияние его учеников.

Деятельность Балинта относится к периоду с 1930 года и до наших дней – периоду, характеризующемуся постепенным закреплением в психоанализе понятия объектного отношения. Я думаю, именно оно является центральным пунктом концепции Балинта, его жены и их сотрудников, исследовавших психологию животных. Это прекрасно демонстрирует нам книга, которая, хотя и является лишь сборником довольно пестрых, разнородных статей, выходивших в свет на протяжении двадцатилетнего периода, отличается, тем не менее, редким внутренним единством.

1

Я предполагаю, что горизонт представших перед нами вопросов уже очерчен, поскольку доклад Гранова позволил вам определить в целом место проблем, поставленных Балинтом.

Итак, мы будем исходить из объектного отношения. Как вы увидите, такое отношение находится в центре всех проблем.

Обратимся сразу же к сути дела. Центральным моментом всей перспективы разработки Балинтом понятия объектного отношения является следующее: объектное отношение – это такое отношение, которое соединяет потребность с объектом, удовлетворяющим данную потребность.

Согласно его концепции, объект – это прежде всего объект удовлетворения. Ничего удивительного, ведь поле аналитического опыта относится к порядку либидинальных отношений, порядку желания. Но значит ли это, что определив объект, в человеческом опыте, как то, что насыщает потребность, мы можем в соответствии с этим разрабатывать, группировать и объяснять то, с чем, согласно опыту, мы встречаемся в психоанализе?

Основное объектное отношение удовлетворяет, как считает Балинт, тому, что можно назвать наполненной формой, формой типической. В типичном виде форма эта дана в *первичной любви, primary love,* как он ее называет, а именно, в отношениях ребенка и матери. Важнейшей статьей, рассматривающей данный вопрос, является *"Mother's love and love for the mother"* Алисы Балинт. Особенностью отношения ребенка к матери, полагает Алиса Балинт, является то, что мать, как таковая, удовлетворяет всем потребностям ребенка. Конечно, это осуществляется не всегда, но в положении ребенка имеет структурное значение.

По сути, человек поступает здесь совершенно как животное. В течение определенного времени, маленький человечек, как и маленькое животное, не может обойтись без материнского ухода, удовлетворяющего во время его первых шагов в мире жизни некоторую первичную потребность. Однако ребенок более, чем кто-либо, зависит от такого ухода по причине отставания в его развитии. Как вы знаете, можно сказать, что ребенок рождается, еще не утратив некоторые черты зародыша, выдающие преждевременность его рождения. Балинт касается этого момента лишь вскользь и между прочим. Но так или иначе он все же отмечает его, и у него есть на то веские основания.

Как бы то ни было, отношение "ребенок-мать" является для него основополагающим, и он даже говорит, что если оно устанавливается благополучно, то лишь несчастный случай может

его нарушить. Такой случай может войти в правило, это ничего не меняет, он остается случаем применительно к отношению, рассматриваемому в его существенных чертах. Если удовлетворение существует, то желанию такого первичного отношения, пресловутой *primary love*, нет даже необходимости появляться. Не появляется ничего. А если что-то от этого желания все же дает о себе знать, то по отношению к основополагающей ситуации, к замкнутому отношению двоих это "что-то" выступает как помеха.

Я не могу долго на этом задерживаться, но должен сказать, что статья Алисы Балинт развивает данную концепцию вплоть до самых героических выводов. Давайте проследим за ее рассуждением.

Для ребенка все хорошее, что получает он от матери, само собой разумеется. Ничто не подразумевает автономии этого партнера, ничто не подразумевает, что это другой субъект. Потребность требует. И все в объектном отношении само собой ориентируется на удовлетворение потребности. Если существует таким образом предустановленная гармония, замкнутость первого объектного отношения человеческого существа, тенденция к совершенному удовлетворению, то со всей строгостью то же самое должно быть верно и для другой стороны – для матери. Ее любовь к своему отпрыску отличается в точности тем же характером предустановленной гармонии в первичной плоскости потребности. Уход за младенцем, контакт с ним, кормление грудью – все, что на животном уровне связывает ее с ребенком, удовлетворяет ее собственную потребность, комплиментарную потребности ребенка.

И Алиса Балинт намеревается доказать – именно в этом и состоит героическая крайность ее изложения, – что материнская потребность имеет ровно те же границы, что и всякая жизненная потребность, а именно: *когда уже нечего дать, начинают забирать*. Наиболее ярким элементом ее доказательства является пример из жизни так называемых примитивных обществ – имеется в виду не примитивность социальной или общинной структуры таких обществ, но, скорее, большая их подверженность страшным кризисам в витальной плоскости потребности, идет ли речь об эскимосах или племенах, скитающихся в нище-

те по австралийским пустыням, – когда им нечего есть, они съедают своих детей. Это часть той же системы: в регистре витального удовлетворения потребности не существует никакого зазора между понятиями кормить и есть – мать целиком принадлежит ребенку, но в то же время и ребенок целиком принадлежит ей. Когда уже не остается иного выхода, ребенок легко может быть съеден. Поглощение является частью отношений между животными, объектных отношений. В нормальных условиях ребенок питается своей матерью, поглощает ее по мере своих возможностей. Верно и обратное. Когда у матери не остается другого выхода, она съедает ребенка.

Балинт углубляется в этнографические детали, приводя весьма впечатляющие примеры. Не знаю, насколько они точны – никогда не стоит слишком доверять сведениям, дошедшим к нам издалека. И все же, согласно этнографическим данным, в периоды бедствий, в пору лютого голода, являющегося частью ритма жизни изолированных народов, остановившихся в своем развитии на примитивных стадиях, например, в некоторых австралийских племенах, женщины, будучи беременными, способны, с редким умением, свойственным определенной примитивной деятельности, сделать себе аборт, чтобы прокормиться объектом, находившимся в их утробе и нарочито преждевременно произведенным на свет.

Короче говоря, отношение ребенок-мать представлено тут как отправная точка комплиментарности желания. Перед нами непосредственное прилаживание желаний, подогнанных и плотно охватывающих друг друга. Рассогласованности и зазоры являются всегда лишь случайными.

Такое определение, отправная точка и узловой момент всей балинтовской концепции, в корне противоречит аналитической традиции в отношении инстинктивного развития. В самом деле, определение отношения ребенок-мать противоречит предположению о существовании некоторой первичной стадии – стадии аутоэротизма, как ее назвали, а предположение такое содержится в целом ряде текстов Фрейда, хотя и не без оговорок – оговорок весьма значительных, всегда оставляющих место некоторой двусмысленности.

В классической венской концепции либидинального развития отмечается этап, на котором ребенок знает лишь свою потребность, в том смысле, что не существует отношения между ним и объектом, потребность удовлетворяющим. Он знает лишь свои ощущения и реагирует в плоскости стимула-реакции. Для него не существует первичного предустановленного отношения, а есть лишь чувство собственного удовольствия или неудовольствия. Мир для него является миром ощущений. И такие ощущения влияют на него, подчиняют себе, управляют его развитием. Тут не приходится принимать в расчет его отношение к объекту, поскольку никакого объекта для него еще не существует.

Именно этот классический тезис – Берглер излагает его в статье "*Earliest stages*", напечатанной в 1937 г. в *International Journal,* на странице 416 – определил особую невосприимчивость венских кругов к тому, что начинало появляться в среде английской. А здесь упор делается на то, что позднее будет развито в кляйновской теории, а именно, идея первичных травматических элементов, связанных с понятием плохого и хорошего объекта, первичных проекций и интроекций.

Каковы же следствия балинтовской концепции объектного отношения? Прежде всего, отметим следующее – ясно, что Балинт и те, кто ему следует, движутся в истинном направлении. Кто станет отрицать, понаблюдав за младенцем 14-20 дней от роду, что тот проявляет избирательный интерес к объектам? Соответственно, традиционная идея о том, что аутоэротизм является первичным уделом либидо, требует интерпретации. Такая идея, без сомнения, имеет определенную ценность, но будучи помещенной в бихевиористскую плоскость отношения живого существа к его *Umwelt*, она становится ложной, поскольку наблюдения свидетельствуют нам о существовании объектного отношения. Подобные примыкающие к теории анализа теоретические разработки извращают сам дух понятия либидо. В настоящий момент значительная, большая часть аналитического движения следует именно по такому пути.

Итак, Балинт определяет объектное отношение через удовлетворение потребности, с которой объект находится в замкнутом, завершенном соответствии, принимающем форму первичной любви – первая модель такой любви дана в отношении ре-

бенок-мать. К концепции Балинта можно было бы найти и другие подступы. Но каковы бы они ни были, вы обнаружите в его мысли одни и те же тупики и проблемы, поскольку его мысли присуща внутренняя логика. Если исходить из подобного объектного отношения, то невозможно будет из него выйти. Объектное отношение, каковы бы ни были его развитие, этапы, переходы, стадии, фазы, преобразования, – всегда будет иметь одно и то же определение.

2

Если объекту дано подобное определение, то независимо от того, как вы будете изменять качества желания в переходе от орального к анальному и затем к генитальному, всегда будет получаться, что должен быть какой-то объект для его удовлетворения и насыщения.

Генитальное отношение – в том, что оно содержит в себе законченного, в своем завершении в инстинктивной плоскости – описывается той же теорией, что и отношения ребенок-мать. В завершенном генитальном удовлетворении, удовлетворение одного если и не заботится об удовлетворении другого, то по крайней мере насыщается в таком удовлетворении. Само собой разумеется, что в этом же отношении оказывается удовлетворенным и другой. Вот суть балинтовской концепции *genital love*. То же самое, что и в *primary love*.

Балинт не может мыслить вещи иначе, раз объект определен для него как объект удовлетворения. Поскольку ясно, что в тот момент, когда взрослому человеку в действительности приходится применить свои способности генитального обладания, все становится значительно сложнее, то Балинту приходится свою теорию дополнить. Но это всегда лишь дополнения, и ничуть не более – здесь отсутствует понимание того, откуда могла возникнуть инициатива субъекта, его восприятие существования или, как говорят, *реальности* партнера.

То, что составляет отличие *genital love* от *primary love*, – это доступ к реальности другого как субъекта. Субъект отдает себе отчет в существовании другого субъекта как такового. Он заботится не только о наслаждении своего партнера, но о целом ряде других прилежащих требований. Ничто здесь само собой

не разумеется. Балинт же воспринимает это как данное. Как он считает, все дело лишь в том, что взрослый человек гораздо сложнее ребенка. По сути же, регистр удовлетворения один и тот же. Существует замкнутое удовлетворение двоих, где в идеале каждый находит в другом объекте то, что удовлетворяет его желание.

Но откуда же берутся требуемые на генитальной стадии способности восприятия потребностей и требований другого? Что может привнести в замкнутую систему объектного отношения признание другого? Ничто не может его туда привнести – вот что поражает.

И тем не менее, они должны откуда-то появиться – те элементы, которые он называет нежностью, идеализацией и которые предстают в качестве миражей любви, драпирующих половой акт, – должна появиться Карта Страны Нежности. Балинт не может отрицать этого измерения, поскольку о нем свидетельствуют клинические факты. И тогда он говорит – тут-то и расползается по швам вся его теория, – что корни всего этого лежат в предгенитальном.

Поразительно! Это значит, он вынужден сделать из *primary love* основание того характерного именно для генитальной стадии измерения, в котором как раз и возникают сложные отношения к другому, превращающие совокупление в любовь. Однако до этого он все время определял *primary love* как замкнутое в себе самом объектное отношение без интерсубъективности. – Теперь же, добравшись до генитальной стадии, он хотел бы извлечь из той же самой *primary love* некоторое составляющее интерсубъективного отношения. Вот в чем противоречие его доктрины.

Балинт считает, что предгенитальное сформировано объектным отношением, которое мы назвали бы животным и в котором объект не является *selfish*, не является субъектом. Балинт не употребляет данный термин, но используемые им выражения прекрасно показывают, о чем идет речь. В предгенитальном совершенно отсутствует *self* – если только сам переживающий не являет собой это отношение. И всегда есть объект для насыщения его потребностей. Когда же мы перейдем к уровню генитального отношения, мы так и не сможем выйти из объектного

отношения, определенного подобным образом, даже если скажем, что оно прошло определенное развитие, поскольку как бы ни изменялось желание, объект всегда будет ему комплиментарен. Балинт все же вынужден сказать – так и не заполнив возникающую при этом брешь, – что интерсубъективность, то есть опыт *selfishness* другого, исходит из предгенитальной стадии, откуда прежде он интерсубъективность исключал. И это верно. Такой факт вполне ощутимо выдает себя в аналитическом опыте. Но это совершенно противоречит всей теории *primary love*. И уже здесь, в плоскости теоретического высказывания, мы прекрасно видим, к какому тупику ведет понимание объектного отношения в регистре удовлетворения.

Д-р Ланг: – *На мой взгляд, есть еще одно противоречие, и оно столь же заметно в том, что вы изложили. В замкнутом мире* primary love, *на самом деле, полностью смешаны понятия потребности и желания. Однако и вы сами употребляли то один термин, то другой. Быть может, обратив внимание на этот момент, мы увидим, в чем тут загвоздка.*

Лакан: – Балинт поочередно употребляет оба термина. Основанием его мысли является *need*, потребность, и лишь случайно, когда чего-то не хватает, *need* проявляет себя в *wish*. Об этом ли идет речь – является ли человеческое *wish* по-просту лишением, с которым сталкивается *need*? Исходит ли желание единственно из фрустрации? Многие аналитики, чьи мысли отличаются гораздо меньшей, чем у Балинта, связностью, далеко зашли по этой дорожке, сделав понятие фрустрации ключевым моментом всей аналитической теории – фрустрация первичная, вторичная, простейшая, сложная и т. д. Необходимо отмежеваться от подобного ослепления, чтобы вновь обрести почву под ногами. Что я и попытаюсь теперь проделать.

3

Если психоанализ и привнес нечто принципиально новое в представление о либидинальном развитии, так это мысль, что ребенок подвержен перверсии, и даже полиморфной перверсии.

До наступления этапа генитальной нормализации, зачатки которого возникают вокруг эдипова комлекса, ребенок проходит целый ряд фаз, связываемых с термином частичных влечений. Таковы его первые либидинальные связи с миром. К этому зачаточному этапу современная теория анализа применяет понятие объектного отношения, которое рассматривают – понятие Ланга тут весьма плодотворно – в ракурсе понятия фрустрации.

Что же это за первичная перверсия? Следует принять во внимание, что аналитический опыт исходил из определенных клинических проявлений, среди которых есть и перверсии. Если вводить в предгенитальную стадию перверсии, то нужно вспомнить, что они представляют собой там, где выступают в ясной и отчетливой форме.

Применимо ли балинтовское понятие объектного отношения в феноменологии перверсии, которая подразумевает предгенитальную стадию, и в феноменологии любви?

Вовсе нет. Напротив, нет ни одной формы перверсивных проявлений, сама структура которых не опиралась бы в каждый конкретный момент переживания на интерсубъективное отношение.

Отставим в сторону вуаеристское и эксгибиционистское отношение – здесь все очевидно. Возьмем в качестве примера садистское отношение, будь то его воображаемая форма или парадоксальная клиника.

Одно не оставляет здесь сомнений – садистское отношение сохраняется лишь постольку, поскольку другой находится ровно на той границе, где еще сохраняется субъект. Если же останется лишь реагирующая плоть, своего рода моллюск, которого теребят за края, а тот лишь трепещет, – то больше уже не будет садистского отношения. Садист остановится тут, неожиданно столкнувшись с пустотой, зиянием, полостью. В действительности садистское отношение подразумевает причастность согласия партнера – его свободы, его признания, его унижения. Доказательством тому служат так называемые мягкие формы садизма. Не правда ли, большинство садистских проявлений, оставаясь далеки от крайности, останавливаются, скорее, на пороге исполнения угроз – играя ожиданием, страхом другого, давле-

нием, угрозой, наблюдая за более или менее тайными формами участия партнера?

Как вы знаете, подавляющее большинство клинических случаев, известных нам в качестве перверсий, остается в плоскости только лишь игрового исполнения. Здесь мы имеем дело отнюдь не с субъектами, испытывающими какую-то потребность. В мираже игры каждый идентифицирует себя с другим и интерсубъективность предстает как главное измерение.

Я не могу тут не сослаться на автора, наиболее искусно описавшего подобную игру, – я имею в виду Жан-Поля Сартра и его феноменологию восприятия другого во второй части "*Бытия и Ничто*". С точки зрения философии эта работа может быть подвергнута разносторонней критике, но, вне всякого сомнения, данное описание благодаря таланту и виртуозности автора отличается редкой убедительностью.

Все доказательство разворачивается вокруг основного феномена, который Сартр называет взглядом. Человек как объект исконно, *ab initio*, выделяется в поле моего опыта; он не уподобляется никакому воспринимаемому объекту, поскольку он является объектом, взирающим на меня. Сартр расставляет здесь весьма точные акценты. Взгляд, о котором идет речь, вовсе не совпадает с тем фактом, например, что я вижу глаза человека. Я ведь могу чувствовать, что на меня смотрит кто-то, хотя я не вижу ни его глаз, ни даже его самого. Достаточно, чтобы нечто означало для меня возможность присутствия другого. Вот, например, окно: если немного стемнеет и если у меня будут причины думать, что за окном кто-нибудь есть, – оно станет с тех пор взглядом. С того момента, как существует взгляд, я становлюсь уже чем-то другим, поскольку чувствую, что я сам стал объектом для взгляда другого. Но такое положение взаимно, и другой так же знает, что я являюсь объектом, который знает, что его видят.

Здесь прекрасно описана вся феноменология стыда, застенчивости, престижа, особого страха, порождаемого взглядом, и я советую вам обратиться к этой работе Сартра. Это весьма существенное для аналитика чтение, особенно теперь, когда анализ ухитрился забыть об интерсубъективности даже в опыте пер-

версий – опыте, буквально сотканном внутри регистра, в котором нетрудно распознать плоскость воображаемого.

В самом деле, в так называемых перверсивных проявлениях мы наблюдаем нюансы, которые уже никак не могут быть спутаны с тем, что я учу вас полагать в центре символического отношения, – с признанием. Такие формы крайне двойственны – не случайно я заговорил о стыде. Тонкий анализ престижа также навел бы нас на его формы, связанные с насмешкой, – например, на тот стиль, в который престиж выливается у детей, где он является одной из форм побуждения и т. д.

Один мой знакомый рассказал мне историю о предваряющей корриду шутке, *joke*, в которой испанцы заставляют участвовать дурачков. Он описал мне замечательную сцену коллективного садизма. Вы сможете оценить всю ее двойственность.

Так вот, один из этих дурачков, которых облачают по такому случаю в лучшие украшения матадора, предстает перед публикой. Он красуется на арене до появления животных, участвующих в этих играх. Как вы знаете, эти животные не совсем безобидны. Толпа неиствует: *"Что за красавец перед нами!"*. Этот персонаж, идиотизм которого вполне соответствует традиционному духу знаменитых придворных игр старой Испании, начинает паниковать и пытается уклониться от предстоящей ему роли. Его товарищи говорят ему: *"Ну, давай же, вперед, смотри, все ждут."*. Вся публика принимает участие в игре. Панический страх персонажа растет. Он отказывается наотрез, хочет скрыться. Его толкают на арену, и тут в нем совершается переворот. Неожиданно он освобождается от тех, кто толкает его, и, поддавшись железной настойчивости криков народа, он преображается в своего рода шутовского героя. Подчиняясь структуре ситуации, он устремляется к животному, проявляя все черты жертвенного поведения, за тем лишь исключением, что все не идет дальше шутовства. Он тут же валится на землю, и его уносят.

Эта поразительная сцена прекрасно иллюстрирует, на мой взгляд, двойственную область, где главенство отдано интерсубъективности. Вы могли бы сказать, что символический элемент – давление крика – играет здесь первостепенную роль, однако он почти что аннулирован характером массовости феномена, присущем ему в данном случае. Совокупность феномена сведена,

таким образом, к тому уровню интерсубъективности, который свойственен проявлениям, предварительно названными нами перверсивными.

Можно пойти еще дальше. Так, Сартр дает, на мой взгляд, неопровержимое структурирование феноменологии любовного отношения. Я не могу воспроизвести вам ее целиком, поскольку для этого мне понадобилось бы проследить все фазы диалектики бытия-в-себе и бытия-для-себя. Вам придется потрудится самим и обратиться к работе Сартра.

Сартр совершенно справедливо замечает, что в любовном переживании мы требуем от объекта, которым мы желали бы быть любимы, отнюдь не совершенно свободного добровольного обязательства. Изначальный пакт, слова "*ты моя жена*" или "*ты мой супруг*", часто мной упоминаемые в разговоре о регистре символического, не содержат ничего в своей корнелиевской абстракции, что могло бы насытить наши основные требования. Природа желания выражается в своего рода телесном увязании свободы. Мы хотим стать для другого объектом, который имел бы для него то же значение границы, какое имеет в отношении к его свободе его собственное тело. Мы хотим стать для другого не только тем, в чем отчуждается его свобода – без всякого сомнения, вмешательство свободы необходимо, поскольку добровольное обязательство является главным элементом нашего требования быть любимым, – но также необходимо, чтобы это было нечто гораздо большее, нежели свободное обязательство. Необходимо, чтобы свобода сама согласилась от себя отказаться и стала с тех пор ограничена всем тем, что могут иметь переменчивого, несовершенного, даже низкого те пути, на которые увлекает ее плененность тем объектом, которым мы являемся сами.

Итак, требование стать – благодаря нашей конкретности, благодаря нашему особенному существованию, во всей телесности и ограниченности такого существования для нас самих, для нашей собственной свободы, – добровольной границей, формой отречения от свободы со стороны кого-то другого – это требование феноменологически определяет любовь в ее конкретной форме – *genital love*, как только что было сказано нашим старым приятелем Балинтом. Вот что помещает ее в промежуточной, двойственной зоне между символическим и воображаемым.

Если любовь целиком увязает, целиком оказывается захвачена той воображаемой интерсубъективностью, на которой я хотел бы сосредоточить ваше внимание, она требует в своей завершенной форме участия в регистре символического, обмена в форме свободного соглашения, реализуемого как “данное слово”. Тут возникает область, где вы можете выделить различные плоскости идентификации, как мы зачастую неточно привыкли говорить, и целую гамму нюансов, целый веер форм, разворачивающихся между воображаемым и символическим.

Как видите, вопреки балинтовской перспективе, нам следует исходить из радикальной интерсубъективности, из всецелого принятия одного субъекта другим – и это гораздо более сообразно нашему опыту. Лишь задним числом, *nachträglich*, опираясь на опыт взрослого, можем мы приступить к некоторому предполагаемому изначальному опыту, отступая постепенно ко все более ранним стадиям и всегда оставаясь в области интерсубъективности. Пока мы придерживаемся аналитического регистра, нам следует исходить из интерсубъективности.

Не существует никакого возможного перехода между регистром животного желания, где отношение является объектом, и регистром признания желания. Интерсубъективность должна присутствовать в самом начале, поскольку она присутствует в конце. И если аналитическая теория считает тот или иной образ действий или симптом ребенка полиморфно перверсивным, то происходит это потому, что перверсия подразумевает измерение воображаемой интерсубъективности. Только что я попытался представить вам это при помощи того двойного взгляда, благодаря которому я вижу, что другой меня видит, а некто третий при этом видит меня увиденным. Никогда не может быть простого удвоения элемента. Я не только вижу другого, я вижу, что он меня видит, а это подразумевает и третий элемент: что он знает, что я его вижу. Круг замкнулся. В структуре всегда имеется три элемента, даже если все три не присутствуют отчетливо.

Картина перверсий взрослого человека очень богата. Вообще говоря, перверсия представляет собой единственный в своем роде путь исследования возможных для человеческой природы способов существования – это внутренний надрыв, зияние, сделавшие возможным проникновение в над-природный мир сим-

волического. Однако если ребенок является полиморфно перверсивным, означает ли это, что мы должны переносить на него и то качественное значение перверсии, в котором она присутствует в жизни взрослого? Должны ли мы искать у ребенка интерсубъективность того же типа, что и конституирующая интерсубъективность в перверсии взрослого?

Вовсе нет. На что опираются Балинты, говоря о той первичной любви, которая вовсе не принимает в расчет *selfishness* другого? – Именно на те слова, которые порой можно услышать от ребенка, любящего свою мать больше всего на свете: "*Когда ты умрешь, мамочка, я возьму твои шляпки*", или: "*Когда дедушка умрет...*" и т. д. Подобные слова побуждают взрослого заискивать перед ребенком, ибо ребенок начинает казаться им уже едва ли не божеством, которое трудно помыслить себе и чувства которого непостижимы. Когда люди сталкиваются со столь парадоксальными феноменами, когда они не знают уже, что и думать, и должны решать для себя вопрос трансцендентного, – возникает мысль, что находишься либо перед божеством, либо перед животным. Детей слишком часто принимают за божество, чтобы сознаваться в этом, и тогда говорят, что их считают животными. Как раз это и делает Балинт, думая, что ребенок признает другого разве что в отношении к своей собственной потребности. Это совершенно ошибочное мнение.

Простой пример с фразой "*когда ты умрешь*" указывает нам, где на деле проявляется основополагающая интерсубъективность у ребенка – она проявляется в самом факте, что ребенок может пользоваться языком.

Как совершенно верно заметил Гранов, в тексте Балинта смутно предугадывается значение того, что я вслед за Фрейдом выделяю в первых детских играх, где ребенок, вызывает (я не говорю – "называет") присутствие в отсутствии и отбрасывает объект присутствия. Однако Балинт не распознает в этом феномен языка. Он видит лишь одно – ребенок не принимает в расчет объект. Тогда как важнее всего, что это маленькое человечное животное способно использовать символическую функцию, благодаря которой, как я вам объяснял, мы можем привести сюда слонов, какой бы узкой ни была дверь.

С самого начала интерсубъективность дана прежде всего в использовании символа. Исходной точкой всему является здесь способность именования, которое, уничтожая вещь, одновременно переводит ее в символическую плоскость, благодаря чему и возникает собственно человеческий регистр. Именно отсюда начинается все более и более сложное по форме воплощение символического в воображаемом переживании субъекта. Все изменения, которые в жизненном опыте взрослого может претерпеть изначальная вовлеченность в воображаемое, плененность им, моделируются в символическом.

Пренебрегая интерсубъективным измерением, исследователь неизбежно попадает в регистр объектного отношения, из которого невозможно выйти и который приводит как к теоретическим, так и практическим тупикам.

Отличалось ли мое сегодняшнее изложение достаточной законченностью, чтобы мы могли остановиться на этом? Хотя я не хочу сказать, что данная тема не может быть продолжена.

Для ребенка, вопреки тому, что принято думать, существует в первую очередь символическое и реальное. Все, что затем начнет складываться в воображаемом, обогащать и разнообразить его, будет исходить из этих двух полюсов. Вы в некотором смысле правы, если думаете, что ребенок более подвластен воображаемому, чем остальному. Воображаемое – здесь. Однако оно нам совершенно недоступно. Доступ к нему мы можем получить лишь опираясь на его реализацию у взрослого.

Пройденная, прожитая история субъекта, история, к которой мы пытаемся подступиться в нашей практике, – это вовсе не то, что пытался вчера вечером представить вам докладчик как дремоту, возню пациента во время анализа. Подступиться к этой истории мы можем – и именно этим мы и занимаемся, осознавая то или нет – лишь посредством детского языка у взрослого. Я продемонстрирую вам это в следующий раз.

Ференци отлично сумел понять важность этого вопроса – что в психоанализе заставляет ребенка заговорить внутри взрослого? Ответ совершенно очевиден – то, что было вербализовано с нарушением непрерывности.

2 июня 1954 года.

XVIII

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК

Извращенное желание.
Господин и раб.
Цифровое структурирование поля интерсубъективности.
Холофраза.
Речь в переносе.
Ангелус Силезиус.

В прошлый раз мы остановились на дуальном отношении в первичной любви. Как вы могли видеть, Балинт рассматривает согласно данной модели и само аналитическое отношение – что он со всей строгостью называет *two bodies' psychology*. Я думаю, вы поняли, в какой мы заходим тупик, когда воображаемое отношение, которое мыслится гармоничным и насыщающим естественное желание, становится центральным понятием.

Я постарался показать вам это на примере феноменологии перверсивного отношения. Мы остановили наше внимание на садизме и скопофилии, отставив в сторону гомосексуальное отношение, которое потребовало бы чрезвычайно подробного изучения воображаемой интерсубъективности, ее переменчивости, непостоянства ее равновесия, ее критического характера. Наше изучение воображаемого интерсубъективного отношения разворачивалось вокруг феномена взгляда.

Место взгляда не определяется просто-напросто уровнем глаз. Глаза прекрасно могут не появляться вовсе, оставаться скрытыми. Взгляд вовсе не обязательно является лицом нам подобного, он может быть с тем же успехом и окном, за которым, как мы предполагаем, кто-то нас подстерегает. Это некоторый *x*, объект, перед которым субъект становится объектом.

Я представил вам опыт садизма, который, на мой взгляд, удачно демонстрирует это измерение. Я показал вам, что во взгляде терзаемого мной существа я должен поддерживать мое желание посредством ежесекундного вызова, *challenge*. Если желание не выше ситуации, если ему нечем гордиться, – оно

провалится со стыда. То же самое ведь верно и для вуайеристского отношения. Согласно анализу Жана-Поля Сартра, для того, кого застигают за подглядыванием, вся окраска ситуации моментально меняется и я становлюсь чистой вещью, маньяком.

1

Что такое перверсия? Она не является лишь отклонением в отношении социальных критериев, аномалией, противоречащей добропорядочным нравам (хотя такой регистр и не отсутствует), или же атипией в отношении естественных критериев, то есть более или менее серьезным нарушением репродуктивной цели сексуального соединения. Уже в самой своей структуре она представляет собой нечто совершенно иное.

Не случайно говорят, что определенные склонности к перверсии происходят от желания, которое не решается назвать своего имени. Перверсия и вправду располагается на границе регистра признания, из-за чего и происходит ее фиксирование, стигматизация ее как таковой. Структурно перверсия, в том виде, в каком я очертил ее в плоскости воображаемого, всегда имеет статус очень непрочный, который изнутри ежесекундно субъектом оспаривается. Перверсия всегда хрупка, готова опрокинуться, измениться в свою противоположность; это свойство ее напоминает эффект перемены знака в некоторых математических функциях: в момент перехода от одного значения переменной к значению, непосредственно следующему за первым, коррелирующая величина меняет плюс бесконечность на минус.

Это основополагающее непостоянство перверсивного отношения, которому не удается установиться ни в каком удовлетворительном действии, являет собой одну сторону драмы гомосексуальности. Но именно такая структура придает перверсии и ее ценность.

Опыт перверсии позволяет нам углубить понимание того, что можно с полным основанием назвать термином Спинозы — человеческой страстью, где человек открыт тому разделению с самим собой, которое структурирует воображаемое, то есть зрительное отношение в промежутке от O до O'. Такой опыт и в самом деле открывает перспективу более глубокую, ибо в этом зиянии человеческого желания выявляются все нюансы, от сты-

да до престижа, от шутовства до героизма, в которых человеческое желание целиком открыто на встречу и отдано на милость желанию другого.

Вспомните изумительный анализ гомосексуальности, развертывающийся у Пруста в мифе об Альбертине. Неважно, что персонаж здесь женского пола – структура отношения представляет гомосексуальность великолепно. Требование такого стиля желания может быть удовлетворено лишь неустанной охотой за желанием другого, вплоть до снов его, которое преследует субъект в собственных снах, что подразумевает ежесекундное и полное отклонение от собственного желания другого. Перед нами фокус, зеркало-обманка, которое в каждый миг совершает полный оборот вокруг собственной оси – субъект изматывает себя преследованием желания другого – желания, которое он никогда не сможет уловить как свое собственное, поскольку его собственное желание является желанием другого. Он преследует себя самого. Вот где заложена драма этой ревнивой страсти, являющейся также формой воображаемого интерсубъективного отношения.

Интерсубъективное отношение, лежащее в основе перверсивного желания, поддерживается лишь сведением на нет либо желания другого, либо желания субъекта. Оно уловимо лишь в пределе, в моменты тех превращений, смысл которых проблескивает лишь на мгновение. Можно сказать – вдумайтесь хорошенько в эти слова, – что как для одного, так и для другого подобное отношение разлагает бытие субъекта. Бытие другого субъекта сводится лишь к тому, чтобы быть инструментом первого, и соответственно, остается лишь один субъект как таковой, да и тот существует лишь как идол, предоставленный желанию другого.

Перверсивное желание опирается на идеальность неодушевленного объекта. Однако оно не может довольствоваться осуществлением такого идеала. С тех пор, как желание осуществляет такой идеал, в момент слияния с ним, желание теряет свой объект. Таким образом, желанию суждено, в силу самой структуры его, утолиться еще прежде любовного объятия, виной чему будет либо угасание желания, либо исчезновение его объекта.

Я подчеркиваю *исчезновение*, поскольку именно в такого рода анализе вы можете отыскать тайный ключ *aphanisis*'а, о котором говорит Джонс, пытаясь понять, с чем он имеет дело по ту сторону комплекса кастрации, в опыте некоторых детских травм. Однако тут мы теряемся в чем-то таинственном, поскольку мы не находим здесь плоскости воображаемого.

В конечном итоге, значительная часть аналитического опыта представляет собой ни что иное, как исследование тупиков опыта воображаемого, их продолжений, которые не бесчисленны, поскольку основываются они на самой структуре тела, которая задает определенную конкретную топографию. В истории субъекта, или, скорее, в его развитии, появляются некоторые плодотворные, временем обусловленные моменты, когда вскрываются различные стили фрустрации. Моменты эти задаются проявляющимися в развитии субъекта полостями, пробелами, зияниями.

Когда нам говорят о фрустрации, всегда что-то остается упущенным. По причине какой-то натуралистской склонности языка, когда наблюдатель воссоздает естественную историю ему подобного, он упускает отметить нам, что субъект *ощущает* фрустрацию. Фрустрация не является феноменом, который мы могли бы объективировать в субъекте под видом отклонения акта, его с этим объектом соединяющего. Это не животная неприязнь. При всей преждевременности своего рождения, субъект сам воспринимает плохой объект как фрустрацию. И одновременно фрустрация ощутима в другом.

Здесь имеет место взаимное отношение сведения на нет, смертельная вражда, структурированная двумя безднами, – либо угасает желание, либо исчезает объект. Вот почему я все время обращаюсь к диалектике господина и раба и заново ее объясняю.

2

Отношение господина и раба является примером-пределом, поскольку, конечно же, регистр воображаемого, где оно разворачивается, появляется лишь на пределе нашего опыта. Аналитический опыт имеет свои границы. Он определен в плоскости, отличной от воображаемой, – в символической плоскости.

Межчеловеческая связь останавливает на себе внимание Гегеля. Исследование его затрагивает не только общество, но и историю. Он не может пренебречь ни одной из граней. А одной из важнейших сторон межчеловеческой связи, помимо сотрудничества между людьми, помимо пакта, любовной связи, является борьба и труд. Именно на этом аспекте сосредоточивает внимание Гегель, чтобы структурировать в исконном мифе основополагающее отношение, причем в той плоскости, которую он сам определяет как негативную, отмеченную негативностью.

Человеческое общество отличает от общества животного – термин, нисколько меня не пугающий, – то, что оно не может быть основано ни на какой объективируемой связи. Интерсубъективное измерение должно войти сюда именно как таковое. Итак, в отношении господина и раба речь идет не о закабалении человека человеком. Одного этого не достаточно. Но что же лежит в основе такого отношения? Вовсе не то, что признавший себя побежденным кричит и просит пощады, а то, что господин вовлекся в эту борьбу из чистого престижа и рисковал своей жизнью. Именно этот риск устанавливает его превосходство, и во имя этого, а не во имя его силы, раб признает его господином.

Данная ситуация начинается с тупика: признание со стороны раба не имеет для господина никакого значения, поскольку тот, кто его признает, является лишь рабом, а значит тем, кого он сам не признает человеком. Соответственно, исходная структура такой гегелевской диалектики представляется тупиковой. И вы видите ее сходство с тупиковостью воображаемой ситуации.

Однако ситуация развертывается далее. Ее исходная точка, будучи воображаемой, является мифической. Однако ее продолжение вводит нас в плоскость символического. Продолжение вам знакомо – именно оно позволяет говорить о господине и рабе. Исходя из мифической ситуации организуется действие и устанавливается отношение наслаждения и труда. Рабу предписывается закон – раб должен удовлетворять желание и обеспечивать наслаждение другого. Недостаточно, чтобы он просил пощады, нужно, чтобы он ходил работать. А если человек ходит на работу, существуют правила и часы – вводится область символического.

При ближайшем рассмотрении вы заметите, что эта область символического не вытекает непосредственно из области воображаемого, опирающейся на интерсубъективное отношение смертельной угрозы. От одной области к другой мы переходим не посредством скачка из предшествующего в последующее, вслед за пактом и символом. В действительности и сам миф может мыслиться лишь будучи уже обрисованным регистром символического, по причине, о которой я только что говорил, – основание ситуации не может быть заложено в какой-то предсмертной биологической панике. Смерть ведь никогда не может быть испытана как таковая, она никогда не является реальной. И человек всегда страшится лишь страхом воображаемым. Но это еще не все. В гегельянском мифе смерть даже не структурирована в качестве страха, она структурирована как риск, а точнее, как ставка. То есть между господином и рабом изначально существует некоторое правило игры.

Сегодня я не стану останавливаться на этом. Я говорю это лишь для самых восприимчивых – интерсубъективное отношение, развертывающееся в воображаемом, в то же время имплицитно включено в некоторое правило игры, в той мере как данное отношение структурирует человеческое действие.

Рассмотрим еще раз, уже в ином ракурсе, отношение ко взгляду.

Речь пойдет о войне. Я продвигаюсь по равнине и предполагаю, что за мной установлено наблюдение, т. е. как бы чувствую на себе взгляд. Подобное мое предположение не столько означает, что я опасаюсь каких-либо действий противника, какой-либо атаки – ведь тогда бы ситуация тут же разрядилась и я узнал бы, с кем имею дело. Важнее всего для меня знать, что другой воображает и замечает в отношении того, что намерен предпринять я, поскольку мне необходимо скрыть от него свои передвижения. Речь идет о военной хитрости.

Вот в какой плоскости лежит диалектика взгляда. Имеет значение не то, что другой видит мое местонахождение, а то, что он видит, куда я иду, а точнее, что он видит, где меня нет. В любом анализе интерсубъективного отношения главное не то, что рядом, не то, что видно. Структурирует интерсубъективное отношение как раз то, что не присутствует явно.

Так называемая теория игр представляет собой фундаментальный способ изучения данного отношения. Уже одно то, что это – математическая теория, помещает нас в плоскость символического. Как бы просто вы ни определяли поле некоторой интерсубъективности, анализ ее всегда предполагает определенное количество нумерических, т. е. по сути своей символических данных.

Обратившись к уже упоминавшейся мной книге Сартра, вы увидите, как в ней появляются вещи, способные внести немало путаницы. Столь четко определив отношение интерсубъективности, он, как кажется, подразумевает, что если в мире воображаемых взаимосвязей существует многообразие, то многообразие это не представимо в числах, поскольку каждый субъект является, по определению, единственным центром соотнесений. Подобные утверждения справедливы лишь в пределах феноменологической плоскости анализа бытия-в-себе и бытия-для-себя. Но Сартр не замечает при этом, что интерсубъективное поле не может не вывести нас к числовому структурированию, к трем, к четырем, т. е. к тому, на что мы привыкли опираться в аналитическом опыте.

Даже такой простейший символизм сразу же помещает нас в плоскость языка, поскольку за его пределами не существует никакого мыслимого счисления.

И еще одно небольшое отступление. Я читал, не далее как три дня тому назад, старую работу начала века "*History of new world of America*", "*История Нового Света, названного Америкой*". Речь шла о происхождении языка, о проблеме, которая привлекала внимание и оставляла в растерянности немало лингвистов.

Всякая дискуссия о происхождении языка несет на себе печать неисправимой наивности, если не сказать слабоумия. Каждый раз язык пытаются вывести из какого-то прогресса мышления. Замкнутый круг здесь налицо. Мышление начинает выделять в ситуации детали, улавливать особенное, элементы комбинации. Мышление само по себе преодолевает поворотную стадию, отмежевывается от животного интеллекта и переходит к стадии символа. Но каким образом, если не предполагать, что символ был уже прежде – символ, являющий собой саму структуру человеческой мысли?

Мыслить значит заменять слонов словом *"слон"*, а солнце – кругом. Вы прекрасно понимаете, что между той вещью, которая феноменологически является солнцем – центром того, что пронизывает мир видимости, единицей света, – и кругом пролегает целая пропасть. Но даже если преодолеть эту пропасть, то в чем же будет преимущество перед животным интеллектом? Ни в чем. Поскольку солнце, будучи обозначено кругом, еще ничего не стоит. А свою цену оно приобретает лишь постольку, поскольку такой круг оказывается связан с другими формализациями, и вкупе с ними он составит символическое целое, где займет свое место – в центре мира, к примеру, или на периферии, что совершенно безразлично. Символ имеет цену лишь будучи организован в мир символов.

Исследователи, спекулирующие на проблеме происхождения языка и пытающиеся упорядочить преобразования от оценки ситуации вообще к символической фрагментации, неминуемо приходили в недоумение от так называемых холофраз. В обиходе некоторых народов – и вам нет необходимости далеко ходить за примерами – существуют неразложимые фразы, выражения, относящиеся к ситуации, взятой в ее целостности – это холофразы. Именно здесь есть надежда увидеть точку соприкосновения между животным, которое обходится без структурирования ситуации, и человеком, обитающем в мире символов.

В только что цитированной мной работе я прочитал, что жители Фиджи в определенных ситуациях произносят следующую фразу, которая не принадлежит их языку и ни к чему не сводима: "*Ma mi la pa ni pa ta pa*". Фонетика в тексте не указана, и я смог лишь так ее озвучить.

В какой же ситуации произносится подобная фраза? Наш этнограф со всей невинностью пишет: "*State of events of two persons looking at the other hoping that the other will offer to do something which both parties desire but are unwilling to do*". То есть – "*ситуация, в которой два человека, глядя друг на друга, надеются, что другой предложит сделать нечто, что обе стороны желают, но не расположены делать*".

Мы обнаруживаем здесь ярко выраженное состояние встречи взглядов, где каждый ожидает от другого, что тот решится

сделать какую-то вещь, которую нужно сделать обоим и сделать между собой, но никто не хочет сделать первый шаг. И вы сразу же видите, что холофраза не представляет собой промежуточное звено между примитивным усвоением ситуации в качестве целостной – усвоением, характерным для регистра животного действия – и символизацией. Она не является каким-то первым загадочным водворением ситуации в мир слов. Речь, напротив, идет о чем-то таком, где регистр символической композиции вырисовывается лишь на пределе, на переферии.

Я поручаю вам придумать мне примеры холофраз из нашего обихода. Вслушайтесь в разговор ваших современников, и вы увидите, сколько содержит он холофраз. Вы убедитесь также, что каждая холофраза относится к пограничным ситуациям, где субъект зависает в зрительном отношении к другому.

3

Целью нашего анализа было вывернуть для вас наизнанку психологическую перспективу, сводящую интерсубъективное отношение к отношению интеробъектному, основанному на естественном, взаимодополнительном удовлетворении. Теперь мы займемся статьей Балинта *"On transference of emotions"*, *"О переносе эмоций"*, заголовок которой предупреждает о той бредовой, как я назвал бы ее, плоскости, где развертывается изложение в статье, – термин "*бредовый*" нужно понимать здесь в его практическом, исконном смысле.

Речь идет о переносе. В первом параграфе упоминаются два фундаментальных в анализе феномена – сопротивление и перенос. Сопротивление, согласно его определению в другом месте, соотносится с феноменом языка – это все, что тормозит, искажает, оттягивает речь, или вовсе ее останавливает. Этим и ограничивается автор, не делая никаких выводов и переходя к феномену переноса.

Как мог Балинт, с его авторской искушенностью, тонкостью и деликатностью практика и даже, я сказал бы, восхитительными писательскими способностями, – исходить в своем исследовании, занявшем порядка пятнадцати страниц, из столь психологичного определения переноса? Такое определение сводится примерно к следующему – речь должна идти о чем-то внутрен-

нем для пациента, т. е. поневоле никому не ведомых чувствах, эмоциях – слово "*эмоция*" создает более верный образ. И проблема состоит в том, чтобы показать, как такие эмоции воплощаются, проецируются, упорядочиваются и, наконец, символизируются. Однако символы таких предполагаемых эмоций, очевидно, не имеют ничего общего с ними. Вот тут-то и заходит речь о национальных флагах, британском льве и единороге, офицерских эполетах, и о чем угодно прочем – о двух странах с их розами различных цветов, о судьях, носящих парики.

Уж никак не мне отрицать, что в подобных примерах, собранных на поверхности жизни британского общества, можно найти пищу для размышлений. Однако для Балинта это предлог рассматривать символ лишь под углом смещения. И не без оснований – ведь в основе он, согласно определению, полагает так называемую эмоцию, феномен психологического происхождения, ставший здесь реальным; символ же, где эмоция должна найти свое выражение и реализовать себя, неизбежно оказывается по отношению к ней смещенным.

Не вызывает сомнений, что символ бывает задействован во всяком смещении. Однако весь вопрос в том, действительно ли в данном вертикальном регистре, под маркой смещения символ как таковой получает свое определение. Это ложный путь. Замечания Балинта сами по себе не являются ошибочными, однако выбранный путь как бы идет поперек – такое направление вместо того, чтобы вести вперед, останавливает всякое продвижение.

Балинт напоминает нам, что такое метафора – *склон* горы, *ножка* стола и т. д. Что это, попытка заняться изучением природы языка? Нет. Речь пойдет об операции переноса, который будет сведен к следующему – вы в ярости и бьете кулаком по столу. Будто и впрямь я бью кулаком стол! Здесь есть серьезнейшая ошибка.

Тем не менее, речь идет именно об этом – каким образом происходит смещение действия в его цели? Каким образом эмоция смещается в своем объекте? Реальная структура и структура символическая вступают в двустороннее отношение, которое устанавливается по вертикали, причем каждый из двух данных универсумов является соответствующим другому, с той

лишь оговоркой, что ни будь здесь понятия универсума, не было бы никакой возможности ввести понятие соответствия.

Согласно Балинту, перенос является переносом эмоций. На что же переносится эмоция? Исходя из его примеров, она переносится на некоторый неодушевленный объект – замечу мимоходом, что слово *"неодушевленный"* только что появлялось, как мы видели, на границе диалектического воображаемого отношения. Балинта занимает такой перенос на неодушевленность – я не спрашиваю вас, говорит он, что думает об этом объект. Безусловно, добавляет он, если мы станем полагать, что перенос происходит на субъекта, мы столкнемся с такими сложностями, из которых нам не выбраться.

Да, да! именно это и случается спустя некоторое время – проводить анализ становится невозможным. Чего только ни рассказывают нам о понятии контрпереноса, хорохорясь, хвастаясь и обещая нам золотые горы, и тем не менее что-то все не клеится, – а ведь это, в конечном счете, высвечивает всю безвыходность положения. *Two bodies' psychology* приводит нас к пресловутой, неразрешимой в физике, проблеме двух тел.

В самом деле, если оставаться в плоскости двух тел, не будет существовать возможности для какой-либо удовлетворительной символизации. Можем ли мы постичь природу переноса, считая перенос, главным образом, феноменом смещения?

Балинт рассказывает нам тут замечательную историю. К нему приходит один господин. Он готов заняться анализом – нам прекрасно знакома подобная ситуация – но не решается. Он виделся со многими аналитиками, и наконец, пришел к Балинту. Он рассказывает ему долгую историю, очень богатую, сложную, подробно описывая свои ощущения и страдания. И тут наш дорогой Балинт – чья теоретическая позиция подвергается сейчас моим нападкам, но одному богу известно, с каким сожалением приходится мне это делать – показывает нам, на какие чудеса он способен.

Балинт не впадает в контрперенос – т. е. если говорить ясно, он не страдает слабоумием – на зашифрованном языке, в котором мы увязли, амбивалентностью называют факт ненависти в отношении кого-либо, а контрпереносом – слабоумие. Балинт слабоумием не страдает, он выслушивает этого господина как

человек обстоятельный и уже немало всего слышавший от разного рода людей. Но он не понимает его. Такое случается. Бывают такие истории, их никто не понимает. Если вы не поняли историю, не стоит тут же винить себя, скажите себе – пусть я не понял, но этот факт также должен иметь свой смысл. Балинт не только не понимает, он считает, что имеет право не понять. Он ничего не говорит этому господину и приглашает его прийти еще раз.

Тот приходит снова. Он продолжает рассказывать свою историю, добавляя все новые и новые детали. Но Балинт все еще не понимает. То, что рассказывает ему другой, вполне правдоподобно, но вместе все эти детали не смотрятся. Нам случается встречать подобного рода случаи, это случаи клинические, им всегда следует уделять большое внимание, и порой они позволяют нам диагносцировать некоторые органические нарушения. Однако тут речь идет совсем о другом. И вот Балинт говорит своему клиенту: "*Любопытно, вы рассказываете мне столько интересных вещей, но я, должен вам сказать, я в вашей истории ничего не понимаю*". Тогда этот господин расплывается в улыбке: "*Вы первый искренний человек, встретившийся мне, ведь все это я рассказывал многим вашим коллегам, которые тут же усматривали здесь признаки интересной, утонченной структуры. Я рассказывал вам все это в качестве испытания, чтобы проверить, являетесь ли вы, как и остальные, шарлатаном и лгуном*".

Вы должны были почувствовать, какая гамма отделяет два разных Балинта, Балинта, демонстрирующего нам на доске, каким образом эмоции английских граждан сместились на *British lion* и двух единорогов, и Балинта, проводящего анализ и толково рассказывающего о своем опыте. Можно сказать – "*Этот господин остается, конечно, в своем праве, но, не правда ли, слишком* uneconomic*? Не слишком ли длинный обходной маневр?*" Это уже заблуждение. Нам не важно, экономично это или нет. Действия этого господина прекрасно соответствует своему регистру, ибо в основе аналитического опыта лежит регистр обманной речи.

Именно речь внедряет в реальность ложь. И как раз благодаря тому, что она вводит то, чего нет, она может также ввести то,

что есть. До речи нет ни бытия, ни небытия. Безусловно, все уже здесь, но единственно с речью возникают как те вещи, которые есть (истинны они или ложны – в любом случае они есть), как и те вещи, которых нет. Именно с измерением речи в реальное внедряется истина. До речи нет ни истинного, ни ложного. С речью же вводится истина, но также и ложь, и еще другие регистры. Прежде чем нам сегодня расстаться, разместим эти регистры в своего рода треугольнике, обозначенном тремя вершинами. Тут – ложь. Здесь – обознание, но не ошибка. Я к этому еще вернусь. И что еще? – двусмысленность, на которую по своей природе обречена речь. Ведь акт речи, закладывающий измерение истины, остается таким образом позади, по ту сторону. Речь по самой сути своей является двусмысленной.

Симметричным образом, в реальном образуется дыра, зияние бытия как такового. Всякая попытка постичь понятие бытия приводит нас к убеждению, что понятие бытия столь же непостижимо, как и речь. Ведь бытие, даже сам глагол, существует лишь в регистре речи. Речь внедряет зазор бытия в текстуру реального, одно и другое поддерживают друг друга как противовесы, и представляют точное соответствие друг другу.

Перейдем к другому примеру, сообщенному нам Балинтом и не менее показательному, чем первый пример. Каким образом ему удалось связать их с тем регистром смещения, в котором происходит развертывание переноса? Это уже другая история.

Теперь речь пойдет о прелестной пациентке, чей образ вполне типичен для некоторых английских фильмов – образ *болтушки*, *chatter*, *пустомели*. Она говорит, говорит, говорит, так ничего и не сказав, – вот как проходят сеансы. Прежде чем она попала к Балинту, ее анализом уже долго занимался другой аналитик. Балинт обращает внимание – и пациентка также признает это, – что когда нечто ей неприятно, она реагирует на это рассказывая невесть что.

Когда же происходит решающий поворот? Однажды, после часа утомительной болтовни, *chatter*, Балинт указывает пальцем на то, чего не хочет сказать пациентка. Она не хотела сказать, что один из ее друзей, врач, написал о ней в рекомендательном письме, что она была лицом совершенно заслуживающим доверия, *trustworthy*. Это был ключевой момент, начиная с которого

она, совершив поворот, становится способной включиться в анализ. Балинту и в самом деле удается добиться от пациентки признания в главном: она никогда не хотела, чтобы ее рассматривали как *trustworthy*, то есть как человека, которого обязывают его слова. Ведь если ее слова будут обязывать ее, ей придется начать работать как раб, вступить в мир труда, то есть мир взрослых согласованных отношений, мир символа и закона.

Это ясно. Она всегда прекрасно понимала различие между тем, как воспринимаются слова ребенка и слова взрослого. Чтобы не быть обязанной, не попасть в мир взрослых, где жизнь человека всегда в большей или меньшей степени сводится к рабству, она болтает так, чтобы ничего не сказать, и на сеансах напускает пыли.

Мы можем прерваться на мгновение и поразмышлять над тем фактом, что ребенок также имеет дар речи. Его речь не пуста. Она так же полна смыслом, как и речь взрослого. Она полна смыслом настолько, что взрослые остаются от нее в восторге: "*Как он умен, славный малыш! Вы знаете, что он однажды сказал?*" В самом деле – все уже здесь.

Как и в нашем примере, здесь присутствует выступающий в воображаемом отношении элемент идолотворения. Восхитительная речь ребенка может быть трансцендентной, может быть небесным откровением, оракулом маленького бога, однако очевидно, что она ни к чему его не обязывает.

А когда что-то не ладится, взрослые выбиваются из сил, чтобы вырвать у него слова, которые его обязывали бы. Но бог знает, что здесь диалектика взрослого промахивается! Важно связать субъекта с его противоречиями, заставить его подписаться под своими словами и вовлечь, таким образом, его речь в определенную диалектику.

В ситуации переноса – это не мои слова, а Балинта, и он совершенно прав, хотя это вовсе и не смещение, – речь идет о ценности речи, на этот раз уже не в качестве речи, создающей основополагающую двусмысленность, а в качестве речи – функции символического, пакта, связующего между собой субъектов в некотором действии. Человеческое действие укоренено в существовании мира символа, то есть основано на законах и контрактах. Именно в таком регистре и разрабатывает ситуа-

цию между собой и пациентом Балинт, когда он действует в конкретной ситуации, как аналитик, проводящий анализ.

Начиная с этого дня, Балинт смог обращать внимание своей пациентки на самые разнообразные вещи – на ее способ поведения на работе, а именно на то, что лишь только ей начинали доверять, она тут же устраивала какой-нибудь номер, чтобы ее выставили вон. Показательна уже сама форма работы, которую ей удавалось найти – либо она работает на телефоне, либо принимает работу, или посылает на работу других, в общем, она выполняет работу диспетчера, позволяющую ей ощущать себя вне ситуации, и под конец она всегда что-нибудь устраивает, чтобы ее выгнали вовсе.

Итак, вот в какой плоскости разыгрывается отношение переноса – оно разыгрывается вокруг символического отношения, идет ли речь о его установлении, его продолжении, или его поддержании. Перенос может сопровождаться наложениями, проекциями воображаемых сочленений, но сам он целиком относится к отношению символическому. Что же из этого вытекает?

Проявления речи затрагивают несколько плоскостей. По определению, речь всегда имеет ряд двусмысленных задних планов, уходящих во что-то невыразимое, где речь уже не может сказаться, обосновать себя в качестве речи. Однако потусторонность эта не имеет ничего общего с тем, что психология ищет в субъекте и находит в его мимике, содроганиях, возбуждении и всех прочих эмоциональных коррелятах речи. На самом деле, эта якобы "потусторонняя" психологическая область целиком лежит "по эту сторону". Потусторонность же, о которой говорим мы, относится к самому измерению речи.

Под *бытием субъекта* мы подразумеваем не его психологические свойства, а то, что внедряется в опыт речи. В этом и состоит аналитическая ситуация.

Такой опыт конституируется в анализе крайне парадоксальными правилами: ведь речь в них идет о диалоге, но диалоге сколь возможно монологичном. Этот опыт развертывается согласно определенным правилам игры и целиком относится к порядку символического. Вам это понятно? Сегодня я хотел проиллюстрировать регистр символического в анализе, под-

черкнув контраст между конкретными примерами, приводимыми Балинтом, и его теоретическими построениями.

Как считает Балинт, из его примеров вытекает, что пружиной служил в обоих случаях способ применения речи его пациентами – господином и молодой дамой. Однако эта экстраполяция не оправдана. Речь в анализе существенно отличается от той, что может триумфально и вместе с тем невинно использовать ребенок до вступления в мир труда. Речь в анализе не эквивалентна поддержанию нарочито незначащего разговора в мире труда. Связать их можно лишь по аналогии, но основания их различны.

Аналитическая ситуация не является простым смещением ситуации ребенка. И это, конечно, ситуация атипичная, на что Балинт пытается обратить внимание, видя тут попытку поддержать регистр *primary love*. Это верно в некоторых ракурсах, но не во всех. Если мы станем ограничиваться лишь такими ракурсами, наше вмешательство аналитика лишь собьет пациента с толка.

Доказательством тому служат факты. Сказав пациентке, что она воспроизводит такую-то ситуацию из ее детства, аналитик, предшествовавший Балинту, не повлиял на ситуацию. Ситуация приходит в движение лишь вокруг того конкретного факта, что эта дама располагала в то утро письмом, которое позволяло ей устроиться на работу. Не вдаваясь в теорию, сам того не зная, Балинт осуществляет вмешательство в регистре символического, задействованного посредством данной гарантии, посредством простого факта ответственности за кого-то. И именно благодаря тому, что его вмешательство оказалось в этой плоскости, оно было эффективным.

Теория Балинта уходит в сторону от истинного положения вещей. Но тем не менее, когда читаешь его текст, нередко встречаешь, как вы только что видели, крайне поучительные примеры. Будучи замечательным практиком, Балинт не может, несмотря на свою теорию, не признавать измерения, в котором проходит его работа.

4

Я хотел бы привести здесь одно двустишие, на которое Балинт ссылается. Автора этого двустишия, Иоганна Шеффлера, Балинт называет *"одним из наших собратьев"* – почему бы и нет?

Этот человек, занимавшийся в начале XVI века передовыми медицинскими исследованиями, – что, вероятно, имело больше смысла в ту эпоху, чем в наши дни – написал под псевдонимом Ангелуса Силезиуса несколько поразительных двустиший. Были ли они мистическими? Пожалуй, это не самый точный термин. В них затронута проблема божества и его отношения к творческой способности, которая сродни по своей сущности человеческой речи и простирается столь же далеко, как и речь, вплоть до того момента, где эта последняя умолкает. Не слишком ортодоксальная перспектива, которой всегда придерживался Ангелус Силезиус, представляет собой загадку для историков религиозной мысли.

И не случайно, конечно, ссылка на него появляется в тексте Балинта. Цитируемое им двустишие совершенно замечательно. Речь идет ни много ни мало о бытии и о связи его в реализации субъекта со случайным и акцидентальным, что перекликается для Балинта с его представлением о полном завершении анализа, то есть о таком всплеске нарциссизма, о котором я уже говорил в ходе одной из наших встреч.

Я тоже нахожу здесь определенные переклички. Однако вовсе не так понимаю я завершение анализа. Формула Фрейда – *там, где было Оно, должно быть Я* – обычно подвергается слишком грубому пространственному толкованию, и аналитическое отвоевание Оно сводится в конечном итоге к созданию миража. эго усматривает себя в некоторой самости, что является лишь окончательным отчуждением его самого, только более усовершенствованным, чем все известные ему ранее.

Нет, конституирующим является именно акт речи. Прогресс анализа ставит целью не увеличение поля эго, это не отвоевание эго не известной ему прежде зоны, это оборот, перемещение, это своего рода менуэт, исполненный *ego* и *id*.

Пора, наконец, сообщить вам двустишие Ангелуса Силезиуса, это 13-тое двустишие из второй книги *"Херувимского странника"*.

Zufall und Wesen

Mensch werde wesentlich: denn wann die Welt vergeht
So fält der Zufall weg, dasswesen dass besteht.

Перевод этого двустишия следующий –

Случайность и сущность

Человек, стань существенным: ведь когда мир преходит,
случайность отпадает, а сущность остается.

В завершении анализа речь идет именно об этом, о сумерках, воображаемом закате мира, и даже об опыте, граничащем с деперсонализацией. *И тогда случайное отпадает,* – все привходящее, травмы, пробелы в истории – *вот тогда-то и складывается, наконец, устанавливается бытие.*

Ангелус явно пишет это в то время, когда изучает медицину. Конец его жизни был ознаменован потрясениями – догматическими войнами Реформации и Контр-Реформации, в которых он принимал пылкое участие. Но книги *"Херувимского странника"* подобны издающему чистый и ясный звук камертону. Перед нами один из наиболее значительных моментов осмысления бытия человеком, она более созвучна нам, нежели *"Ночь мрака"* Хуана де ла Круса, всеми читаемая, но никем не понятая.

Мне лишь остается посоветовать тем, кто занимается психоанализом, приобрести творения Ангелуса Силезиуса. Они не столь уж объемны и переведены на французский у *Aubier.* Там вы найдете немало пищи для размышления, например каламбур с *Wort*, речью, и *Ort*, местом, а также совершенно справедливые афоризмы о временности. Быть может, в следующий раз я найду возможность коснуться некоторых из этих формул, крайне герметичных, но тем не менее вполне поддающихся разгадке, восхитительных и располагающих к размышлению.

9 июня 1954 года.



РЕЧЬ В ПЕРЕНОСЕ

XIX

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РЕЧИ

Всякое значение отсылает к другому значению.
Собеседники Улисса.
Перенос и реальность.
Понятие является временем вещи.
Иероглифы.

Доктор Гранов хочет сделать сообщение, которое, похоже, продолжает линию наших последних обсуждений. Появление подобных инициатив я нахожу весьма уместным и вполне согласующимся с духом диалога, который я желал бы поддерживать на протяжении наших встреч, – ведь не будем забывать, что это прежде всего семинар. Я не знаю, что он подготовил для нас этим утром.

Доклад Гранова касается двух статей апрельского номера "Psycho-analytic" Review *за 1954 год:* "Emotion, Instinct and Pain-pleasure", *написанной A.Chapman Isham, а также* "A study of dream in depth, its corollary and consequences", *написанной C.Bennitt.*

1

Обе эти обширные статьи, написанные на высоком теоретическом уровне, перекликаются с тем, что делаю здесь я. Однако каждая из них останавливает внимание на различных моментах.

В первой упор делается на выведении эмоции в качестве последней реальности, с которой мы имеем дело, и собственно говоря, объекта нашего опыта. Такая концепция отвечает желанию найти где-то объект, который как можно более походил бы на объекты других регистров.

Александеру принадлежит большая статья, о которой, быть может, мы поговорим как-нибудь и которая называется *"Logic of emotions"*. Эта статья затрагивает самую суть аналитической теории.

Речь в ней идет о том же, что и в последней статье Чэпмен Ишэма, – о введении диалектики в тот регистр, который мы привыкли считать регистром аффективности. Александер исходит из хорошо известной логико-символической схемы, где Фрейд выводит различные формы бреда в соответствии с различными способами отрицания утверждения "*Я его люблю*": *Это не я его люблю – Я люблю не его – Я его не люблю – Он меня ненавидит – Это он меня любит* – что объясняет генезис различных видов бреда: бреда ревности, бреда страсти, бреда преследования, бреда эротомании и т. д. Итак, именно сложное символическое структурирование, опирающееся на хорошо отработанные грамматические преобразования, позволяет нам понять превращения, я сказал бы даже, метаболизм, имеющий место в предсознательном порядке.

Таким образом, первая статья, прокомментированная Грановым, интересна тем, что по тенденции своей она противостоит главенствующему на сегодняшний день теоретическому направлению психоанализа. Вторая статья кажется мне еще более интересной, поскольку в ней исследуется то, к какой "потусторонней" области, к какой реальности, к какой "*действительности*", как говорится в статье, отсылает нас значение. Это ключевая проблема.

Вы непременно окажетесь на тупиковом пути (что прекрасно демонстрируется современными тупиками аналитической теории), если не знаете, что значение отсылает всегда лишь к себе самому, т. е. к другому значению.

Всякий раз, как в анализе языка нам приходится искать значение некоторого слова, в нашем распоряжении есть лишь один верный метод – изучить все способы употребления данного слова в языке. Если вы хотите узнать значение во французском языке слова *main*, вы должны составить список этих способов, где учитывалось бы не только те случаи, когда оно представляет орган, кисть руки, но также его участие в словах типа *main-d'œuvre* (рабочая сила, рабочие руки), *mainmise* (захват, порабощение), *mainmorte* (крепостное состояние, связанное с лишением права распоряжаться своим имуществом) и т. д. Значение слова задается всей суммой его использований.

Как раз с этим-то мы и имеем дело в анализе. Нам ни к чему изнурять себя поиском дополнительных смысловых связей. Что за нужда говорить о реальности, которая была бы основой так называемых метафорических использований слова? Любое использование слова является в некотором смысле метафорическим. Метафору не следует отделять, вопреки тому, что говорит Джонс в начале своей статьи о *теории символизма*, от самого символа и его использования. Пусть я обращаюсь к какому-нибудь существу, сотворенному или предвечному, называя его "*солнце души моей*", – будет ошибкой думать, подобно Джонсу, что речь здесь идет о сравнении между тем, чем являешься ты для моей души, и тем, что представляет собой солнце, и т. п. Сравнение является лишь вторичным развертыванием первичного явления на свет самого метафорического отношения, которое бесконечно богаче всего того, что я в состоянии вам сейчас по этому поводу рассказать.

Это явление на свет включает в себя все то, что может присоединиться к нему впоследствии и что я, сам того не ведая, успел сказать. Благодаря тому, что я сформулировал подобное отношение, в область символа вступаю я сам, мое существо, мое признание, моя мольба. Выражение это само собой подразумевает тот факт, что солнце согревает меня, дает мне жизнь, является центром моей гравитации и еще, что оно производит ту *тусклую сторону тени*, о которой говорит Валери, и что оно же слепит меня, придавая вещам ложную очевидность и обманчивое сияние. Ведь максимум света является одновременно и источником всякого мрака. Все это подразумевается символическим обращением. Появление символа буквально *творит* в человеческих отношениях порядок нового бытия.

Вы возразите мне, что все же существуют несводимые выражения. И кроме того, сошлетесь на то, что творческое употребление символического обращения мы всегда можем свести к уровню фактов, и что для метафоры, приведенной мной в качестве примера, всегда найдутся более простые, органические, животные выражения. Попытайтесь сделать это сами – вы убедитесь, что никогда не выйдете за пределы мира символа.

Допустим, вы станете ссылаться на органические признаки – так, например, в начале "*Сида*" чтобы выразить свое любовное

чувство по отношению к молодому кавалеру, инфанта говорит Леонору: "*Приложи свою руку к моему сердцу*". Что ж, ссылка на органические признаки используется внутри признания как свидетельство – свидетельство, приобретающее свою остроту лишь в той мере, как: "*Я помню, унизиться в своем сане мне было все равно, что кровь пролить*". В самом деле, ровно в той мере, как она запрещает себе свое чувство, она взывает к фактическому элементу. Факт биения ее сердца приобретает свой смысл лишь внутри символического мира, вырисовывающегося в диалектике чувства, которое борется с собой или которому неявно отказано в признании той, что его испытывает.

Итак, как вы видите, мы подошли к тому, на чем остановились в прошлый раз.

2

Всякий раз, когда мы находимся внутри строя речи, все, что утверждает в реальности некоторую другую реальность, в пределе, приобретает свой смысл и свою остроту лишь в зависимости от самого этого строя речи. Если эмоция может быть подвергнута смещению, инвертированию, торможению, если она вовлекается в определенную диалектику, то именно потому, что она захвачена символическим порядком, исходя из которого другие порядки, воображаемое и реальное, занимают свое место и упорядочиваются.

Еще и еще раз я попытаюсь дать вам это почувствовать. Давайте сочиним одну байку.

Однажды спутники Улисса – как вам известно, с ними случалось немало всяких злоключений, и я думаю, что ни одному не удалось завершить ту их прогулку – были превращены за их постыдные склонности в свиней. Тема метаморфоз вполне справедливо вызывает наш интерес, поскольку она ставит проблему границы между человеком и животным.

Итак, они были превращены в свиней, а мы попробуем продолжить историю.

Надо полагать, они сохранили все же какие-то связи с человеческим миром, поскольку в свинарнике – а свинарник является обществом – они сообщают при помощи хрюканья о своих

различных потребностях, голоде, жажде, похоти и даже стадном чувстве. Но это еще не все.

Что можно сказать о таком хрюканье? Не является ли оно одновременно посланием, адресованным иному миру? Вот что лично я здесь слышу. Спутники Улисса хрюкают следующее: "*Мы сожалеем об Улиссе, жаль, что его нет с нами, мы сожалеем о его наставлениях, о том, чем он был для нас в жизни.*"

Благодаря чему в хрюканье, доносящемся до нас среди шумного шуршанья щетины в замкнутом пространстве свинарника, мы распознаем речь? Не потому ли, что тут выражается некоторое амбивалентное чувство?

В данном случае мы прекрасно видим то, что в разряде эмоций и чувств мы называем амбивалентностью. Ведь Улисс в качестве проводника был своим спутникам скорее неприятен. Однако когда те были превращены в свиней, у них, конечно же был повод сожалеть об его отсутствии. Откуда и возникает догадка о том, что они сообщают.

Таким измерением нельзя пренебречь. Но достаточно ли его, чтобы сделать из хрюканья речь? Нет, поскольку эмоциональная амбивалентность хрюканья представляет собой реальность, которая по сути своей не организована.

Хрюканье свиньи становится речью лишь тогда, когда кто-либо задается вопросом, во что оно хочет заставить нас поверить. Речь является речью ровно в той мере, как кто-либо верит ей.

И во что же, хрюкая, хотят заставить нас поверить спутники Улисса, превращенные в свиней? – Да в то, что они еще сохранили нечто человеческое. И в таком случае ностальгия по Улиссу равноценна их, свиней, притязанию быть признанными в качестве спутников Улисса.

Именно к этому измерению принадлежит речь в первую очередь. Речь, по сути своей, является средством получения признания. Она уже здесь – прежде всего того, что лежит позади. И потому она амбивалентна и совершенно бездонна. Истинно ли то, что она говорит? Или нет? – Это мираж. Это первоначальный мираж, убеждающий вас в том, что вы находитесь в области речи.

Без этого измерения коммуникация представляет собой лишь некоторое средство передачи, примерно того же порядка, что и механическое движение. Я только что упоминал о шурша-

нии щетины, о шорохе общения внутри свинарника. Да, именно так – анализ хрюканья целиком сводится к механическим терминам. Но с тех пор как хрюканье хочет нас заставить поверить во что-то и требует признания, существует речь. Вот почему, в некотором смысле можно говорить о языке животных. Язык животных существует ровно постольку, поскольку есть кто-либо, чтобы его понять.

3

Обратимся к другому примеру, заимствованному мной из статьи Нюнберга, вышедшей в 1951 году, "*Transference and reality*". Вопрос в ней ставится о том, что такое перенос. Все та же проблема.

Крайне забавно видеть, как далеко заходит в ней автор и насколько он запутывается. Для него все происходит на уровне воображаемого. Основанием переноса, полагает он, является проецирование в реальность чего-то, что в ней отсутствует. Субъект требует, чтобы его партнер являл собой форму, модель его отца, например.

Вначале он упоминает случай одной пациентки, которая все время сурово распекала аналитика, бранила его, упрекала его в том, что он плохо работает, что его вмешательства неумелы, что он ошибается и дурно ведет себя. Что это, случай переноса? – спрашивает себя Нюнберг.

Любопытно, что он (имея на то свои основания) отвечает – нет, здесь скорее готовность, *readiness,* к переносу. В этот момент в своих обвинениях пациентка дает услышать требование, первичное требование реального лица, и несоответствие реального мира в отношении требуемого как раз и движет ее неудовлетворенностью. Это не перенос, но его условие.

С какого же момента возникает перенос на самом деле? С того момента, когда образ, требуемый субъектом, смешивается для него с реальностью, в которой он находится. Весь прогресс анализа состоит в том, чтобы показать ему различие двух данных плоскостей, рассоединить воображаемое и реальное. Это классическая теория – поведение субъекта, собственно говоря, иллюзорно, и ему дают понять, насколько мало приспособлено оно к действительной ситуации.

Однако мы непрестанно замечаем, что перенос вовсе не является иллюзорным феноменом. Психоанализ не заключается в том, чтобы сказать пациенту: *"Друг мой, чувство, которое вы испытываете ко мне, происходит от переноса"*. Так мы вряд ли что-нибудь приведем в порядок. Но, к счастью, если авторы неплохо ориентируются в своей практике, они приводят примеры, которые изобличают их теорию и доказывают, что им не чуждо определенное чувство истины. Так происходит и в случае Нюнберга. Пример, приводимый им в качестве типичного примера опыта переноса, чрезвычайно поучителен.

Нюнберг рассказывает об одном своем пациенте, который сообщал ему максимальное количество материала, искренне, доверительно и подробно излагая вещи, заботясь о полноте своего рассказа... И тем не менее, никакого движения. Ничего не менялось до тех пор, пока Нюнберг не заметил, что, как оказалось, аналитическая ситуация воспроизводила для пациента ситуацию из его детства, когда он не раз доверительно сообщал свои секреты своей собеседнице, которой была не кто иная, как его мать, приходившая каждый вечер посидеть у него в ногах на кровати. Пациент, эдакая Шехерезада, находил удовольствие в том, чтобы давать исчерпывающий отчет о своем дне, о своих поступках, желаниях, склонностях, сомнениях, упреках, никогда ничего не скрывая. Теплое присутствие его матери, переодетой на ночь, было для него источником совершенно самостоятельного, особого удовольствия от угадывания под ее рубашкой очертаний ее груди, тела. Так проходили первые в его жизни сексуальные исследования любимой партнерши.

Как это следует анализировать? Постараемся быть хоть немного последовательными. Что же это значит?

Здесь упомянуты две различные ситуации – пациент и его мать, пациент и аналитик.

В первой ситуации субъект получает удовольствие посредством словесного обмена. Мы легко можем различить здесь две плоскости: плоскость символических отношений, которые в данном случае, конечно, подчинены, искажены отношением воображаемым. С другой стороны, в анализе пациент ведет себя совершенно доверительно и совершенно добровольно подчиняется правилу. Следует ли из этого заключить, что тут присут-

ствует удовлетворение, сходное с первичным удовлетворением? Во многом само собой напрашивается решение – *ну да, конечно же*, субъект вновь ищет сходного удовлетворения. Не колеблясь, вы заговорите об автоматизме повторения и о чем угодно прочем. Аналитик будет горд тем, что обнаружил позади такой речи какое-то чувство или эмоцию, которое-де вскрывает присутствие психологической потусторонности, конституированной по ту сторону речи.

Но одумаемся! Прежде всего, позиция аналитика в точности обратна позиции матери, он сидит не в ногах, а позади него, к тому же он далек от того, чтобы источать, по крайней мере, как правило, очарование первичного объекта и располагать к тем же вожделениям. Во всяком случае, никак уж не аналогия здесь напрашивается.

Все, что я сейчас сказал, – это, конечно, азбука. Но лишь разбирая структуру по складам, и говоря простые вещи, мы можем научиться считать по пальцам элементы ситуации, внутри которой мы действуем.

Нам важно понять следующее – почему с того момента, как отношение двух ситуаций было открыто субъекту, происходит полное преобразование аналитической ситуации? Почему те же самые слова станут теперь эффективными и ознаменуют собой подлинный прогресс в существовании субъекта? Попробуем немного поразмыслить.

Речь как таковая имеет место в структуре семантического мира – мира языка. Речь никогда не ограничивается единственным смыслом, а слово – единственным употреблением. За всякой речью что-то стоит; всякая речь выполняет несколько функций, имеет несколько смыслов. Позади того, что в дискурсе сказано, существует то, что имелось в виду, а позади этого "имелось в виду" есть еще другое, и так до бесконечности – если только не прийти к убеждению, что речь обладает созидательной функцией, что она-то и приводит к появлению самой вещи, которая является не чем иным, как понятием.

Помните, что Гегель говорит о понятии: "*Понятие является временем вещи*". Конечно, понятие не является вещью в плане того, что есть вещь, по той простой причине, что понятие всегда находится там, где вещи нет; понятие замещает собой вещь, по-

добно слону, которого однажды я привел сюда через посредничество слова "*слон*". Если некоторые из вас были этим настолько поражены, то именно благодаря всей очевидности присутствия слона с того момента, как он был нами назван. Что же может быть здесь от вещи? Это ни ее форма, ни ее реальность, поскольку в действительности все места заняты. Гегель заявляет об этом со всей строгостью – понятие является тем, что позволяет вещи присутствовать там, где она отсутствует.

Кроме того, благодаря тождеству в различии, характеризующему отношение понятия к вещи, вещь является вещью, а *fact*, как нам только что об этом сказали, символизируется. Мы говорим о вещах, а не о чем-то неопределяемом.

Уже Гераклит сообщает нам, что если мы утверждаем существование вещей в абсолютном движении, таком, что мировой поток никогда к прежней ситуации не возвращается, то именно потому, что тождество в различии уже достигло в вещи насыщения. А из этого Гегель делает вывод, что *понятие является временем вещи*.

Здесь перед нами ключ к разгадке того, что имел в виду Фрейд, сказав, что бессознательное располагается вне времени. Это верно, и в то же время не верно. Оно располагается вне времени в качестве понятия, поскольку само по себе является временем, чистым временем вещи, и может как таковое воспроизвести вещь в некоторой модуляции, материальным носителем которой может быть все что угодно. Автоматизм повторения состоит именно в этом. Это замечание имеет далеко идущие последствия, затрагивая в том числе и проблему времени, поставленную практикой психоанализа.

Вернемся к нашему примеру – почему течение анализа меняется с того момента, как ситуация переноса была проанализирована указанием на прежнюю ситуацию, когда субъект находился в присутствии объекта совершенно отличного, ни в чем не подобного объекту настоящему? Потому что настоящая речь, как и речь прежняя, заключена в скобки времени, в форму времени, если можно так выразиться. Если модуляция времени тождественна, речь аналитика оказывается имеющей ту же значимость, что и прежняя речь.

Значимость эта принадлежит именно речи. Здесь нет никаких воображаемых чувств и проекций, а г-н Нюнберг, до изнеможения выстраивая их, оказывается в безвыходной ситуации.

Для Левенштайна речь идет не о проекции, а о смещении. Вот она, мифология, весьма напоминающая лабиринт. Выбраться из него можно лишь признав, что элемент времени является конституирующим измерением порядка речи.

Если действительно понятие является временем, мы должны анализировать речь по этажам, отыскивать ее многочисленные смыслы между строк. Бесконечна ли такая работа? Нет, не бесконечна. Однако то, что вскрывается в последнюю очередь, последнее слово, последний смысл, является той временной формой, о которой мы с вами беседуем и которая уже сама по себе является речью. Последний смысл речи субъекта перед аналитиком – это его экзистенциальное предстояние объекту его желания.

Такой нарциссический мираж не приобретает в этом случае никакой особой формы, это не что иное, как то, что служит опорой отношению человека к объекту его желания и всегда оставляет его изолированным в так называемом предварительном удовольствии. Отношение это является зрительным по отношению к этой ситуации, на самом деле – чисто воображаемой, речь им как бы приостанавливается.

В такой ситуации нет ничего от настоящего, от эмоционального, от реального. Но, будучи однажды достигнута, она изменяет смысл речи, она открывает субъекту, что его речь является лишь тем, что я назвал в моем римском докладе *"пустой речью"*, и что именно поэтому она не имеет никакого эффекта.

Все это непросто. Понятно ли вам сказанное мной? Вы должны усвоить, что потусторонность, к которой отсылает нас речь пациента, всегда является другой речью, более глубокой. Что касается предела внятности речи, то обусловлен он резонансом всех ее смыслов. В конечном счете, нам следует отталкиваться от самого акта речи. Именно значимость совершаемого в настоящем акта и делает речь пустой или полной. Анализируя перенос, мы должны понять, в какой точке ее присутствия речь является полной.

4

Если подобное толкование показалось вам несколько умозрительным, в качестве доказательства я могу привести вам ссылку на Фрейда; ведь целью моей является комментирование его текстов, и я нахожу уместным заметить, что в объяснениях своих я строго придерживаюсь ортодоксальной концепции.

В какой момент в творчестве Фрейда появляется слово "*Übertragung*", перенос? Оно появляется не в "*Работах о технике психоанализа*", и не в связи с реальными или воображаемыми и даже символическими отношениями к субъекту. Не связано оно и со случаем Доры и его неудачами в этом анализе – ведь он, по собственному признанию, не сумел ей вовремя сказать, что она начала испытывать к нему нежное чувство. А происходит это в седьмой главе "*Traumdeutung*" под названием "*Психология деятельности сновидения*".

Быть может, в скором будущем мы посвятим наши встречи и комментарию этой книги. Фрейд пытается в ней продемонстрировать происходящее в работе сновидения напластование значений некоторого означающего материала. Фрейд показывает нам, как речь, то есть передача желания, может давать о себе знать через все что угодно, лишь бы это "что угодно" было организовано в символическую систему. Вот где находится источник так долго остававшегося загадочным характера сновидения. И по той же причине так долго не могли понять иероглифы – их не пытались составить в их собственную символическую систему и не замечали, что крошечный человеческий силуэт мог означать *человека*, а мог и представлять звук "*человек*", входящий в состав какого-то слова в качестве слога. Сон подобен иероглифам. Как вам известно, Фрейд ссылается на Розеттский камень.

Что же Фрейд называет "*Übertragung*"? Это феномен, говорит он, обусловленный тем, что для некоторого вытесненного желания субъекта не существует никакого возможного прямого способа передачи. Желание это является в дискурсе субъекта запретным и не может добиться признания. Почему? Потому что среди элементов вытеснения есть нечто причастное невыразимому. Существуют отношения, которые никакой дискурс не может выразить, разве что – между строк.

В следующий раз мы поговорим об эзотерическом труде, "*Руководстве для заблудших*" Маймонида. Вы увидите, каким образом он умышленно организует свой дискурс так, чтобы то, что он хочет сказать и что само по себе неизреченно – это его слова, – могло бы тем не менее открыться. То, что не может или не должно быть сказано, он говорит посредством определенного беспорядка, определенных разрывов, интенциональной несогласуемости. Но способ организации дискурса субъекта также находит свое выражение – только нечаянное, спонтанное – в ляпсусах, брешах, умолчаниях, повторениях. Вот что должны мы уметь прочесть. Мы еще вернемся к этому, поскольку такие тексты стоит сопоставить.

Что же говорит Фрейд в своем первом определении "*Übertragung*"? Он говорит нам о *Tagesreste* – об остатках дневной жизни, дезынвестированных, как он говорит, с точки зрения желания. В сновидении они предстают как блуждающие формы, лишенные для субъекта всякой важности – и лишенные собственного смысла. Таким образом, это означающий материал. Означающий материал, будь он фонематическим, иероглифическим и т. д., конституирован формами, утратившими их собственное значение и задействованными в новой организации, посредством которой иной смысл стремится выразиться. Вот что именно называет Фрейд "*Übertragung*".

Бессознательное, то есть невыразимое, желание находит тем не менее способ выразиться посредством алфавита, фонематики дневных остатков, которые сами по себе желанием не нагружены. Таким образом, это феномен языка в чистом виде. Вот чему Фрейд дает имя "*Übertragung*", когда употребляет этот термин.

Конечно, в том, что происходит в анализе, по сравнению с тем, что происходит в сновидении, имеется дополнительное и существенное измерение – здесь присутствует другой. Но заметим также, что сновидения становятся более ясными, легче поддаются анализу по мере его продвижения. Это следствие того, что речь сновидения в большей степени становится ориентирована на аналитика. Лучшие сновидения, сообщаемые нам Фрейдом, самые богатые, красочные, сложные – это те, что возникали в ходе анализа и стремились сказать нечто аналитику.

Кроме того, здесь есть кое-что, что должно разъяснить и собственное значение термина *acting-out*. Если только что я говорил об автоматизме повторения и говорил о нем, главным образом, в связи с языком, то именно потому, что всякое действие во время сеанса, *acting-out* или *acting-in*, включено в контекст речи. *Acting-out* называют все, что бы ни происходило в процессе лечения. И это не зря. Если в ходе анализа пациенты часто стремятся совершить множество эротических действий, как, например, жениться, очевидно, что это происходит посредством *acting-out*. Если они действуют, то действия их адресованы аналитику.

Вот почему следует перенос и *acting-out* анализировать, то есть обнаруживать в акте его речевой смысл. Когда субъекту важно добиться признания, акт становится речью.

На этом мы сегодня остановимся.

16 июня 1954 года.

XX

DE LOCUTIONIS SIGNIFICATIONE

Очень интересное сообщение доктора Гранова, точно ложащееся в колею, намеченную продвижением нашего семинара, подготовило прекрасную почву для его продолжения и позволило мне подвести вас к тому, что до сих пор в целой серии вопросов, поставленных мной перед вами, оставалось недосказанным.

А именно, что единственно в плоскости символического может быть понята функция переноса. Вокруг этого центрального момента упорядочиваются все проявления, в которых мы можем наблюдать перенос, в том числе его преломление в области воображаемого.

Чтобы доказать это, я счел наилучшим обратить ваше внимание на первое определение переноса, данное Фрейдом.

По сути перенос заключается в возобладании в явном дискурсе дискурса скрытого, относящегося к бессознательному. Такой дискурс завладевает теми пустыми, свободными элементами, которыми являются *Tagesreste*, и всем тем, что в порядке предсознательного готово оказаться в распоряжении основополагающей потребности субъекта в признании. В этой пустоте, этом зазоре, при помощи того, что становится подобным образом материалом, находит свое выражение тайный, глубинный дискурс. Мы можем наблюдать его в сновидении, но так же в оговорках и всей психопатологии обыденной жизни.

Вот исходя из чего слушаем мы того, кто с нами говорит. И достаточно вспомнить наше определение дискурса бессознательного в качестве дискурса другого, чтобы понять, каким образом удается ему достичь подлинного соединения с интерсубъективностью в той полной реализации речи, которой является диалог.

Основным феноменом аналитического открытия как раз и является это отношение одного дискурса к другому, используемого им в качестве опоры. Мы обнаруживаем тут проявление

основного принципа семантики, состоящего в том, что каждая семантема отсылает нас к совокупности семантической системы, ко всему многообразию ее употреблений. Точно так же, во всем, что собственно относится к языку, языку человеческому, то есть используемому в речи, никогда не бывает однозначности символа. Всякая семантема имеет множество смыслов.

Отсюда вытекает та совершенно очевидная в нашем опыте и прекрасно известная лингвистам истина, что всякое значение всегда отсылает нас лишь к другому значению. С таким положением вещей, предопределившим все дальнейшее развитие их науки, лингвисты уже успели свыкнуться.

Не следует думать, будто здесь не осталось никакой двусмысленности и что Фердинанда де Соссюра, ясно увидевшего этот принцип, определения эти с самого начала совершенно устраивали.

Означающее – это слышимый материал, но тем не менее не звук. Все, что относится к порядку фонетики, не входит в состав лингвистики как таковой. Речь в ней идет о фонеме, то есть о звуке в его противопоставленности другому звуку внутри совокупности противопоставлений.

Когда говорят об означаемом, часто думают о вещи, тогда как речь идет о значении. Тем не менее, каждый раз как мы говорим, мы говорим определенные вещи – означиваемое (signifiable), через означаемое (signifié). Тут есть обманка, ведь очевидно, что язык не создан для того, чтобы обозначать вещи. Однако такая обманка имеет в человеческом языке структурное значение и в некотором смысле именно на ней основана всякая верификация истины.

Вовремя моей недавней беседы с г-ном Бенвенистом, человеком, который представляет собой крупнейшую фигуру Франции в этой области и который с полным правом может быть назван лингвистом, мне было замечено, что вещь никогда не была очевидностью. Быть может, вы будете этим удивлены, поскольку вы не являетесь лингвистами.

Давайте будем отталкиваться от понятия, что значение термина должно быть определено всей совокупностью его возможных употреблений. То же самое можно сказать и о группе терминов, и, по правде сказать, не будет никакой теории языка

если не принимать в расчет употребления групп терминов, то есть речевых оборотов, а также синтаксических форм. Однако есть этому и граница, а именно – не может быть употреблений у предложения. Существует, таким образом, две зоны значения.

Это замечание крайне важно для нас, поскольку такие две зоны значения могут быть чем-то, на что мы опираемся: поскольку это один из способов определить различие речи и языка.

Выдающийся исследователь, Бенвенист, сделал это открытие недавно. Это открытие не опубликовано и было сообщено мне в качестве основной проблемы, занимающей исследователя в настоящее время. В нашей области оно способно навести на самые интересные размышления.

И в самом деле, отец Бернарт сказал мне: *"Все, что вы только что сказали по поводу значения, разве не проиллюстрировано в* "Disputatio de locutionis significatione"*, первой части* книги "De magistro*"?"* – "*Золотые слова*!" – ответил ему я. Этот текст оставил некоторый след в моей памяти, и сказанное мной в прошлый раз, безусловно, несет на себе его отпечаток. Не следует пренебрегать тем фактом, что сказанные мной слова получают подобный отклик, я бы даже сказал *commemoratio*, согласно выражению святого Августина, что в латинском эквивалентно припоминанию.

Припоминание преподобного отца Бернарта столь же ценно для нас, как и статьи, представленные нам Грановым. И довольно поучительно заметить себе, что лингвистам, если собрать под этим именем большую семью исследователей, работавших на протяжении длительного отрезка времени, потребовалось пятнадцать веков на то, чтобы открыть заново, подобно новому восходу солнца, подобно занимающейся заре, – идеи, которые были уже изложены в тексте святого Августина, одном из интереснейших текстов в мире. И я позволил себе удовольствие по такому случаю этот текст перечитать.

Все, что я только что говорил вам об означающем и означаемом, есть уже в этом тексте и изложено в нем с потрясающей ясностью, настолько потрясающей, что, боюсь, духовные толкователи, занимавшиеся его интерпретацией, не всегда видели всю его тонкость. Они находили, что глубокомысленный отец церк-

ви занялся здесь какими-то пустяками. Но этим пустякам посвящены и самые передовые современные иследования языка.

1

П.О. Бернарт: – *У меня было всего лишь шесть-семь часов на то, чтобы поработать немного с этим текстом, и я могу сделать лишь небольшое вступление.*

Лакан: – Каков ваш перевод *"De locutionis significatione"*?

П.О. Бернарт: – *"О значении речи"*.

Лакан: – Бесспорно. *"Locutio"* – это речь.

П. О. Бернарт: – "Oratio" – *это дискурс.*

Лакан: – Мы могли бы сказать – *"Об означающей функции речи"*, поскольку в более позднем тексте *"significatio"* получит именно такой смысл. Речь употребляется здесь в широком смысле, это язык, задействованный как способ выражения, или красноречия. Это речь, взятая в целом, не полная и не пустая. Полная речь – как это будет звучать по латыни?

П.О Бернарт: – *Существует такое выражение* – "sententia plena". *Полное высказывание – это такое высказывание, где есть не только глагол, но и подлежащее, имя.*

Лакан: – Это полное *предложение*, а не *речь*. Святой Августин пытается показать здесь, что все слова являются именами. Он приводит много аргументов. Он объясняет, что всякое слово может быть использовано в качестве имени в предложении. "Если" является подчинительным союзом. Однако в предложении "Никакое если мне не нравится" это слово используется в качестве имени. Святой Августин рассуждает со всей строгостью и аналитичностью мышления современного лингвиста и он показывает, что единственно использование в предложении определяет то, какой частью речи является слово. Придумали ли вы, как можно перевести на латинский "полную речь"?

П.О. Бернарт: – *Нет. Быть может, мы встретим это выражение по ходу текста. Если вы позволите, я скажу несколько слов о диалоге* "De Magistro". *Он был сочинен Августином в 389*

году, несколькими годами позже его возвращения в Африку. Он получил название "О наставнике" *и происходит между двумя собеседниками – Августином и его сыном Адеодатом, которому тогда было 16 лет. Этот Адеодат был весьма умен, как говорит сам святой Августин, и он уверяет, что слова Адеодата в самом деле были произнесены этим шестнадцатилетним мальчиком, который проявляет себя таким образом как сильнейший соперник.*

Лакан: – Дитя греха.

П.О. Бернарт: – *Ключевой темой, намечающей направление всего диалога, является то, что язык передает истину извне посредством слов, которые звучат вовне, но ученик всегда видит истину внутри.*

Прежде чем прийти к этому заключению, к которому устремлена вся дискуссия, диалог долго петляет, строя по ходу дела целую теорию языка и речи, из которой мы можем извлечь определенную пользу.

Я приведу две ее большие части: первая – это "Disputatio de locutionis significatione", "Дискуссия о значении речи", *а вторая часть называется* "Veritatis magister solus est Christus", "Христос – единственный учитель истины".

Первая часть в свою очередь делится надвое. Первый раздел получил очень общее название, "De signis". *Что довольно плохо переводят как* – "О ценности слов". *Речь идет совсем о другом, поскольку нельзя отождествлять* signum *и* verbum. *Второй раздел назван* "Signa ad discendum nihil valent", "Знаки не предназначены учить". *Начнем с раздела* "О знаках".

> *Вопрос Августина к своему сыну: "Что мы хотим сделать, когда говорим?" Ответ: "Мы хотим учить или научиться – в зависимости от положения учителя или ученика." Святой Августин старается показать, что даже тогда, когда хотят научиться и задают вопрос чтобы узнать, одновременно и учат. Почему? Потому что того, к кому обращаются, научают тому направлению, в каком хотят получить знание. Из чего делается общий вывод: "Итак, ты видишь, мой дорогой, что посредством языка можно лишь учить."*

Лакан: – Вы позволите мне одно замечание? Всем ясно, что с самого начала мы попадаем тут в самое сердце проблемы, которую я пытаюсь вам разъяснить. Здесь говорится о различии, существующем между коммуникацией посредством сигналов и межчеловеческим обменом речью. Августин с самого начала погружен в стихию интерсубъективности, поскольку он делает упор на *docere* и *dicere*, различить которые невозможно. Всякий вопрос представляет собой, главным образом, попытку согласовать две речи, что подразумевает прежде согласование языков. Какой-либо обмен возможен лишь через взаимоотождествление двух завершенных в себе универсумов языка. Вот почему всякая речь как таковая уже есть ученье. Она не является игрой знаков и располагается не на уровне информации, а на уровне истины.

П. О. Бернарт: – *Адеодат: "Я не думаю, что мы не хотим чему-либо научить, когда рядом нет никого, чтобы учиться."*

Лакан: – Каждую из этих реплик стоило бы рассмотреть по-отдельности.

П. О. Бернарт: – *Сделав упор на обучение, он переходит к замечательному способу обучения,* per commemorationem, *то есть через припоминание. Итак, две вещи понуждают нас говорить. Мы говорим или чтобы учить, или чтобы возбудить припоминание – у других или у самих себя. После такого начала диалога Августин задается вопросом, для чего была учреждена речь, единственно ли для того, чтобы учить или припоминать? Тут не стоит забывать о той религиозной атмосфере, в которой протекает диалог. Собеседник Августина отвечает, что есть ведь и молитва, представляющая собой диалог с Богом. Можно ли думать, что Бог получает от нас учение или напоминание? Молитва наша не нуждается в словах, говорит Августин, если только мы не хотим, чтобы другие знали о ней. Применительно к Богу, мы не пытаемся напомнить или учить того, с кем говорим, – скорее мы стремимся уведомить о своей молитве других. Таким образом, выражение здесь нужно лишь в отношении тех, кто может нас видеть в таком диалоге.*

Лакан: – Молитва касается невыразимого. Она не лежит в поле речи.

П. О. Бернарт: – *Это значит, обучение происходит посредством слов. Слова являются знаками. Здесь мы наталкиваемся на подробное размышление о* verbum *и* signum. *Чтобы развить свою мысль и разъяснить то, каким образом он понимает отношение знака к означиваемому, Августин предлагает своему собеседнику стих из* "Энеиды".

Лакан: – Он еще не определил означиваемое.

П.О. Бернарт: – *Пока еще нет – знак означет нечто, но что именно? Пока не известно. Итак, Августин обращается к стиху из* "Энеиды" – *книга II, стих 659* – "Si nihil ex tanta Superis placet urba relinqui". "*Если богам угодно, чтобы от такого города ничего не осталось". И используя все средства майевтики, он попытается обнаружить тот* aliquid, *что здесь обозначен. Для начала, он спрашивает своего собеседника.*

Авг.- *Сколько слов в этом стихе?*
Ад. – *Восемь.*
Авг.- *То есть здесь восемь знаков?*
Ад. – *Да, это так.*
Авг.- *Ты понимаешь этот стих?*
Ад. – *Да, он мне понятен.*
Авг.- *Скажи мне теперь, что означает каждое слово.*

Адеодат несколько озадачен словом "если". Ему нужно бы найти эквивалент. Но Адеодат его не находит.

Авг. – *Какая бы вещь ни была обозначена этим словом, знаешь ли ты, по крайней мере, где она находится?*
Ад. – *Мне кажется, "если" означает сомнение. Где же находиться сомнению, как не в душе?*

Итак, мы тотчас же видим, что слово отсылает нас к чему-то, относящемуся к духовному порядку, к реакции субъекта как такового.

Лакан: – Вы уверены?

П. О. Бернарт: – *Да, я так думаю.*

Лакан: – Он ведь говорит здесь о локализации.

П. О. Бернарт: – *Которую не надо понимать пространственно. Я сказал* "в душе" *в качестве противопоставления материальному. Затем он переходит к следующему слову* – nihil, *т. е.* ничто. *Адеодат говорит: "Очевидно это то, что не существует". Августин возражает, что несуществующее никак не может быть какой-нибудь вещью. А следовательно, второе слово не является знаком, поскольку оно не обозначает вещи. А следовательно, ошибочным является убеждение, что всякое слово является знаком или что всякий знак – это знак какой-нибудь вещи. Адеодат приходит в замешательство, ведь если нам нечего обозначать, то безумием будет говорить. А следовательно, здесь должно что-нибудь быть.*

> Авг. – *Разве нет определенной реакции души, когда, не видя вещь, она все же отдает себе отчет, или полагает, что отдает себе в этом отчет, что этой вещи не существует? Почему бы не сказать, что это и есть объект, обозначаемый словом "ничто", скорее чем сама вещь, которой не существует?*

Итак, здесь обозначена реакция души перед лицом отсутствия какой-то вещи, которая могла бы быть тут.

Лакан: – Смысл этой первой части состоит именно в том, чтобы показать невозможность использования языка при дословном соотнесении символа и вещи. Это весьма точное описание, если не забывать, что во времена святого Августина не была разработана негативность. Но вы, тем не менее, видите, что в силу свойства знаков, или вещей – в этом нам предстоит разобраться – именно на *nihil* он и наталкивается в этом замечательном стихе. Выбор его вовсе небезынтересен. Фрейд, бесспорно, прекрасно знал Вергилия, и этот стих, упоминающий об исчезнувшей Трое, любопытно перекликается с тем фактом, что когда Фрейд в "*Недовольстве культурой*" хочет дать бессознательному определение, он говорит об исчезнувших монументах Рима. В обоих случаях речь идет о вещах, которые исчезают в истории, но в то же время остаются в ней присутствующими, отсутствуя.

П. О. Бернарт: – *Затем Августин переходит к третьему слову* – "ex". *Тут его ученик предлагает для объяснения значения этого слова другое слово. Это слово* "de", *термин разделения с вещью, где находится объект, о котором говорят, что он оттуда исходит. И тогда Августин замечает ему, что он объясняет слова при помощи слов* – "ex" *при помощи* "de", *одно известное слово посредством других известных слов. Он подталкивает его к выходу за пределы плоскости, в которой тот продолжает находиться.*

Авг. – *Я хотел бы, чтобы ты показал мне, если можешь, те самые вещи, знаками которых являются слова.*

В качестве примера он берет стену.

Авг. – *Можешь ли ты показать мне ее пальцем? Таким образом, я увидел бы саму вещь, знаком которой является это слово из двух слогов. А ты показал бы ее не прибегая при этом к речи.*

Далее следует размышление о языке жестов. Августин спрашивает у своего ученика, хорошо ли он исследовал то, как глухие общаются с им подобными при помощи жестов. И он показывает, что в этом языке представлены не только видимые вещи, но также звуки, вкус и т. д.

О. Маннони: – *Это напоминает мне игру, в которую мы играли в Гитранкуре в воскресенье. Да и в театре актеры разыгрывают порою пьесы и достигают понимания без слов, при помощи танца...*

Лакан: – Упомянутая вами игра, в самом деле, очень показательна. В этой игре участники делятся на две группы и одна группа должна как можно скорее дать угадать другой группе слово, втайне задуманное водящим. Тут демонстрируется как раз то, о чем упоминает святой Августин в данном отрывке. Ведь сказанное здесь является не столько диалектикой жеста, сколько диалектикой указания. То, что он в качестве примера берет стену, вовсе нас не удивит, поскольку именно со стеной языка, скорее, нежели со стеной реальной, придется ему столкнуться. Таким образом он замечает, что не только вещи могут быть обозначены, но также качества. Если всякое указание является зна-

ком, то знак этот двусмысленен. Ведь если вам указывают пальцем на стену, как узнать, что это стена, а не ее качество, например быть шероховатой или зеленой, серой и т. д.? Точно так же, в той игре кто-то должен был показать слово *плющ* и пошел за плющом. Ему сказали: "*Вы жульничаете*". Но это не так. Этот человек принес три листа плюща, что могло означать зеленый цвет или Святую Троицу и массу других вещей.

О. Маннони: – *У меня есть замечание. Допустим, я хочу сказать слово* "стул". *Но если вдруг это слово вылетело у меня из головы и я потрясаю стулом, чтобы закончить мое предложение, на самом деле я использую не вещь, а слово. Невозможно говорить посредством вещи, всегда говорят словами.*

Лакан: – Ваш пример прекрасно иллюстрирует то, как проводится в анализе интерпретация – мы всегда интерпретируем сиюминутные реакции пациента такими, какими они используются в дискурсе, подобно вашему стулу, который становится словом. Когда Фрейд интерпретирует движения, жесты и как будто эмоции, речь идет именно об этом.

П. О. Бернарт: – *Ничего не может быть показано без знака. Однако Адеодат попытается доказать, что такие вещи есть. Августин задает следующий вопрос.*

> Авг. – *Если я спрошу тебя: что такое "ходить"? – а ты встанешь и совершишь это действие: не воспользуешься ли ты, чтобы научить меня, самой вещью, а не словами или каким-нибудь другим знаком?*
>
> Ад. – *Да, сознаюсь, это так, и мне стыдно, что я не увидел столь очевидную вещь.*
>
> Авг. – *А если я спрошу тебя, когда ты будешь идти: что такое "ходить"? – Как бы ты меня научил?*
>
> Ад. – *Я совершил бы то же самое действие немного быстрее, чтобы вслед за твоим вопросом привлечь твое внимание чем-то новым, но все же не делать ничего другого, чем то, что должно быть показано.*

Однако это "торопиться", что не то же самое, что "ходить". Тогда можно будет подумать, что "ambulare" *это* "festinare".

Только что благодаря “nihil” *мы коснулись негативности, теперь этот пример позволяет нам заметить, что такое слово, как* “festinare” *может быть применено ко всякого рода другим действиям. А точнее, мы видим, что если показать какое-то действие в его собственном времени, у субъекта не будет никаких оснований, если он не располагает словами, концептуализировать само действие, поскольку он может подумать, что речь идет о данном действии только в данном времени. Мы сталкиваемся тут со знакомой истиной:* “время – *это* понятие”. *И только если время действия взято само по себе, отдельно от частности действия, то действие может быть концептуализировано как таковое, то есть сохранено в имени. Мы подошли, таким образом, к диалектике имени.*

Итак, Адеодат признает, что мы не можем показать вещь без знака, когда выполняем эту вещь в момент постановки вопроса. Однако если вопрос касается действия, которое мы можем совершить, но в момент постановки вопроса не совершаем, то в таком случае мы можем ответить самой вещью, начав совершать это действие. Следовательно, мы можем показать действие и без знаков, при условии, что не совершаем это действие в момент постановки вопроса.

Лакан: – Адеодат делает исключение лишь для одного действия – говорения. Другой спрашивает меня: “*Что такое говорить? – Что бы я ни сказал ему, с целью научить его,* говорит ребенок, *мне придется говорить. Исходя из этого, я буду продолжать мои объяснения до тех пор, пока не разъясню ему то, что он хочет, причем я не буду удаляться от вещи, которую он хочет, чтобы я показал, и искать знаки вне той самой вещи.*” Это единственное действие, которое действительно может продемонстрировать себя, поскольку это действие по сути демонстрируется знаками. Одно лишь значение может быть в нашем призыве обнаружено, поскольку значение всегда отсылает к значению.

П. О. Бернарт: – *Затем Августин возвращается ко всем рассмотренным вопросам для более глубокого исследования. Обратимся к первому пункту: знаки можно показать только при помощи других знаков.*

Авг. – *Только ли слова являются знаками?*

Ад. – *Нет.*

Авг. – *Итак, я думаю, что говоря, мы обозначаем при помощи слов либо сами слова, либо другие знаки.*

И Августин показывает, что при помощи речи можно означать и обозначать помимо слов и другие знаки, как, например, жесты, буквы и т. д.

Лакан: – Примеры двух знаков, которые не являются *verba* – *gestus* и *littera.* Здесь святой Августин проявляет себя более здравомыслящим, чем наши современники, которые порой приходят к мысли, что жест не относится к порядку символического, но расположен, например, на уровне реакции животного. Жест противоречил бы тогда нашему тезису, что анализ целиком происходит в речи. "*А как же жесты пациента?*" – возражают такие исследователи. Человеческий жест относится к языку, а не к двигательным проявлениям. Это очевидно.

П. О. Бернарт: – *Я продолжу чтение.*

Авг. – *Какому чувству адресованы те знаки, которые являются словами?*

Ад. – *Слуху.*

Авг. – *А жест?*

Ад. – *Зрению.*

Авг. – *А когда мы имеем дело с написанными словами? Это что – уже не слова, или их скорее нужно понимать как знаки слов? Тогда слово было бы тем, что произнесено как голосовой звук, связанный со значением, которое не может быть воспринято никаким другим чувством, кроме слуха.*

Следовательно, написанное слово отсылает нас к слову, адресованному человеческому уху, а то, в свою очередь, апеллирует к разуму. Сказав это, Августин обращается к точному verbum, *т. е. к* nomen, *имени.*

Авг. – *При помощи того типа* verbum, *которым является потеп, мы, конечно, обозначаем какую-то вещь: так можем мы обозначить* Romulus, Roma, fluvius, virtus, *беско-*

нечное множество вещей – но это лишь промежуточное звено. И существует огромная разница между таким именем и объектом, которое оно обозначает. В чем это различие?

Ад. – *Имена являются знаками, а объекты – нет.*

Итак, на горизонте, на самой границе, мы видим все те же объекты, которые не являются знаками. И здесь впервые появляется термин significabilia. *Знаменуемыми* (significables) *мы будем называть объекты, которые могут быть обозначены знаком, но сами знаком не являются.*

Лакан: – Теперь мы уже можем продвигаться немного быстрее. Последние вопросы касаются знаков, которые сами себя обозначают. Речь идет о том, чтобы углубить смысл понятия вербального знака "*nomen*" и "*verbum*" – мы перевели "*verbum*" как "*слово*" *(mot)*, тогда как брат Тоннар перевел его где-то как "*речь*" *(parole)*.

В этой связи я хотел бы заметить, что очень возможно, что изолированный в языке феномен ничего не обозначает. Узнать его значение можно лишь посредством языковой практики и употребления слова, т. е. через его интеграцию в систему значения. *Verbum* употребляется как таковой, и отсюда разворачивается доказательство, касающееся того, всякое ли слово можно рассматривать как *nomen*. Тут возникает вопрос. Даже в тех языках, где глагол крайне редко употребляется в качестве существительного, как, например, во французском, где мы обычно не употребляем глагол с артиклем существительного – *le laisser, le faire, le se trouver,* – различие имени и глагола гораздо более шатко, чем вы могли бы думать. В чем заключается мысль Августина, когда он хочет отождествить "*nomen*" и "*verbum*"? И какую ценность могли бы вы придать "*nomen*"-у в языке нашего семинара?

Это именно то, что мы с вами называем символом. "*Nomen*" – это совокупность означающего-означаемого, в особенности постольку, поскольку она служит признанию, поскольку на ней зиждется пакт и соглашение. Это символ в смысле пакта. "*Nomen*" осуществляет свою функцию в плоскости признания. Такой перевод соответствует лингвистической гениальности латинского языка, где слово "*nomen*" широко используется в

юриспруденции и может, например, употребляться в смысле документа-основания требований кредитора.

Мы можем сослаться здесь на игру слов, принадлежащую Гюго – не надо думать, что Гюго был безумцем, – *nomen, numen*. Изначальный вид слова "*nomen*" и в самом деле связывает его с *numen*, священным. Конечно, лингвистическая эволюция слова не обошлась без влияния слова "*nocere*", что дало такие формы, как "*agnomen*", где трудно не усмотреть поглощение слова "*nomen*" словом "*cognoscere*". Однако юридическое употребление дает нам достаточно оснований думать, что мы не ошиблись, разглядев тут функцию признания, пакта, межчеловеческого символа.

П. О. Бернарт: – *Да, Августин, действительно разъясняет это в отрывке, в котором говорит о выражениях типа* "это называется", "имя этому". *Что осуществляется при помощи ссылки на интерсубъективное понятие.*

Лакан: – В другом месте мы встречаем фантастическую разработку этимологии слов "*verbum*" и "*nomen*": *verbum* – это слово в той мере, как оно достигает человеческого уха, что соответствует нашему понятию о словесной материальности, а *nomen* является словом в той мере, как оно заставляет нас узнать. Единственное, чего нет у Августина – поскольку не было еще Гегеля – это различия между знанием, *agnoscere*, и признанием. Диалектика признания по сути является человеческой, а поскольку Августин мыслит в диалектике не атеистической...

П. О. Бернарт: – *Но ведь когда есть то, что* называется, припоминается *и* именуется, *речь идет именно о признании.*

Лакан: – Безусловно, но он не выделяет эту функцию, поскольку для него, в конечном счете, было лишь одно признание – признание Христа. Тем не менее бесспорно, что тема эта, как минимум, появляется. Даже те вопросы, которые он решает отличным от нашего способом, по крайней мере, указаны – таким образом, язык его сродни нашему.

П. О. Бернарт: – *И это главное.*

Лакан: – Перейдем ко второй главе, которая касается того, что вы назвали властью языка.

П.О. Бернарт: – *Называется она* – “О том, что знаки вовсе не предназначены учить”. *На этот раз речь пойдет уже не об отношении знаков к знакам, а мы приступаем к отношению знаков к означиваемым вещам.*

Лакан: – *“От знака к обучению”.*

П. О. Бернарт: – *Это плохой перевод, скорее* “к означиваемому”.

Лакан: – Вот как вы переводите “*dicendum*”. Да, но святой Августин говорит нам, с другой стороны, что “*dicere*”, являющееся основным смыслом речи, это “*docere*”.

П. О. Бернарт: – *Я пропущу две или три страницы. Итак, Августин утверждает, что знак, когда его слышат, направляет внимание на означенную вещь. Чему он приводит возражение с аналитической точки зрения интересное, поскольку оно встречается время от времени.* – Что ты скажешь, *спрашивает он у Адеодата,* если собеседник в шутку сделает заключение, что если кто-то говорит о льве, то лев выходит из уст говорящего? – Это знак, *отвечает Адеодат,* выходит из уст говорящего, а не значение; не понятие, а средство его передачи. *Теперь, Августин хочет нас подвести к тому, что, по сути, знание исходит от вещей. Сначала он спрашивает, что нужно предпочесть – означенную вещь или знак. Следуя универсальному в ту эпоху принципу, означенные вещи нужно ценить больше, чем знаки, поскольку знаки подчиняются означенной вещи, а все, что подчиняется другой вещи, менее достойно, чем то, чему оно подчиняется.* – По крайней мере, ты не судишь об этом иначе, *говорит Августин Адеодату. Но тот находит ему возражение.*

> Ад. – *Если мы говорим непристойность, то это имя, на мой взгляд, гораздо достойнее им означенной вещи. Поскольку мы предпочитаем это слышать, нежели чувствовать.*

Это позволяет ввести между вещью в ее материальности и знаком осведомленность о вещи, то есть знание. – Какова цель, *спрашивает Августин,* тех, кто приписал имя столь постыдной и презренной вещи? Им важно было уведомить других о надлежащем поведении в отношении такой вещи. И большего уваже-

ния заслуживает не вещь, а знание вещи, которым является само слово.

> Авг. – *Знание непристойности, в самом деле, следует считать лучшим, чем само имя, которому, в свою очередь, должно быть отдано предпочтение перед самой непристойностью. Ведь нет иной причины предпочитать знание знаку, если только знак существует ради знания, а не знание ради знака.*

Говорят чтобы знать, а не наоборот. Другой вопрос – предпочтительнее ли знание знаков знанию вещей? Августин лишь намечает ответ. И, наконец, он завершает такое изложение словами:

> *Авг. – Знание вещей превосходнее не знания знаков, а самих знаков.*

И тут он возвращается к проблеме, поставленной в первой части.

> Авг. – *Рассмотрим поближе, существуют ли вещи, которые можно показать посредством их самих, без всяких знаков, как, например, говорить, ходить, сидеть и тому подобные.Существуют ли вещи, которые можно показать без знаков?*
> Ад. – *Разве что речь.*
> Авг. – *Настолько ли ты уверен во всем, что говоришь?*
> Ад. – *Я не уверен вовсе.*

Августин приводит пример вещи, которую можно показать без всяких знаков, что навело меня на мысль об аналитической ситуации.

> Авг. – *Если кто-то, не зная ничего об охоте на птиц при помощи прутьев и смолы, встретил бы птицелова с его снастями, еще только идущего на охоту, и если, увидев его, он пошел бы за ним, недоумевая,, чему эти снасти служат, а птицелов теперь, видя, как за ним наблюдают, приготовил бы свои прутья с намерением показать, зачем ему все это, – и, нацелившись на ближайшую птичку, при помощи прута и сокола загнал бы птичку в ловушку,*

подчинил бы ее, а затем схватил, – разве не сообщил бы тогда птицелов без всяких знаков, но единственно своим действием зрителю то, что тот хотел узнать?

Ад. – *Я боюсь, как бы тут не получилось так же, как с тем, что я сказал о человеке, пожелавшем узнать, что такое "ходить". В самом деле, я не нахожу, что искусство птицелова показано здесь целиком.*

Авг. – *Мне не сложно избавить тебя от твоих опасений. Я добавлю: если наш наблюдатель достаточно сообразителен, чтобы на основе увиденного составить себе полное представление об этом искусстве. Для нашего доказательства на самом деле вполне достаточно, чтобы мы могли научить без знаков некоторым, если не всем, занятиям, по крайней мере, некоторых людей.*

Ад. – *Я могу в свою очередь добавить, что если этот человек действительно умен, он вполне поймет и что такое "ходить", когда ему покажет ходьбу, сделав несколько шагов.*

Авг. – *С удовольствием позволю тебе это сделать. Как ты видишь, каждый из нас установил, что не прибегая к знакам некоторые люди могли бы быть научены определенным вещам. Такие замечания, в самом деле, убеждают нас, что не одна-две вещи, но множество вещей предстают разуму как нечто такое, что может быть показано само по себе, без всяких знаков. Не говоря уж о многочисленных зрелищах, где все люди показывают сами вещи.*

На что можно было бы ответить, что, во всяком случае, то, что может быть показано без знаков, уже является значимым, поскольку лишь в недрах универсума, где уже есть субъекты, действия птицелова получают смысл.

2

Проницательное замечание отца Бернарта избавляет меня от необходимости напоминать вам, что искусство птицелова может существовать лишь в мире, уже структурированном языком. Нет необходимости останавливаться на этом.

Для Августина важно не прийти к превосходству вещей над знаками, а пробудить сомнения в преимуществе знаков в такой

преимущественно речевой функции, как научение. Вот где возникает зазор между *signum* и *verbum, nomen*, который в качестве инструмента речи является и инструментом научения.

Августин апеллирует к тому же измерению, что и другие психологи. Ведь психологи являются людьми более духовными – в техническом, религиозном смысле слова – чем принято о них думать. Как и Августин, они верят в озарение, разумность. Вот что, занимаясь психологией животного, они обозначают именем инстинкта, *Erlebnis* – позволю себе мимоходом заметить вам.

Именно потому, что Августин хочет вовлечь нас в измерение истины как таковой, он оставляет лингвистическую область и впадает в заблуждение, о котором я только что говорил. С момента возникновения речи ее движение происходит в измерении истины. Однако речи не известно, что создает истину именно она. Святому Августину это также не известно, поэтому-то он и пытается добраться до истины как таковой, найти ее в озарении. Отсюда и происходит полное обращение перспективы.

Безусловно, говорит он, знаки, в конечном итоге, совершенно бессильны, поскольку мы можем распознать их ценность в качестве знаков и знаем, что они являются словами, лишь тогда, когда нам известно, что они обозначают в языке при их конкретном употреблении. Благодаря чему ему становится легко провести диалектический поворот и сказать, что используя взаимно определяющие друг друга знаки, мы никогда ничего не узнаем. Либо мы уже знаем истину, о которой идет речь, и следовательно, не знаки нам ее сообщают, либо мы ее не знаем и не можем постичь знаки, к ней относящиеся.

Он идет дальше и изумительно намечает основание диалектики истины, лежащее в самом сердце аналитического открытия. Перед лицом слышимых нами слов, говорит он, мы попадаем в весьма парадоксальную ситуацию – мы не знаем, истинны они или нет; следует ли нам примкнуть к их правде или нет; принять их, отвергнуть или же усомниться в них. Ведь значение всего, что было высказано, определяется посредством отношения к истине.

Речь, независимо от того, учат ли ей или учит она сама, лежит, таким образом, в регистре обознания, ошибки, обмана, лжи. Августин заходит весьма далеко в своем исследовании, ведь речь

предстает у него под знаком двусмысленности, и не только семантической, но и субъективной. Он допускает, что и сам субъект, говорящий нам нечто, зачастую не знает, что именно он нам говорит, и говорит нам в большей или меньшей степени то, чего сказать не хотел. Даже вопрос о ляпсусе присутствует в исследовании Августина.

П. О. Бернарт: – *Однако он не утверждает, будто ляпсус может нечто сказать.*

Лакан: – Совершенно верно, поскольку он рассматривает его как значащий элемент, но не говорит, что он означает. Ляпсус для него состоит в том, что субъект, пользуясь знаком, нечаянно говорит нечто другое – *aliud* – чем то, что он хочет сказать. Другой показательный пример двусмысленности дискурса дает эпикуреец. Эпикуреец, рассуждая о функции истины, приводит аргументы, которые, как ему кажется, убедительно им опровергнуты. Однако аргументы эти несут в себе истину столь весомую, что укрепляют у слушателя убеждение, в точности обратное тому, что хотел внушить эпикуреец. Кроме того, вам прекрасно известно, как замаскированный дискурс, дискурс гонимой речи – как сказал небезызвестный Лео Стросс – при режиме политического давления, например, умеет высказать свои подлинные мысли под видом спора с ними.

Короче говоря, именно вокруг трех данных полюсов – ошибки, обознания и двусмысленности речи – строит Августин свою диалектику. Что ж, именно в свете неспособности знаков научить – используем это выражение отца Бернарта – мы и попытаемся в следующий раз освоить диалектику созидания истины речью.

В этом треножнике вы без труда узнаете три главные симптоматические функции, выведенные Фрейдом в раскрытии смысла на первый план – *Verneinung, Verdichtung, Verdrängung.* Ведь то, что говорит в человеке, выходит далеко за пределы речи и пронизывает его сны, его бытие и даже его организм.

23 июня 1954 года.

XXI

ИСТИНА ВОЗНИКАЕТ ИЗ ОСОЗНАНИЯ

Несостоявшееся=удавшееся.
Речь по ту сторону дискурса.
Слово вылетело у меня из головы.
Сон о монографии по ботанике.
Желание.

Сегодня ваш круг, постоянству которого вы никогда не изменяли, все же несколько поредел. А в конце курса уже мне придется с вами расстаться.

Мы начали с технических правил, как они были впервые выражены в *"Работах по технике психоанализа"*, прекрасно сформулированных и в то же время крайне неопределенных. Затем, изучение природы субъекта привело нас к тому, вокруг чего вращается наше исследование с середины последнего семестра – к структуре переноса.

Чтобы определить относящиеся сюда вопросы, нужно исходить из того центрального момента, к которому подвело нас наше диалектическое исследование, а именно, что перенос не возможно понять как дуальное, воображаемое, отношение; двигателем же его прогресса является речь.

Задействовать в работе иллюзорную проекцию на аналитического партнера какой-либо из основополагающих связей субъекта, объектное отношение, отношение между переносом и контр-переносом – все это, оставаясь в рамках *two bodies' psychology*, является неадекватным. И не только теоретические дедукции свидетельствуют об этом, но и конкретные свидетельства цитированных мной авторов. Помните, что говорит нам Балинт о состоянии, означающем для него конец анализа, – перед нами не что иное, как нарциссическое отношение.

Итак, мы показали очевидную необходимость третьего условия, единственно которое и позволяет представить себе зеркальный перенос и которое является речью.

Несмотря на все усилия, направленные на то, чтобы забыть о речи или свести ее к роли средства, анализ как таковой является техникой речи, и речь служит средой, в которой происходит движение анализа. Именно по отношению к функции речи можно провести различие одних пружин анализа от других, раскрыть их собственный смысл и их точное место. Все последующее обучение лишь будет вновь и вновь возвращать нас к этой истине, в различных ее видах.

1

Наша последняя встреча обогатила нас обсуждением фундаментальной работы святого Августина о значении речи.

Систему святого Августина можно назвать диалектической. Она не заняла своего места в той системе наук, которая сложилась всего несколько веков назад. Однако его точка зрения отнюдь не чужда нашей позиции, позиции лингвистической. Напротив, мы можем констатировать, что гораздо раньше появления лингвистики в кругозоре современной науки некто, размышляющий об искусстве речи, т. е. говорящий о нем, был подведен к проблеме, заново открытой современным прогрессом этой науки.

Постановка такой проблемы исходит из вопроса, каким образом речь соотносится со значением, как знак соотносится с тем, что он обозначает? В самом деле, функция знака может быть постигнута в том, что всякий раз один знак отсылает к другому. Почему? Потому что система знаков, в их конкретном, *hic et nunc*, установлении, сама по себе образует целое. То есть такая система устанавливает некоторый порядок, выйти из которого невозможно. Необходимо, конечно, чтобы выход все же существовал, иначе бы этот порядок был бессмысленен.

Такого рода тупик обнаруживается лишь при условии, что рассматривается цельный порядок знаков. Но именно так и нужно их принимать, в их совокупности, поскольку язык не следует понимать как результат прорастания из вещи, распускания почек. Имя нельзя уподобить проросшему из вещи ростку спаржи. Язык можно мыслить лишь как некоторую решетку, сеть, наложенную на совокупность вещей, на всю сумму реального.

Она вписывает в плоскость реального тот другой план, который мы называем здесь планом символического.

Конечно, сравнение – не доказательство, и я лишь проиллюстрировал здесь то, что сейчас объясняю вам.

Из тупика, выявленного во второй части изложения Августина, следует, что вопрос об адекватности знака – я уже не говорю – вещи, но тому, что знак обозначает – ставит перед нами загадку. Тайна ее – не что иное, как загадка истины, здесь-то и подстерегает нас августиновская апологетика.

Либо вы уже располагаете смыслом, либо вы им не располагаете. Вы понимаете то, что выражается знаками языка, в конечном счете, благодаря тому свету, который доходит до вас помимо знаков – либо посредством внутренней истины, позволяющей вам распознать то, что доставляется знаками, либо посредством представления некоторого объекта, настойчиво и многократно с теми или иными знаками сопоставляемого. Итак, мы получили обратную перспективу. Истина находится вне знаков. Такой качок августиновской диалектики направляет нас к признанию подлинного *magister*, внутреннего господина истины.

С полным правом мы можем приостановиться на мгновение, чтобы заметить, что сам вопрос истины уже ставится благодаря диалектическому прогрессу как таковому.

Так же как в одном месте своего доказательства Августин забывает, что столь сложная техника птицелова – хитрость, западня для ее объекта, намеченной для поимки птички – с самого начала структурирована, инструментализирована речью – точно так же и здесь, похоже, он не замечает, что сам вопрос истины с самого начала включен внутрь его обсуждения, поскольку именно с помощью речи он речь изучает и создает измерение истины. Всякая речь, сформулированная как таковая, привносит в мир новшество возникновения смысла. Это не значит, что она утверждает себя как истину, она, скорее, вводит в реальное новое измерение – измерение истины.

Августин приводит следующий аргумент – речь может быть обманом. Уже одно это подразумевает, что знак может быть представлен и закреплен единственно в измерении истины. Ведь чтобы быть обманом, речь утверждает себя истинной – для слушающего. Для говорящего же – сам обман требует предвари-

тельной опоры на истину, которую надо будет сокрыть, и по мере того, как обман будет развиваться, он будет подразумевать подлинное углубление истины, которой, если можно так сказать, он соответствует.

В самом деле, по мере того, как происходит организация лжи, как она выпускает свои щупальца, ей необходим соответственный контроль истины, которая встречается ей на каждом повороте пути и которой ей следует избегать. В традиции морализма это прекрасно выражено – когда лжешь, нужно иметь хорошую память. Нужно чертовски хорошо знать вещи, чтобы успешно поддерживать ложь. Нет ничего сложнее, чем постоянная ложь. Поскольку в этом смысле ложь, развиваясь, участвует в процессе окончательного схватывания истины.

Но не в этом еще суть проблемы. Самое главное в этом вопросе – это проблема ошибки, именно тут она всегда и возникала.

Ясно, что ошибка определима лишь в терминах истины. Однако отсюда не следует, что не будь истины, не было бы и ошибки, как если бы не было черного, не было бы и белого. Более того, не существует ошибки, которая не была бы представлена и преподана как истина. Вообще говоря, ошибка является обычным воплощением истины. И если мы хотим быть совсем строгими, скажем, что покуда истина никогда не будет полностью раскрыта, т. е. по всей вероятности, до скончания веков, она, исходя из ее природы, будет распространяться в форме ошибки.

Не нужно идти дальше, чтобы увидеть здесь структуру, лежащую в основе открытия бытия как такового.

Сегодня я хотел бы лишь слегка коснуться такого вопроса, которым мы займемся впоследствии. Давайте будем пока придерживаться здесь феноменологии функции речи.

Мы видели, что существование обмана как такового зависит от истины, и не только от истины, но от ее прогресса – что ошибка является общим проявлением самой истины – и таким образом, пути истины по сути являются путями ошибки. "*Как же тогда,* – скажете вы мне, – *внутри речи может быть обнаружена ошибка? Для этого необходимо или доказательство опыта, сличение с объектом, или озарение внутренней истиной, представляющее собой конец августиновской диалектики.*"

Такое возражение имеет определенную силу.

В самом основании структуры языка лежат означающее, которое всегда является материальным и которое предстает у святого Августина как *verbum*, – и означаемое. Будучи рассмотрены поодиночке, они оказываются в отношении, которое выглядит совершенно произвольным. Нисколько не более обоснованно называть жирафа *жирафом*, а слона *слоном*, нежели жирафа – *слоном*, а слона – *жирафом*. Мы с полным основанием можем сказать, что у жирафа – хобот, а у слона – длинная шея. Если это и является ошибкой в общепринятой системе, ее невозможно обнаружить, как замечает святой Августин, если не заданы определения. Но что может быть сложнее, чем составление верного определения?

Тем не менее, если ваш дискурс о жирафе с хоботом будет продолжаться бесконечно долго и все вами сказанное будет применимо к слону, то станет ясно, что под именем жирафа в вашей речи присутствует слон. И останется лишь связать ваши термины с общепринятыми. Такое доказательство святой Августин проводит относительно термина "*perducam*". Ошибкой называется другое.

Ошибка обнаруживает себя в том, что в определенный момент она приводит к противоречию. Если я скажу сначала, что розы – это растения, которые обычно растут под водой, а затем выяснится, что в течение дня я оставался там же, где и розы, то поскольку очевидно, что я не мог провести день под водой, в моем дискурсе выявится противоречие, обнаруживающее мою ошибку. Другими словами, в дискурсе именно противоречие пролагает разделение между истиной и ошибкой.

Отсюда вытекает гегелевская концепция абсолютного знания. Абсолютное знание – это тот момент, где совокупность дискурса замыкается на себе самой совершенно непротиворечиво, вплоть до того, что она полагает, объясняет и обосновывает саму себя. Если бы нам удалось достичь когда-нибудь такого идеала!

Вам слишком хорошо знакомы бесконечные пререкания по всевозможным темам и вопросам, равно как и большая или меньшая двусмысленность, царящая во всех областях человеческого взаимодействия, а также явное несогласие различных символических систем, определяющих человеческие действия,

религиозные, юридические, научные и политические системы. Между такими различно ориентированными системами не существует ни наложений, ни совпадений, а есть лишь зияния, бреши, разрывы. Вот почему мы не можем рассматривать человеческий дискурс как единое целое. Всякая произнесенная речь всегда подчиняется, до определенного момента, внутренней необходимости ошибаться. Таким образом, мы явно пришли к своего рода историческому пирронизму, где вопрос об истинностной ценности всего, что может быть изречено человеческим голосом, повисает в нерешенности в ожидании будущего подытоживания в неком целом.

Так ли уж невероятно осуществление этого целого? Нельзя ли, в конце концов, рассматривать прогресс физических наук как прогресс одной лишь символической системы, пищу и почву для которой дают вещи? По мере совершенствования такой системы мы увидим, как под ее давлением вещи крушатся, разлагаются, исчезают. Символическую систему нужно воспринимать не как приставшее к вещам облачение, она оказывает на них и на человеческую жизнь свое воздействие. Такое изменение можно назвать как угодно – завоеванием, вторжением в природу, преобразованием природы, очеловечиванием планеты.

Таким образом, символическая система наук приходит к *сложившемуся языку*, который можно считать ее собственным языком, языком, лишенным всякой соотнесенности с голосом. Сюда же ведет нас и августиновская диалектика, лишив себя всякой соотнесенности с той областью истины, где она тем не менее имплицитно разворачивается.

Тут-то и поражает нас фрейдовское открытие.

2

В решение этого вопроса, представляющегося, буквально, *метафизическим*, фрейдовское открытие, при всей своей эмпиричности, привносит, однако, существенный вклад, настолько поразительный, что, в ослеплении, его существования не замечают.

Психоанализу свойственно предполагать, что дискурс субъекта следует обычно – это мысль Фрейда – путем ошибки, непризнавания, даже запирательства (которое вовсе не является

ложью, но расположено между ошибкой и ложью). Пока все это истины, не выходящие за пределы простого здравого смысла. Но – вот уже новое – в ходе анализа в дискурсе, разворачивающемся в регистре ошибки, случается нечто, посредством чего врывается истина, и никакого противоречия тут нет.

Должны ли аналитики подталкивать пациентов на путь абсолютного знания, заниматься их просвещением во всех областях – не только в психологии, чтобы открыть им абсурдность, внутри которой они обычно живут, но также и в системе наук? Конечно, нет – мы занимаемся этим здесь потому, что являемся аналитиками, но если бы всем этим приходилось заниматься и с больными!

Мы не готовим их и к встрече с реальным, ибо принимаем их в четырех стенах. Не наше дело вести их за руку по жизни, то есть по следствиям их глупостей. В жизни истина догоняет ошибку задним числом. В анализе же истина возникает посредством того, что является наиболее явным представителем обознания – ляпсуса, т. е. действия, неуместно названного *несостоявшимся*.

Наши несостоявшиеся действия – это действия как раз удачные, а заминка в нашей речи – это не что иное, как признание. И то и другое выдает находящуюся позади них истину. Внутри так называемых свободных ассоциаций, образов сновидений, симптомов проявляется речь, несущая истину. Если открытие Фрейда имеет смысл, то он состоит в следующем – в обознании истина хватает ошибку за шиворот.

Перечитайте начало главы о деятельности сновидения – *сновидение*, говорит Фрейд, это фраза, *это ребус*. Пятьдесят страниц *"Толкования сновидений"* привели бы нас к данному уравнению, даже если бы оно не было Фрейдом четко сформулировано.

Столь же хорошо это выявляет и восхитительное открытие сгущения. Вы ошибаетесь, если думаете, что сгущение означает простое попарное соответствие символа чему-то еще. Напротив, в любом сновидении совокупность мыслей сновидения, то есть совокупность означаемых вещей, смыслов сновидения, как бы образует сеть и оказывается представленными не рядом попарных соответствий, а их запутанной сетью. Чтобы продемон-

стрировать вам это, мне достаточно взять один из снов Фрейда и нарисовать на доске рисунок. Почитайте "*Traumdeutung*", и вы убедитесь, что именно так это Фрейд и понимает – совокупность смыслов представлена совокупностью того, что является означающими. Каждый означающий элемент сновидения, каждый образ отсылает нас к целому ряду означиваемых вещей, и обратно, каждая означиваемая вещь представлена многими означающими.

Таким образом, фрейдовское открытие позволяет нам расслышать в дискурсе субъекта ту речь, которая проявляется сквозь субъекта, вопреки ему.

Такую речь субъект ведет не только при помощи слов, она проявляется множеством других способов. Даже посредством собственного тела субъект произносит речь, которая, как таковая, имеет отношение к истине. Причем сам он вовсе не воспринимает ее как речь, как нечто значимое. Ведь говорит он всегда больше того, что хотел сказать, всегда больше, чем ему известно.

Основное возражение Августина против включения области истины в область знаков состоит в том, что зачастую люди говорят вещи, заходящие гораздо дальше того, что они думают, и способны порой исповедать истину, с которой сами же не согласны. Эпикуреец, считающий, что душа смертна, приводит аргументы своих противников, чтобы их опровергнуть. Но те, у кого открыты глаза, видят, что именно там истинная речь, и признают бессмертие души.

Посредством чего-то, в чем мы распознали структуру и функцию речи, субъект выговаривает смысл, более близкий истине, чем все то, что он выражает своим ошибочным дискурсом. Если психоаналитический опыт структурируется не так, то он не имеет ровно никакого смысла.

Речь, которую произносит субъект, выходит, без его ведома, за пределы его как субъекта дискурса – но, конечно, оставаясь в пределах его границ как субъекта речи. Если вы оставите эту точку зрения, тут же возникнет возражение, и я удивляюсь, что его не так уж часто формулируют: "*Почему дискурс, который вы обнаруживаете позади дискурса обознания, не подпадает под то же возражение, что и первый? Если это так же дискурс, как и другой, почему и он не подвержен ошибке?*"

Всякая концепция юнговского толка, всякая концепция, делающая из бессознательного, под именем архетипа, реальное место другого дискурса, действительно категорически под такое возражение подпадает. Архетипы, субстанциальные символы, постоянно пребывающие в подоснове человеческой души, – что в них более истинного, чем в находящемся, якобы, на поверхности? Неужто то, что находится в подвале, более истинно чем то, что на чердаке?

Что имел в виду Фрейд, заявив, что бессознательное не знает ни противоречий, ни времени? Имел ли он в виду, что бессознательное является подлинно немыслимой реальностью? Конечно, нет, поскольку немыслимой реальности не существует.

Реальность определяется противоречием. Реальность – это то, благодаря чему вы, мадемуазель, не можете быть на том же месте, где нахожусь я. Не понятно, почему бессознательное ускользало бы от такого рода противоречия. Когда Фрейд говорит о приостановке действия принципа противоречия в бессознательном, он имеет в виду, что подлинная речь, которую мы, как предполагается, обнаруживаем (не путем наблюдения, но путем интерпретации) в симптоме, сновидении, ляпсусе, в *Witz*, подчиняется другим законам, нежели дискурс, пребывающий в ошибке до тех пор, пока ему не встретится противоречие. У подлинной речи иные методы, иные средства, нежели у обычного дискурса.

Вот что предстоит нам исследовать со всей строгостью, если мы хотим хоть сколько-нибудь продвинуться вперед в осмыслении нашей деятельности. Хотя, безусловно, ничто нас к тому не вынуждает. Я заявляю даже, что бóльшая часть человеческих существ вообще не считает необходимым осмысливать, как и не исполняет удовлетворительным образом то, что ей должно делать. Я сказал бы даже больше – можно далеко продвинуться в своем дискурсе, и даже диалектике, и обойтись при этом без всякого размышления. Однако всякий прогресс в символическом мире, способный конституировать открытие, подразумевает, по крайней мере, на короткое мгновенье, усилие мысли. А анализ является не чем иным, как рядом особых для каждого пациента открытий. Поэтому вероятно, что деятельность аналитика требует, чтобы он отдавал себе отчет в значении своих

действий и оставлял себе, хотя бы от случая к случаю, время подумать.

Итак, перед нами встает вопрос, какова структура речи, которая находится по ту сторону дискурса?

Новшество Фрейда, по сравнению с Августином, – это открытие, на феноменальном уровне, тех субъективных моментов пережитого, где на поверхность выступает речь, превосходящая субъекта дискурса. Это новшество поражает нас своей ясностью, и даже не верится, что его могли так долго не замечать. Без сомненья, нужно было, чтобы большинство людей увязло на протяжении определенного времени в дискурсе, претерпевшем нарушения и отклонения, в определенном смысле негуманном и отчуждающем, чтобы проявления подобной речи сопровождались такой остротой, силой и неотложностью.

Не будем забывать, что открылась она у страдающей части человеческих существ и именно в форме психологии недуга, психопатологии было сделано фрейдовское открытие.

3

Все эти замечания я оставляю на ваше рассмотрение, и хочу теперь сделать упор на следующее – только в диалектическом движении речи по ту сторону дискурса приобретают свой смысл и упорядочиваются те термины, которые мы обычно используем, не слишком над ними задумываясь, словно речь в них идет о чем-то данном.

Verdichtung, по всей видимости, оказывается не чем иным, как многозначностью смыслов в языке, их перекрыванием, наложением, благодаря чему мир вещей не покрывается миром символов, а связан с ним следующим образом – каждому символу соответствует множество вещей, а каждой вещи – множество символов.

Verneinung – это то, что показывает негативную сторону невозможности наложения, ведь нужно, чтобы объекты входили в отверстия, а поскольку отверстия им не соответствуют, то страдают от этого объекты.

Третий регистр, регистр *Verdrängung*, также соотносим с регистром дискурса. Ведь понаблюдайте хорошенько: каждый раз, как имеет место вытеснение (возьмите, я настаиваю на этом,

какой угодно, конкретный случай и вы убедитесь), вытеснение как таковое (поскольку вытеснение не является повторением или запирательством), всякий раз дискурс будет прерываться. Пациент скажет нам, что у него вылетело слово из головы.

"Слово вылетело у меня из головы" – где в литературе появляется подобный оборот? Впервые он был произнесен Сент-Амандом – это даже не было написано, но просто сказано однажды на улице, и стало затем частью новшеств, введенных в язык прециозной литературой. Сомэз отмечает его в своем "*Словаре прециозной литературы*" среди множества других форм, вошедших теперь в наш обиход, но в свое время искусственно созданных в будуарах манерным обществом, целиком посвятившим себя совершенствованию языка. Как видите, существует связь между Картой Страны Нежности и психоаналитической психологией. *"Слово вылетело у меня из гловы"*, – так в XVI веке ни за чтобы не выразились.

Вы знаете знаменитый пример слова, забытого Фрейдом – собственное имя автора фресок в Орвието, Синьорелли. Почему это слово вылетело у него из головы? – Да потому, что предшествовавшая беседа не была доведена до своего завершения, а завершением ее было *Herr*, абсолютный господин, смерть. И кроме того, должно быть, существуют внутренние границы того, что может быть сказано: как выражается частенько цитируемый Фрейдом Мефистофель – "Бог не может научить людей всему, что знает Бог". Это и есть вытеснение.

Каждый раз, как учитель останавливается на пути своего учения по причинам, заложенным в природе его слушателя, уже наличествует вытеснение. Что касается меня, то когда я, пытаясь привести ваши идеи в порядок, говорю образно, я тоже создаю вытеснение, но оно несколько меньше, чем то, что происходит обычно и носит характер запирательства.

Возьмите первый сон, приводимый Фрейдом в главе о сгущении, сон о монографии по ботанике, резюмированный им самим в главе об элементах и источниках сновидения. Это чудесная демонстрация всего, что я вам рассказываю. Безусловно, когда речь идет о его собственных снах, Фрейд не сообщает нам сути дела, но нам нисколько не трудно ее разгадать.

Итак, днем Фрейд видел монографию о цикломенах, любимых цветах его жены. Как вы понимаете, когда он говорит, что большинство мужей – и он сам – дарят цветы своим женам гораздо реже, чем следовало бы это делать, он прекрасно знает, что это означает. Фрейд упоминает о своей беседе с окулистом Кенигштейном, оперировавшим его отца, которому была сделана анестезия кокаином. Вы знаете знаменитую историю с кокаином – Фрейд никогда не простил своей жене то, что она попросила его срочно к ней приехать, и если бы не это, как он говорил, он продолжил бы свое исследование и стал знаменитым человеком. В ассоциациях к сновидению появляется также больная, которая носит "красивое имя Флора", и кроме того, г-н Гертнер – *Gärtner* по-немецки "садовник" – как бы случайно, со своей молодой женой, которую Фрейд находит "*bluming*", цветущей.

Что ж, то, что осталось в тени, отражает всю суть ситуации. Фрейд, не решившись порвать с женой, скрывает тот факт, что он не так часто приносит ей цветы, как скрывает и свои притязания, и горечь, связанную с ожиданием назначения его экстраординарным профессором. В упомянутых им диалогах с коллегами подспудно представлена та борьба, которую он вел за свое признание, и это лишний раз подчеркивается тем фактом, что в сновидении г-н Гертнер прерывает его. Ровно так же понятно, почему именно два данных остатка дневной жизни, беседа с окулистом и вид монографии, дают пищу этому сновидению. Они являются – скажем так – фонематическими точками пережитого, послужившими опорой выраженной в сновидении речи.

Вы хотите, чтобы я ее сформулировал? Говоря без обиняков, это – "Я уже не люблю свою жену". Или еще, что он упоминает в связи с его фантазиями и вкусом к роскоши – "Я не признан обществом и стеснен в своих амбициях".

Мне вспоминается один наш коллега, сказавший на конференции, посвященной Фрейду, – "Это был человек без амбиций и потребностей". Это вопиющая ложь, достаточно прочитать о жизни Фрейда и знать резкость его ответов тем идеалистам, что приходили к нему с открытым сердцем и спрашивали о его собственных интересах в жизни. Пятнадцати лет после смерти Фрейда оказалось для некоторых достаточно, чтобы впасть в

агиографию. К счастью, в его работах осталось кое-что, способное дать представление о его личности.

Вернемся к этому знаменитому сну. Если существует сновидение, то имело место и вытеснение – разве не так? Что же здесь вытеснено? Не дал ли я вам понять самим текстом Фрейда, что в течение этого дня произошло зависание определенного желания, а некоторая речь не была сказана, не могла быть сказана – речь, шедшая к сути признания, сути бытия?

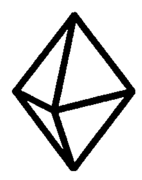
Сегодня я остановлюсь на этом вопросе – может ли при современном состоянии отношений между человеческими существами речь, изреченная вне аналитической ситуации, быть полной речью? Законом беседы является прерывание. Обычный дискурс всегда наталкивается на непризнание, которое и является пружиной *Verneinung*.

Если вы прочитаете "*Traumdeutung*", руководствуясь тем, что я вам преподаю, вы убедитесь, насколько проясняются при этом понятия, в том числе и зачастую неоднозначный смысл, придаваемый Фрейдом слову "желание".

Фрейд соглашается (и это, похоже, удивительный пример запирательства), что следует допустить существование двух типов сновидений: сновидения желания и сновидения-наказания. Однако если понять, что имеется в виду, можно заметить, что проявляющееся в сновидении вытесненное желание отождествляется с тем регистром, в который я пытаюсь вас ввести – бытием, ожидающим возможности раскрыть себя.

Такая перспектива придает термину "желания" у Фрейда всю полноту значения. Она сообщает области сновидения единообразие и позволяет понять такие парадоксальные сны, как, например, сложное сновидение много испытавшего в молодые годы поэта, где он раз за разом видит себя портным-подмастерьем. Такое сновидение представляет собой не столько наказание, сколько раскрытие бытия. Оно отмечает преодоление идентификации бытия, переход бытия к новому этапу, к новому символическому воплощению себя самого. Откуда и вытекает значимость всего, что относится к порядку достижения, соискания, экзамена, признания правоспособности – это не ценность испытания, теста, а ценность инвеституры.

На всякий случай, я нарисовал на доске этот маленький алмаз – двугранный угол в шесть граней.



Сделаем его грани совершенно одинаковыми, одни сверху, другие снизу от некоторой плоскости. Это не правильный многогранник, хотя все грани его равны.

Предположим, что серединная плоскость, та, в которой расположен треугольник разделяющий такую пирамиду надвое, представляет собой поверхность реального, простейшего реального. Ничто из того, что там находится, не может через нее переступить, все места заняты. Но на другом уровне все меняется. Ведь слова, символы, вводят брешь, дыру, благодаря которой становятся возможными всякого рода переходы. Вещи становятся взаимозаменямы.

Такую дыру в реальном, в зависимости от способа ее рассмотрения, называют "бытием" или "ничто". Такое бытие и такое ничто связаны по сути своей с феноменом речи. Именно к измерению бытия относится трехчастность символического, воображаемого и реального – элементарных категорий, без которых мы не можем в нашем опыте разобраться.

Не случайно, конечно, что таких категорий три. Тут должен действовать минимальный закон, который геометрия в данном случае лишь воплощает, а именно, если вы отделите в плоскости реального какую-нибудь створку, попадающую в третье измерение, вы так или иначе не сможете построить геометрическую фигуру, не задействовав, как минимум, две другие створки.

Данная схема воплощает собой следующее – только в измерение бытия, а не в измерение реального, могут быть вписаны три основные страсти: на стыке символического и воображаемого – излом, ребро, если хотите, называемое любовью; на стыке воображаемого и реального – ненависть; на стыке реального и символического – неведение.

Мы знаем, что измерение переноса имплицитно существует с самого начала, еще до начала анализа, до того как внебрачная

связь анализа приведет его в действие. И две эти возможности – *любви* и *ненависти* – не обходятся без третьей, которой обычно пренебрегают и среди первичных составляющих переноса не называют – *неведение* в качестве страсти. А ведь человек, пришедший на анализ, занимает тем самым позицию неведающего. Невозможно войти в анализ без этой ориентации – о ней никогда не говорят и не думают, хотя она является основополагающей.

По мере продвижения речи сооружается верхняя пирамида, она соответствует разработке *Verdrängung, Verdichtung* и *Verneinung*. И происходит реализация бытия.

В начале анализа, как и в начале всякой диалектики, такое бытие, существуя имплицитно, виртуально, остается не реализованным. Для простого человека, никогда не вступавшего ни в какую диалектику и простосердечно считающего, что он находится в реальном, бытие не присутствует. Речь, заключенная в дискурсе, открывается благодаря закону свободной ассоциации, который, приостанавливая действие закона противоречия, ставит дискурс под сомнение, в скобки. Это открытие речи как раз и является реализацией бытия.

Анализ – это не восстановление нарциссического образа, к которому его зачастую сводят. Если бы анализ был лишь исследованием мелких особенностей поведения, более или менее хорошо понятых, более или менее хитроумно спроецированных благодаря сотрудничеству двух Я; если бы мы лишь выслеживали появления не известно какой неизреченной реальности, – то в чем бы заключалась ее, этой реальности, привилегия? В моей схеме точка О уходит на задний план и по мере того, как ее речь ее символизирует, реализуется в своем бытии.

Сегодня мы на этом остановимся.

Я настоятельно прошу тех, кого сказанное мной заинтересовало, тех, кто работал, задать мне в следующий раз вопросы – не слишком длинные, поскольку в нашем распоряжении остался лишь один семинар, – и на основе ваших вопросов я постараюсь составить некоторое заключение нашей работе, если только можно здесь говорить о каком-то заключении. Это послужит нам узелком на память, чтобы начать на следующий год новую главу.

Я все более склоняюсь к мысли, что в следующем году мне придется разделить семинар на две части: я хочу, с одной стороны, объяснить вам случай президента Шребера и символический мир в психозе, а с другой стороны, показать вам, опираясь на "*Das Ich und das Es*", что *ego, super-ego* и *Es* не являются новыми именами старых психологических сущностей. Я также надеюсь доказать вам, что именно в диалектических ходах, обозначенных нами в этом году, структурализм, введенный Фрейдом, приобретает свой истинный смысл.

30 июня 1954 года.

XXII

ПОНЯТИЕ АНАЛИЗА

Интеллектуальное и аффективное.
Любовь и ненависть в воображаемом и символическом.
Ignorantia docta.
Инвеститура символического.
Дискурс как труд.
Больной неврозом навязчивости и его господин.

Лакан: – У кого есть вопросы?

Г-жа Обри: *– Я поняла, что на стыке воображаемого и реального мы обнаружим ненависть, при условии что будем понимать стык как разрыв. Несколько меньше понятно мне то, что на стыке символического и воображаемого находится любовь.*

Лакан: – Ваш вопрос восхитителен. Он, быть может, позволит мне придать нашей последней в этом году встрече атмосферу непринужденности, гораздо более приятную мне, нежели атмосфера наставничества.

1

Леклер, у вас, конечно, тоже есть что спросить. В прошлый раз, после семинара вы сказали мне нечто, весьма напоминающее вопрос: Хотелось бы, все же, чтобы вы поговорили о переносе.

Какие они, все же, настойчивые – я только об этом и говорю, а им все мало. Есть глубокие причины тому, что вы так никогда и не будете полностью удовлетворены освещением этой темы. Тем не менее, сегодня мы еще раз постараемся ей заняться.

Пожелай я представить три времени структурирования речи в изыскании истины в виде одной из аллегорических картин, процветавших в романтическую эпоху, как например, "*Добродетель, преследующая преступление, с помощью угрызений совес-*

ти", я сказал бы – "*Ошибка; ускользающая в обман и настигаемая обозначением*". Я надеюсь, вы видите, что перенос изображен здесь таким, каким я попытался вам его представить в моменты зависания, без которых не обходится речевое признание.

Д-р Леклер: – *Да.*

Лакан: – Так что же, собственно говоря, вам неясно? Быть может, связь того, что я вам рассказываю, с обычной концепцией переноса?

Д-р Леклер: – *Если просмотреть то, что написано о переносе, создается впечатление, что феномен переноса попадает в категорию проявлений аффективного порядка, волнения, в отличие от других проявлений интеллектуального порядка, как, например, действия, направленные на понимание. И поэтому всегда чувствуешь неловкость, когда пытаешься представить в обычных и общеизвестных терминах предлагаемую вами перспективу переноса. В определениях переноса всегда говорится, что речь идет о волнении, о чувстве, об аффективном феномене, что прямо противопоставлено всему, что в анализе может быть названо интеллектуальным.*

Лакан: – Да... Видите ли, есть два способа применения учебной дисциплины. Одно дело, что вы слышите, и другое – то, что вы с этим делаете. Эти две плоскости не перекрывают друг друга, но некоторое число вторичных признаков может послужить для них точками соприкосновения. Именно в таком ракурсе мне видится то, что в дидактическом действии может быть плодотворным. Речь идет не столько о передаче некоторых понятий, сколько об их объяснении; при этом возможность их исполнения и ответственность за него я перелагаю на ваши плечи. Но еще важнее указать на те понятия, которыми не следует пользоваться вообще.

Если в преподаваемом мной материале есть нечто такого порядка, так это вот что: я прошу каждого из вас напрочь отказаться в ваших поисках истины – хотя бы на время, пока мы не убедились в целесообразности такого отказа – от использования противопоставлений аффективного интеллектуальному.

Тот факт, что такое использование приводит к ряду тупиков, достаточно очевиден, чтобы избежать на некоторое время искушения этому указанию следовать. Подобное противопостав-

ление противоречит аналитическому опыту и содержит массу неясностей в плане его понимания.

Вы просите меня обрисовать в общих чертах преподаваемый мной материал, а также те возражения, которые мы можем на своем пути встретить. Мое обучение касается смысла и функции речевого действия той стихии, в которой протекает интерпретация. Именно оно является опосредующим звеном, основанием интерсубъективного отношения, и изменяет задним числом обоих субъектов. Именно речь, в буквальном смысле, созидает то, что утверждает субъектов в измерении бытия, которое я пытался для вас очертить.

Речь здесь вовсе не идет об интеллектуальном измерении. Место интеллектуального мы можем распознать лишь на уровне феноменов эго, в воображаемом псевдо-нейтрализованном проецировании эго – *"псевдо"* в смысле лжи – известном психоанализу как феномен защиты и сопротивления.

Если вы будете следовать за мной, мы можем продвинуться в нашем исследовании очень далеко. Вопрос не в том, как далеко мы можем зайти, а в том, найдутся ли последователи. Это и есть элемент, позволяющий нам распознать то, что можно назвать реальностью.

Движение человечества сквозь столетия, на протяжении его истории, ошибочно считать круговым. Это прогресс символического порядка. Возьмем, к примеру, историю такой науки, как математика. Веками оставались неразрешимыми вопросы, ясные сегодня десятилетнему ребенку. И ведь могучие умы исступленно бились над ними. Более десятка веков оставалось неразрешимым уравнение второй степени. Греки смогли найти его решение, потому что они могли опереться на обнаруженные ими закономерности в вопросах максимума и минимума. Прогресс математической науки – это не прогресс мыслительной способности человеческого существа. Решающим моментом становится тут миг, когда кому-то приходит в голову изобрести такой знак, как "√" или как "∫". Это и есть математика.

Наше положение куда сложнее. Ведь мы имеем дело с крайне многозначным символом. Однако лишь сформулировав символы нашего действия адекватно, можем мы сделать шаг вперед. Такой шаг вперед, как и любой другой шаг вперед, оказывает

свое влияние и задним числом. Поэтому я сказал бы, что по мере того, как вы за мной следуете, мы проделываем своего рода психоаналитическую работу. Каждый наш шаг вперед в психоанализе является в то же время возвращением к его изначальному устремлению.

Итак, о чем же идет речь? О более верном понимании феномена переноса.

Д-р Леклер: – *Я вовсе не закончил свою мысль. Если я задал такой вопрос, то потому, что он всегда оставался у нас несколько позади. Вполне очевидно, что в образованной нами группе термины "аффективного" и "интелеллектуального" не в ходу.*

Лакан: – Это интересно, что они уже не в ходу. Что же с ними могло случиться?

Д-р Леклер: – *После римского конгресса они лишились твердой почвы под собой, как бы повисли в воздухе.*

Лакан: – Мне кажется, я воспользовался ими в моем нашумевшем римском докладе лишь однажды – чтобы исключить из нашего употребления термин "интеллектуализированный".

Д-р Леклер: – *Именно, это-то и шокировало всех: и это отсутствие и прямые нападки на термин "аффективное".*

Лакан: – Я думаю, этот термин нужно полностью исключить из наших работ.

Д-р Леклер: – *Задавая вам такой вопрос, я хотел ликвидировать эту недосказанность. Говоря в прошлый раз о переносе, вы упомянули три основополагающие страсти, и среди них незнание. Вот к чему я хотел прийти.*

2

В прошлый раз я хотел в качестве третьего измерения ввести в символическое отношение пространство или, скорее, объем человеческих связей. Совершенно умышленно я впервые заговорил о гранях страстей лишь в прошлый раз. Как замечательно подчеркнула своим вопросом г-жа Обри, это точки стыков, точки разрыва, водораздел между различными областями, где простираются межчеловеческие отношения, реальное, символическое, воображаемое.

Любовь отличается от желания, рассматриваемого как предельное отношение, устанавливающееся у всякого организма к объекту, его удовлетворяющему. Ведь целью любви является не удовлетворение, а бытие. Поэтому о любви можно говорить лишь там, где уже существует символическое отношение как таковое.

Теперь нужно научиться отличать любовь как воображаемую страсть от активного дара, конституируемого ею в плоскости символического. Любовь, любовь того, кто желает быть любимым, является по сути попыткой захватить другого в ловушку себя самого, в себе самом как объекте. Если вы помните, то в первый раз, когда я довольно подробно говорил о нарциссической любви, я лишь продолжал диалектику перверсии.

Желание быть любимым – это желание захватить, заманить любящий объект, закабалить его в абсолютной особенности себя самого как объекта. Хорошо известно, что тот, кто стремится быть любимым, не слишком бывает доволен, когда его любят за его достоинства. Его требование быть любимым простирается вплоть до полного низведения субъекта в нечто частное, особенное, со всем тем, что может в нем оказаться самого туманного и немыслимого. Ведь хотят быть любимым за все – не только за свое собственное Я, как говорит Декарт, но и за цвет своих волос, за свои причуды, за свои слабости, за все.

И наоборот, хотя, пожалуй, именно по этой причине, любить значит любить существо, помимо всего того, чем оно является в его видимом существовании. Активный дар любви имеет целью другого не в его особенности, а в его бытии.

О. Маннони: – *Это слова Паскаля, а не Декарта.*

Лакан: – У Декарта есть отрывок о постепенном очищении Я от всех особенных качеств. Но ваше замечание справедливо, так как именно Паскаль пытается вывести нас по ту сторону тварного.

О. Маннони: – *Он говорит это прямо.*

Лакан: – Да, но у него это жест отказа.

Любовь, уже не как страсть, но как активный дар, всегда нацелена по ту сторону воображаемого пленения, на бытие любимого субъекта, его своеобразие. И поэтому она может принять многое из его слабостей и странностей, может даже допустить

его ошибки, но есть и предел этому, точка, определяемая лишь бытием – когда любимое существо заходит в предательстве самого себя слишком далеко и упорствует в самообмане, любовь отступает.

Эту феноменологию, намечаемую опытом, я не собираюсь здесь развивать. Скажу лишь, что в качестве одной из трех разделительных линий, предполагаемых символической реализацией субъекта в речи, любовь направлена на бытие другого. Без речи, поскольку она утверждает бытие, может быть только *Verliebtheit*, воображаемое завораживание, но не любовь. Человек может испытать влюбленность, но не совершит активного дара любви.

То же самое и с ненавистью. О воображаемом измерении ненависти мы говорим в силу того, что разрушение другого является одним из полюсов самой структуры интерсубъективного отношения. Именно в этом, как я замечал вам, Гегель видит тупик в сосуществовании двух сознаний, откуда он и выводит свой миф борьбы из-за чистого престижа. Уже здесь воображаемое измерение определяется рамками символического отношения, и поэтому ненависть не может быть удовлетворена исчезновением соперника. Если любовь стремится к развитию бытия другого, то ненависть хочет обратного, его падения, утраты им ориентиров, извращения, исступления, полного отрицания, ниспровержения. В этом смысле ненависть, как и любовь, является безграничным поприщем.

Возможно, вам это понять несколько сложнее, потому что, из-за причин, не столь отрадных, как вы могли бы подумать, в наши дни чувство ненависти нам знакомо меньше, чем в те времена, когда человек был более открыт своей судьбе.

Конечно, не так давно мы имели случай наблюдать вполне достойные его проявления. И все же, в наши дни людям не приходится усваивать переживание ненависти слишком жгучей. Почему же? Потому что мы и так с избытком представляем собой цивилизацию ненависти. Разве дорога к разрушению плохо у нас проторена? В нашем обыденном дискурсе встречается немало предлогов, скрывающих под своей личиной ненависть, и для нее находятся чрезвычайно удобные рационализации. Быть может, именно эта повсеместная флоккуляция ненависти и насыщает в нас призыв к разрушению бытия. Как если бы объек-

тивация человеческого бытия в нашей цивилизации в точности соответствовала тому, что в структуре эго является полюсом ненависти.

О. Маннони: – *Западный морализм.*

Лакан: – Совершенно верно. Ненависть находит здесь пищу в объектах повседневности. Только не следует думать, будто она отсутствует во время войн: для привилегированных субъектов она бывает там полностью реализована.

Вы должны понять, что говоря о любви и ненависти, я обозначаю пути реализации бытия, не саму реализацию, но лишь ее пути.

Но если субъект пускается в изыскание истины как таковое, то делает он это именно потому, что находится в измерении неведения – независимо от того, известно это ему или нет. Вот один из элементов того, что аналитики называют "*readiness to the transference*", готовностью к переносу. Пациент готов к переносу уже благодаря тому факту, что он занимает в речи позицию признания и поиска своей истины – поиска, в котором он идет до конца, того конца, что находится у аналитика. При этом неведение аналитика тоже достойно внимания.

Аналитик не должен игнорировать то, что я назвал бы способностью достижения бытия другого из измерения неведения, поскольку аналитику приходится отвечать тому, кто всем своим дискурсом вопрошает его в этом измерении. Аналитик должен вести субъекта не к некоторому *Wissen*, знанию, но к пути достижения такого знания. Он должен вовлечь его в диалектическую операцию, но не говорить ему, что он обманывается, поскольку так или иначе пребывает в заблуждении, а показать ему, что он плохо говорит, то есть говорит не зная, как невежда, ибо именно пути его заблуждения имеют тут значение.

Психоанализ – это диалектика и то, что Монтень в восьмой главе своей третьей книги называет "искусством беседы". Сократовское искусство беседы в "*Меноне*" состоит в том, что раба учат придавать своей собственной речи ее истинный смысл. Подобное же искусство присуще и Гегелю. Другими словами, позиция аналитика должна быть позицией *ignorantia docta*, где *docta* означает, не научное, а формальное, и которое может стать для субъекта фактором его формирования.

Велико искушение, поскольку оно соответствует духу времени, времени ненависти, – преобразовать *ignorantia docta* в то, что я назвал, и не вчера, *ignorantia docens*. Если психоаналитик полагает, что знает нечто, в психологии например, он уже готовит свое поражение, по той простой причине, что в психологии никто ничего особенного не знает, разве лишь то, что сама психология есть не что иное, как искажения перспективы человеческого бытия.

Мне придется прибегнуть к банальным примерам, чтобы показать вам, что такое реализация бытия человека, потому что помимо вашей воли вы помещаете ее в ошибочную перспективу ложного знания.

И тем не менее вы должны заметить, что когда человек говорит, "я есть" или "я буду", а тем более "как только я стану" или "я хочу быть", всегда налицо какой-то скачок, зияние. Сказать применительно к реальности "я – психоаналитик", так же нелепо, как и сказать "я – царь". И первое, и второе суть утверждения совершенно приемлемые, но мерой способностей их обосновать нельзя. Символическое узаконивание, в результате которого один человек принимает на себя то, что передают ему другие, совершенно не связано с признанной привилегией обладания той или иной способностью.

Отказ быть царем имеет совершенно иную ценность, нежели согласие. Благодаря самому факту отказа, человек не является царем. Он просто мелкий буржуа – как например герцог Виндзорский. Если тот, кого готовы удостоить короны, говорит: "Я хочу жить с женщиной, которую я люблю", – он остается тем самым по эту сторону области бытия царем.

Но когда человек говорит – и говоря это, он и есть, благодаря определенной системе символических отношений то, что говорит – "я есть царь" – это не простое принятие на себя определенной функции. Это мгновенно меняет смысл всех его психологических квалификаций. Это придает его страстям, замыслам, а также и глупости совершенно иной смысл. Все его функции становятся, вследствие одного того факта, что он царь, царскими функциями. В регистре царствования его умственные способности становятся совершенно иными, а его бездарность приводит к поляризации, структурированию вокруг него целого

ряда судеб, обусловленных отныне тем, что царская власть будет приводиться в исполнение определенным способом, определенным лицом, которому эта власть была пожалована.

Такое встречается каждый день и вокруг нас – некоторый господин, весьма посредственный и плохо соответствующий своему невысокому месту, выдвигается на пост, облекающий его определенной властью, пусть в совершенно ограниченной области, и тут же полностью меняется. В повседневной жизни вы можете легко наблюдать, как порядок его достоинств и его слабостей преобразуется, так что их соотношение может оказаться обратным.

Именно это в скрытом, непризнанном виде присутствует и в наших экзаменах. Почему с тех пор, став такими маститыми психологами, мы не устранили различные носящие характер инициации пороговые испытания: на научную степень, занятие должности в учебных заведениях и т. п.? Если мы действительно все это обесценили, почему бы не свести выдвижение на должность к подведению итога проделанной работы, оценок, полученных за год, или же к ряду тестов и испытаний, которые измеряли бы способности учащихся? Зачем сохранять архаический характер экзаменов? У нас, подобно как у людей, натыкающихся на стену тюрьмы, ими же и выстроенную, вызывают возмущение элементы случайности и покровительства. Истина же в том, что конкурс, облекающий человека определенной квалификацией, которая является символической, не может иметь полностью рационализированную структуру и не может укладываться в регистр количественного сложения оценок.

Обычно, встречая подобные вещи, мы обнаруживаем всю свою догадливость и говорим себе: “Да, надо написать большую психоаналитическую статью, которая доказывала бы, что экзамен носит характер инициации”.

Такой характер очевиден. Замечательно, что он был замечен. Но жаль, что психоаналитик объясняет его всегда не слишком хорошо. Он совершает частное открытие, он объясняет его в терминах всемогущества мысли, мысли магической, тогда как основополагающим является здесь измерение символа.

3

Лакан: – У кого есть другие вопросы?

Д-р Бежарано: – *Меня интересует конкретный случай. Нельзя ли проследить участие различных регистров на примере случая Доры?*

Лакан: – Случай Доры как бы еще только предваряет все это, но я постараюсь все же пролить на него некоторый свет, дав заключительный ответ на вопрос о переносе в целом.

Первые открытия Фрейда опирают аналитический опыт на треножник сновидения, ляпсуса и остроумия. Четвертым элементом является симптом, который может служить не словом, *verbum*, поскольку состоит он не из фонем, а знаком, *signum*, на основе организма – если вспомнить сферы, различаемые Августином. Вот в каком опыте, с опозданием обосновывая его – Фрейд и сам говорит, что был напуган – он выделяет феномен переноса. Не будучи признанным, перенос действовал как препятствие лечению. После его признания он становится наилучшей опорой лечения.

Но еще до того, как существование переноса было Фрейдом замечено, он уже был им обозначен. Я ведь уже говорил вам, что в *"Traumdeutung"* есть определение *Übertragung*, связанное с двумя уровнями речи. За определенными частями дискурса, лишенными своего значения, скрывается другое, бессознательное значение. Фрейд показывает это применительно к сновидению, а я – во внезапных ляпсусах.

О ляпсусе, мы к сожалению, поговорили в этом году мало. Тогда как именно здесь находится основополагающее измерение, ибо здесь любой смысл предстает перед нами другой, лишенной всякого смысла стороной. Существует точка, где смысл выступает на поверхность и созидается. Но в той же самой точке человек может почувствовать, что смысл одновременно и упразднен и что именно упразднение служит его созиданию. Что такое остроумие, как не рассчитанное вторжение бессмыслицы в дискурс, якобы имеющий смысл.

О. Маннони: – *Это пупок речи.*

Лакан: – Совершенно верно. Пупок сновидения представлен крайне нечетко. И наоборот, пупок остроумия острый – *Witz*. А самую суть выражает в нем бессмыслица.

Итак, мы заметили, что перенос служит нам опорой.

Я указал вам три направления, в которых понимается перенос различными авторами. Такая чисто дидактическая тричастность должна позволить вам определить свое место в современных течениях психоанализа – но до идеала здесь далеко.

Некоторые понимают феномен переноса в связи с реальным, то есть в качестве феномена, имеющего место в настоящем. Такие исследователи полагают, будто, сказав, что всякий анализ должен касаться *hic et nunc* они стали первооткрывателями. Им кажется, что они совершили отважный шаг и подарили миру ослепительную истину. Эсриэль, ломясь в открытую дверь, пишет на эту тему умилительные вещи: перенос здесь, рядом, важно только знать, что это такое. Если мы будем рассматривать перенос в плоскости реального, вот что это даст – мы получим реальное, которое не реально, а иллюзорно. Реальное состоит в том, что пациент находится передо мной и рассказывает мне о своих распрях с бакалейщиком. Иллюзорное – в том, что злясь на бакалейщика, он бранит меня – это пример Эсриэля. Из чего он заключает, что нужно показать пациенту, что нет никакой причины бранить меня из-за его бакалейщика.

Итак, исходя из эмоций, из аффективного, из эмоционального отреагирования и других терминов, обозначающих определенные частичные феномены, действительно происходящие в ходе анализа, нельзя, тем не менее, не прийти, я подчеркиваю это, к чему-то по существу интеллектуальному. Строя свою деятельность на такой основе, мы придем, в конечном итоге, к практике, тождественной первым формам поучений, столь возмущающих нас в поведении Фрейда при его работе с первыми случаями. Нужно якобы научить пациента действовать в реальном, показать ему, что он отстает от жизни. Если это не воспитание и поучение, то что же это? Во всяком случае, это совершенно поверхностный способ подхода к явлению.

Существует другой подход к проблеме переноса: его можно рассматривать на уровне воображаемого, значение которого мы не преминули выделить. Относительно недавние исследования животной этологии позволяют дать этому регистру более ясное, чем у Фрейда, структурирование. Однако измерение это еще в тексте Фрейда было названо – *воображаемым*. Как мог бы

он без него обойтись? Вы видели в этом году в работе "*О нарциссизме*", что отношение живого существа к желаемому объекту связано с условиями *Gestalt*'а, которые и ориентируют функцию воображаемого.

Нельзя сказать, что аналитической теории незнакома функция воображаемого, однако использовать ее лишь для описания переноса, значит заткнуть себе уши, поскольку она присутствует повсюду, и особенно тогда, когда речь идет об идентификации. Важно только не апеллировать к ней по любому поводу.

Заметим в этой связи, что функция воображаемого задействована в поведении всякой животной пары.

Во всяком действии, связанном с моментом спаривания особей, захваченных циклом сексуального поведения, появляется измерение показа. В ходе брачной демонстрации каждая из особей оказывается захваченной дуальной ситуацией, где устанавливается, посредством выражения воображаемым отношением, идентификация – преходящая, конечно, поскольку она связана с циклом инстинктивного поведения.

Точно так же в ходе борьбы между самцами можно наблюдать, как субъекты вступают в воображаемое состязание. Соперники могут выяснять отношения на расстоянии, и тогда борьба превращается в танец. В определенный момент, как и при спаривании, совершается выбор ролей, признается главенство одного, без всякого я не скажу рукоприкладства, но без применения когтей, зубов и шипов. Один из партнеров занимает пассивную позицию и признает преимущество противника. Он избегает его, принимает одну из ролей, явным образом обусловленную другим, то есть тем, что демонстрирует другой в плане *Gestalt*'а. Соперники избегают реальной борьбы, которая привела бы к уничтожению одного из них, – и перемещают конфликт в плоскость воображаемого. В результате ориентации каждого на образ другого происходит регулирование, которое распределяет роли внутри общей ситуации и является диадическим.

У человека воображаемое ограничивается, специализируется и ориентируется зрительным образом, обуславливающим как тупики, так и функцию воображаемого отношения.

К образу собственного Я – а поскольку это образ, собственное Я является идеальным Я – все воображаемое отношение у

человека и сводится. Будучи произведен в момент, когда функции остаются еще незавершенными, этот образ имеет благотворное значение, довольно хорошо выражаемое ликующим принятием феномена зеркала. Тем не менее сохраняется его обусловленность преждевременным созреванием, а соответственно, и врожденной недостаточностью, зиянием, с которыми он остается по своей структуре связан.

Этот образ себя самого вновь и вновь будет служить субъекту в качестве обрамления его категорий, его восприятия мира – служить как объект, причем при посредничестве другого. Именно в другом он всегда будет находить свое идеальное Я, откуда разворачивается вся диалектика его отношений к другому.

Если другой насыщает, наполняет такой образ, он становится объектом нарциссического инвестирования – *Verliebtheit*. Помните, как Вертер встречает Шарлотту в тот момент, когда она держит на руках ребенка, – это в точности совпадает с нарциссическим *imago* юного героя романа. Если, напротив, в таком же аспекте другой являет собой фрустрацию субъекта его идеалом и его собственным образом, он порождает максимальное разрушительное напряжение. Воображаемое отношение к другому всегда разворачивается в одном или другом направлении, что дает ключ к пониманию поставленного Фрейдом вопроса о внезапном превращении *Verliebtheit* любви в ненависть.

Этот феномен воображаемого инвестирования играет в переносе центральную роль.

Перенос, если верно, что он устанавливается внутри и посредством измерения речи, приносит открытие такого воображаемого отношения лишь достигнув определенных ключевых точек речевой встречи с другим, т. е. здесь, с аналитиком. Дискурс, освобожденный от уз определенных условностей так называемым основным правилом анализа, начинает более или менее свободную игру в отношении обычного дискурса и ведет субъекта навстречу тому плодотворному обознанию, благодаря которому подлинная речь соединяется с дискурсом заблуждения. Но и тогда, когда речь избегает откровения, плодотворного обознания, и разворачивается в измерении обмана – существенном измерении, запрещающем нам исключать субъекта как такового из нашего опыта и сводить его к объектным терминам,

– обнаруживаются такие точки, которые в истории субъекта были не интегрированы, не усвоены, а вытеснены.

В аналитическом дискурсе субъект развивает то, что является его истиной, его интеграцией, его историей. Однако в этой истории есть дыры – в местах, где произошло то, что было *verworfen* или *verdankt*. *Verdankt* – это то, что, появившись однажды в речи, было отброшено. *Verworfen* – изначально отброшенное. Я не хочу сейчас углубляться в это различие.

Феномен переноса сталкивается с воображаемой кристаллизацией. Он вращается вокруг нее и должен с ней соединиться.

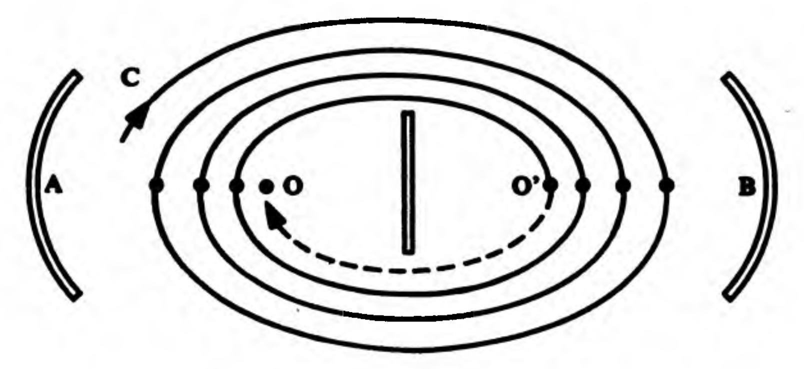


Схема анализа.

В точке О я помещаю бессознательное понятие о собственном Я субъекта. Это бессознательное складывается из того, что субъект в своем структурирующем образе, образе "собственного Я" принципиально не признает – скажем, пленения воображаемыми фиксациями, не способными войти в символическое развертывание его истории, т. е. того, что носило характер травмы.

О чем идет речь в анализе? О том, что субъект может собрать воедино различные травматические события, сохраненные его памятью в точке О, собрать в некоторой форме, доступ к которой для него закрыт. Такая форма открывается лишь при помощи вербализации, т. е. при посредничестве другого – аналитика. Лишь благодаря речевому усвоению своей истории вовлекается субъект на путь реализации своего усеченного воображаемого.

Такое восполнение воображаемого совершается в другом по мере того, как субъект усваивает себе это восполнение, давая другому его услышать.

То, что было на стороне О, переходит на сторону О'. Все, что произносится в А, со стороны субъекта, будет услышано в В, на стороне аналитика.

Аналитик слушит это, но, отраженным образом, слышит это и субъект тоже. Эхо его дискурса симметрично зеркальности образа. Эта представленная мной на схеме диалектическая спираль все ближе и ближе смыкается с О' и О. Прогресс субъекта в его бытии должен в конечном итоге привести его в точку О, пройдя ряд точек, размещенных между А и О.

На линии этой субъект, раз за разом трудолюбиво сообщая от первого лица свою историю, проходит последовательность основных символических отношений, где на каждом этапе должен найти время и разрешить задержки и торможения, конституирующие сверх-Я. Это требует времени.

Если отголоски дискурса приближаются к точке О' слишком быстро – если перенос слишком интенсивен – возникает критический феномен, напоминающий сопротивление, сопротивление в наиболее острой форме его проявления – молчание. И тогда вы понимаете правоту Фрейда, говорившего, что перенос становится препятствием, если он чрезмерен.

Нужно также сказать, что если такой момент случается своевременно, молчание приобретает всю свою ценность – оно не просто негативно, но соответствует тому, что лежит по ту сторону речи. Определенные моменты молчания в переносе служат выражением обостренного восприятия присутствия другого как такового.

И последнее замечание. Где следует разместить субъекта, поскольку он отличается от точки О? Он необходимым образом расположен где-то между А и О – гораздо ближе к О, чем любая другая точка – скажем, в С.

Когда мы прервемся на летний отдых, который я вам желаю приятно провести, я попросил бы вас перечитать в свете наших размышлений крайне важные для нас и небольшие по объему работы Фрейда по технике психоанализа. Перечитайте их, и вы увидите, сколь новым и более живым смыслом они для вас наполнятся. Вы заметите, что видимые противоречия относительно переноса, который предстает одновременно как сопротив-

ление и двигатель анализа, находят объяснение лишь в диалектике воображаемого и символического.

Аналитики, не лишенные определенных заслуг, высказывают мнение, что наиболее современная техника анализа, известная под именем анализа сопротивлений, состоит в изолировании в собственном Я пациента – *single-out*, как выразился Берглер, – некоторых *patterns*, предстающих в качестве механизмов защиты по отношению к аналитику. Перед нами полное извращение смысла того понятия защиты, которое ввел Фрейд в своих первых работах и к которому в "*Торможении, симптоме, страхе*", одной из наиболее сложных и превратно истолкованных работ, он вернулся вновь.

Теперь это всего-навсего интеллектуальная операция. Поскольку речь не идет больше об анализе символического характера защит, но об их устранении, поскольку они создают препятствие чему-то потустороннему, просто потустороннему – неважно, что мы туда поместим. Почитайте Фенихеля, и вы убедитесь, что все без исключения может быть рассмотрено в ракурсе защиты. Допустим, ваш пациент выражает тенденции, сексуальный или агрессивный характер которых хорошо им осознается. Что ж, благодаря единственно тому факту, что пациент о них говорит, можно попытаться найти по ту сторону их нечто гораздо более нейтральное. Если все, что предстает вначале, считать защитой, можно с полным основанием рассматривать все как маску, позади которой скрывается нечто другое. На таком последовательном оборачивании построена знаменитая шутка г-на Жана Кокто – если тому, кому снится зонтик, мы говорим, что причины его сновидения относятся к области сексуальности, почему бы тогда не сказать тому, кому снится орел, пытающийся напасть на него, что причина такого сновидения в том, что он забыл зонтик?

Ориентируя аналитическое вмешательство на устранение *patterns*, скрывающих такую потусторонность, аналитик может руководствоваться лишь своим собственным пониманием поведения пациента. Он пытается нормализовать такое поведение – согласно норме, которая сродни его собственному эго. Таким образом, мы получим моделирование одного эго посредством

другого эго, то есть эго превосходящего – всем известно, что эго аналитика это не пустое место.

Почитайте Нюнберга. Каков, на его взгляд, основной двигатель лечения? Добрая воля эго пациента, которая должна стать союзником аналитика. Что это значит? – Да то, что новое эго пациента – это эго аналитика. А г-н Гоффер добавляет, что нормальным завершением лечения является идентификация с эго аналитика.

Балинт дает нам поразительное описание такого завершения, которое есть не что иное, как речевое принятие собственного Я, реинтеграция, но не идеального Я, а Я-идеала. Пациент впадает в полуманиакальное состояние, своего рода возвышенное высвобождение нарциссического образа, пробивающегося сквозь мир – в котором пациента следует на некоторое время оставить, чтобы дать ему время вернуться с небес на землю и отыскать самому пути здравого смысла.

Не все в таком понимании ложно, поскольку в анализе много значит фактор времени. Пусть смутно, но это осознавалось всегда. Каждый аналитик может узнать это лишь на собственном опыте – существует некоторая отсрочка времени-чтобы-понять. Те, кто слышал мои лекции о "человеке с волками", найдут там кое-что по этому поводу. Но такое время-чтобы-понять вы обнаружите и в "*Работах по технике психоаналза*" Фрейда в связи с *Durchbarbeiten*.

Что это – нечто относящееся к порядку психологического износа? Или же справедливее отнести это к порядку дискурса, дискурса в качестве труда, о чем я уже говорил, когда писал о речи пустой и полной? Да, без всякого сомнения, именно так. Дискурс должен продолжаться достаточно долго, чтобы показалось, будто он целиком вовлечен в выстраивание эго. Вот тут-то он и может неожиданно разрешиться окончательно в том, для кого он, собственно, и создавался – в господине. В то же время собственная его ценность утрачивается и он проявляется теперь лишь в качестве труда.

Что же нам тогда остается, как не предположить вновь, что понятие является временем? В этом смысле можно сказать, что перенос – это само понятие анализа, поскольку он является временем анализа.

Так называемый анализ сопротивлений всегда слишком торопится раскрыть пациенту *patterns эго*, его защиты, заслоны, и поэтому, как показывает нам опыт и как с точностью замечает Фрейд в одном месте из "*Работ по технике психоанализа*", – пациента таким образом с места не сдвинешь. Фрейд в таких случаях советует подождать.

Нужно подождать. Нужно прождать время, необходимое пациенту для осознания измерения, о котором идет речь в плоскости символа, то есть для высвобождения из всего переживаемого в анализе, из привносимых анализом сопротивлений, суеты, погони и тесноты – время собственной длительности некоторых автоматизмов повторения, получающих таким образом некоторое символическое значение.

О. Маннони: – *Я думаю, это конкретная проблема. Например, есть такие больные неврозом навязчивости, жизнь которых проходит в ожидании. Из анализа они создают другое ожидание. И вот что я хочу понять – почему ожидание в анализе воспроизводит определенным образом ожидание в жизни и изменяет его?*

Лакан: – Замечательно, именно об этом меня спрашивали и в связи со случаем Доры. В прошлом году мы развивали диалектику *Человека с крысами* вокруг отношения господина и раба. Чего ждет больной неврозом навязчивости? Смерти господина. Чем служит для него такое ожидание? Оно становится между ним и смертью. Все начнется тогда, когда господин будет мертв. Такую структуру вы обнаружите во всех ее видах.

Впрочем, раб прав, он имеет полное право играть на таком ожидании. Если воспользоваться словами, приписываемыми Тристану Бернару, которые он будто бы сказал, когда его арестовали, чтобы заключить в лагерь Данцига: "До сих пор мы жили в страхе, теперь же мы будем жить надеждой".

Отношение господина к смерти, скажем прямо, гораздо резче. Господину в чистом виде надеяться не на что, поскольку ему нечего ожидать кроме своей смерти, ведь от смерти своего раба он может ожидать лишь неудобства. Напротив, рабу есть чего ожидать от смерти господина. По ту сторону смерти господина ему придется, как и всякому полностью реализовавшему себя

существу, столкнуться лицом к лицу со смертью и принять, в хайдеггеровском смысле, свое бытие-к-смерти. Собственно говоря, больной неврозом навязчивости не принимает своего бытия-к-смерти, он живет отсрочкой. Это-то и нужно ему показать. Вот какова функция образа господина как такового.

О. Маннони: – *...которым является аналитик.*

Лакан: – ...который в аналитике воплощен. Лишь после того, как больной неврозом навязчивости определенное количество раз обрисует себе воображаемый выход из тюрьмы господина, сделав это с определенной ритмичностью, с определенным *timing*'ом, – он сможет реализовать понятие о своих навязчивостях, то есть сможет понять, что они значат.

В каждом случае невроза навязчивости обязательно присутствует некоторое количество временных тактов и даже цифровых знаков. Этот вопрос я уже затрагивал в статье о "*Логическом времени*". Субъект, продумывая мысль другого, видит в другом образ и набросок своих собственных движений. И каждый раз, когда другой в точности субъекту соответствует, не остается иного господина, кроме абсолютного – смерти. Но чтобы увидеть это, рабу необходимо определенное время.

Ведь он, как и все, рад быть рабом.

7 июля 1954 года.

Жак Лакан раздает фигурки, изображающие слонов.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Предисловие к комментарию Жана Ипполита на статью Фрейда “*Verneinung*”

Занятие семинара, посвященного фрейдовской технике от 10 февраля 1954 года.[1]

Вы уже смогли оценить, сколь плодотворным оказался наш метод обращения к текстам Фрейда для критического изучения современного использования базовых концептов психоаналитической техники, особенно понятия сопротивления.

Искажение, которое это понятие успело на сегодняшний день претерпеть, получает особую серьезность ввиду предписания, освященного авторитетом самого Фрейда – уделять в технике преимущественное внимание анализу сопротивлений. Но даже если, давая это предписание, Фрейд действительно хотел указать на поворотный пункт аналитической практики, мы убеждены, что в манере, с которой, ссылаясь на порядок срочности, на нем пытаются обосновать технику, находящуюся в неведении относительно самого предмета, к которому она применяется, нельзя найти ничего, кроме путаницы и абсурда.

Проблема состоит в том, чтобы вернуть смысл тем предписаниям, которые, оказавшись сведенными к готовым формулам, утратили свою указующую силу. Сохранить эту силу невозможно без адекватного понимания истины того опыта, который они призваны направлять. Самого Фрейда, разумеется, равно как и

---

[1] Читателю представлена запись одного из занятий семинара, проходившего в клинике госпиталя св. Анны. В 1953-54 гг. семинар был посвящен техническим работам Фрейда и актуальным проблемам, в связи с которыми они представляют интерес. Текст занятия был лишь расширен за счет нескольких экскурсов к темам предшествовавших занятий, показавшихся нам полезными, хотя все трудности, неизбежно связанные с пониманием отдельно взятого отрывка учебного курса, снять тем самым, разумеется, не удалось. [Тексты печатаются по изданию: J. Lacan, Écrits. P.1966, pp. 369-399, 879-887]

продолжающих его дело, в этой утрате упрекнуть нельзя. Зато, как вы сами смогли почувствовать, здесь не без греха как раз те, кто в наши дни громче всех кричит в свою защиту о примате техники – пытаясь закамуфлировать очевидной общностью своих взглядов на примат техники как свидетельство прогресса в теории то скудоумие в использовании аналитических концепций, которые может послужить их технике единственным оправданием.

Попытавшийся поближе приглядеться к тому, что обычно подразумевают под анализом сопротивлений, будет жестоко разочарован. Ведь при чтении этих доктринеров сразу же бросается в глаза, что диалектическое обращение с какой бы то ни было идеей для них немыслимо. Даже когда сама практика, которой диалектика эта на самом деле внутренне присуща, вынуждает их к такому обращению, они отдают себе в этом отчет столь же мало, сколь месье Журден в том, что говорит прозой. В итоге они органически не способны даже подумать об этом, не прибегая в панике к объективациям самым примитивным и вызывающими к жизни самые что ни на есть грубейшие образы.

В результате они не столько мыслят сопротивление, сколько рисуют его в воображении – рисуют таким, каким оно представляется в обычном семантическом словоупотреблении[2], наделяющем его, как выясняется при ближайшем рассмотрении, неопределенной переходностью. Вследствие этого выражение "субъект сопротивляется" воспринимается как "субъект сопротивляется..." Сопротивляется чему? Ну, конечно же, тем тенденциям в поведении, которое он навязывает себе в качестве субъекта нев-

---

[2] Употребление это, впрочем, определенно допускает значительные колебания в отношении переходности, которая может усиливаться или ослабляться в зависимости от рода инаковости, о которой идет речь. Говорят, скажем: *to resist the evidence*, или *to resist the authority of the law*, но, с другой стороны: *nicht der Versuchung widerstehen.*

Отметим гамму нюансов, которым в многообразии немецкой семантемы распределиться гораздо легче: *Widerstreben – sich sträuben gegen – andauern – fortbestehen*, благодаря чему глагол *widerstehen* может непроизвольно оказаться наиболее адекватным для передачи того смысла, который мы собираемся выделить – собственно аналитического смысла слова "сопротивление".

ротического, а также признанию этих тенденций в тех оправданиях своего поведения, которые он предлагает аналитику. Но поскольку тенденции заявляют о себе вновь, а техника анализа уже пришла на помощь, сопротивление это подвергается вроде бы серьезному испытанию, и чтобы поддержать его, субъекту приходится привнести кое-что от себя, так что, и глазом моргнуть не успев, мы вновь оказываемся на проторенной дорожке дурацкой идеи, будто больной "защищается", в смысле именно "защищает себя". Бессмысленность ее окончательно закрепляется лишь другим языковым злоупотреблением – тем, которое позволяет понятию защиты воспользоваться бланком с подписью, выданным ему его употреблением в медицине, причем остается незамеченным (ведь плохой психоаналитик не обязательно хороший медик) как недоразумение, связанное с тем, что, неправильно понимая значение этого термина в физиопатологии, его пытаются перенести на анализ, так и измена (ведь невежда в медицине не обязательно смыслит в психоанализе) тому абсолютно осознанному применению, которое Фрейд дает этому слову в своих первых работах по патогенезу неврозов.

Однако, возразят нам, предпочитая рассматривать идею не слишком отчетливую на этапе ее наибольшего разложения, не впадаете ли вы в то, что по справедливости именуют преследованием за намерения? Дело в том, ответим мы, что тех, кто использует технику с подобным теоретическим аппаратом, удержать на этой наклонной плоскости ничто уже не в силах, ибо правила, которыми они маскируют изначально царящую в их голове путаницу, не способны оградить их от ее последствий. Они учат, скажем, будто для достижения чего бы то ни было, нужно стремиться усиливать это "я" (здесь на нас брошен многозначительный взгляд водворяющегося в своих правах здравого смысла), или, по крайней мере – поправляются они – его здоровую часть (выслушав эту ахинею, все одобрительно кивают); будто в использовании аналитического материала мы будем следовать плану (предполагается, что план этот, расписанный в деталях, лежит готовый у нас в кармане); будто мы будем продвигаться с поверхности в глубину (не гоже запрягать волов позади телеги); будто секрет мэтров, позволяющий добиться этого,

состоит в анализе агрессивности (не годится телеге давить волов). В итоге же перед нами предстанут динамика тревоги и арканы ее домостроительства – да не коснется рука человека (если он профан в гидравлике) тех скрытых сил, что эта возвышенная мана таит в себе! Скажем сразу, что все правила эти, равно как и их теоретические прикрасы, останутся за пределами нашего рассмотрения в силу их явно макаронического характера.

На самом деле о том, что сопротивление по сути своей собой представляет, нельзя судить правильно до тех пор, пока мы не попытаемся понять его, исходя из измерений того дискурса, где оно проявляется в процессе анализа. Мы уже встретили эти измерения в той метафоре, которой Фрейд проиллюстрировал его первое определение. Я имею в виду то определение, которое мы в свое время комментировали[3] и которое вызывает у нас представление о нотных линиях, "вдоль" которых (используя выражение Фрейда) субъект разворачивает цепочки своего дискурса в соответствии с партитурой, в которой "патогенное ядро" служит лейтмотивом. При чтении этой партитуры сопротивление проявляется в "радикальном" направлении (термин, противопоставленный предыдущему), возрастая пропорционально сближению линии, которая подвергается расшифровке, с линией, которая несет завершение центральной мелодии. Зависимость настолько строгая, что возрастание сопротивления, подчеркивает Фрейд, может служить мерой этой близости.

Именно в этой метафоре иные пытались усмотреть указание на механистическую тенденцию, которой мысль Фрейда якобы отмечена. Чтобы оценить степень заблуждения, о котором такое замечание свидетельствует, достаточно вспомнить, как мы шаг за шагом исследовали последовательные разъяснения Фрейда по поводу понятия сопротивления, в особенности те, что мы находим в работе, которую сейчас рассматриваем и где он предлагает самое ясное его определение.

---

[3] Ср. G.W. 1, S. 290-304, в главе "Zur Psychoterapie der Hysterie", принадлежащей Фрейду в работе "*Studien über Hysterie*", опубликованной в 1895 году и написанной совместно с Брейером. Существует английское издание этой работы, вышедшее под заглавием "*Studies on hysteria*".

Что же говорит нам в этой работе Фрейд? По сути дела, он указывает нам на феномен, определяющий структуру любого откровения истины в процессе диалога. Говоря то, что он хочет сказать, субъект сталкивается с некоей принципиальной трудностью. Наиболее распространена та, которая обнаружена Фрейдом в явлении вытеснения, – она состоит в несоответствии между означающим и означаемым, обусловленным любой цензурой социального происхождения. В этом случае истина все равно сообщается, но сообщается между строк. Другими словами, тот, кто хочет, чтобы истину услышали, всегда может прибегнуть к технике, которая намекает на идентичность истины и открывающих ее символов, то есть он может достичь своей цели, сознательно вводя в текст несообразности, криптографически соответствующие тем, что навязывает цензура.

Точно так же поступает и истинный субъект, то есть субъект бессознательного, в языке своих симптомов, который не столько расшифровывается аналитиком, сколько адресуется ему все более и более связно, к вящему обновлению и обогащению нашего опыта. Перед нами, собственно, то самое, что было обнаружено этим опытом в феномене переноса.

То, что говорящий субъект, сколь бы пустыми поначалу его слова ни были, высказывает, приобретает свой вес по мере того, как реализуется в них приближение к речи, в которую он сумел бы без остатка претворить ту истину, которая выражается его симптомами. Сразу уточним, что формула эта, как мы сегодня убедимся, имеет применение даже более широкое, нежели тот феномен переноса, с помощью которого мы только что ее вывели.

Как бы то ни было, но именно при достижении субъектом границы того, что в данный момент его дискурсу позволено воспроизвести в слове, и возникает то явление, в котором, как показывает Фрейд, сопротивление сочленяется с аналитической диалектикой. Ибо момент этот и эта граница приходят в равновесие одновременно с возникновением вне дискурса субъекта некоей черты, которая, в том, что он собирается сказать, может оказаться обращенной именно к вам. И совпадение это наделяется функцией речевой пунктуации. Чтобы эффект этот был по-

нятен, мы воспользовались образным выражением, сказав, что речь субъекта качнулась в направлении присутствия слушателя.[4]

Присутствие это, которое представляет собой наиболее чистый вид общения, в какое субъект способен вступить с другим существом, и переживается в этом качестве тем живее, чем менее существо это к нему подготовлено; присутствие это, показавшееся на мгновение из под края покрывала, укутывающего и скрадывающего его в повседневной речи, которая нарочито и строится как речь безличная, – это присутствие дает о себе знать в речи членящими ее недоговоренностями, которые зачастую, как на примере собственного опыта я уже показал вам, бывают отмечены моментом тревоги.

Отсюда и значимость указания, которое дал нам Фрейд на основании своего опыта: когда субъект неожиданно обрывает свою речь, можете быть уверены, что его занимает мысль, имеющая отношение к аналитику.

Чаще всего указанию этому нетрудно найти подтверждение, обратившись к субъекту с вопросом: "О чем, относящемся к тому, что вас здесь окружает, и особенно ко мне, вас выслушивающему, вы сейчас думаете?" Однако интимное удовлетворение, которое вы сможете извлечь из более или менее нелицеприятных замечаний по поводу вашего облика, настроения, вкуса в меблировке комнаты или вещей, на вас надетых, не послужит оправданием вашего начинания, если вы не будете знать, что с полученными ответами делать. Что же касается мысли, многими разделяемой, будто они дают выход агрессивности субъекта, то это просто глупость.

Сопротивление, говорил Фрейд еще до того, как разработал свою вторую топику, это, по сути дела, феномен собственного Я (moi). Попробуем понять, что это значит. Позднее это позволит нам понять и то, что ожидают от сопротивления, когда относят его к другим инстанциям субъекта.

---

[4] Это соответствует формуле, которой мы воспользовались для выражения той же мысли в начале нашей преподавательской деятельности. Субъект, говорили мы тогда, начинает анализ или говоря о себе, но не для вас, или говоря для вас, но не о себе. Когда он заговорит о себе с вами, считайте, что анализ закончен.

Феномен, о котором идет речь, демонстрирует одну из самых чистых форм, в которых собственное Я способно явить свою функцию в динамике анализа. И тем самым он наводит на мысль, что собственное Я в том виде, в котором оно выступает в психоаналитическом опыте, не имеет ничего общего с тем предполагаемым единством реальности субъекта, которое так называемая общая психология отвлеченно постулирует как заложенное в его "синтетических функциях".

Собственное Я, о котором мы говорили, абсолютно невозможно отличить от тех воображаемых присвоений, которые и формируют его с головы до пят – в его происхождении и в его статусе, в его функции и в его актуальности, через другого и для другого. Другими словами, диалектика, лежащая в основе нашего опыта, располагаясь на самом внешнем уровне действительности субъекта, обязывает нас понимать собственное Я как без остатка вовлеченное в тот процесс прогрессирующего отчуждения, в котором в феноменологии Гегеля складывается самосознание.

А это значит, что если в момент, который мы здесь рассматриваем, вы имеете дело с "ego" субъекта, то вы служите тем самым в этот момент ничем иным, как опорой для его "alter ego".

Я уже рассказывал вам о том, как один из наших коллег (успевший теперь излечиться от того мысленного зуда, что еще мучил его во времена, когда он предавался размышлениям над показаниями анализа) однажды эту истину заподозрил и как, с лицом, на котором лежал отблеск полученного откровения, он увенчал свою речь об этих показаниях, провозгласив первое условие анализа: субъект должен восчувствовать другого как существующего.

Вот здесь-то и встает вопрос: какого же рода та инаковость другого, которая субъекта в этом существовании заинтересовывает? Ведь это та самая инаковость, которой причастно собственное Я субъекта. Более того, если существует для аналитика знание чисто классификационного типа, способное по природе своей удовлетворить тому требованию предварительной ориентации, которое новая техника провозглашает тоном тем более безапелляционным, чем меньше отдает себе отчет в его перво-

начальном смысле, так это именно то знание, которое в каждой из невротических структур определяет сектор, открытый для алиби "ego".

Одним словом, задавая субъекту стереотипный вопрос, который, как правило, выводит его из молчания, сигнализирующего вам о наступлении этого привилегированного момента в сопротивлении, вы ожидаете, что ответ его покажет вам, *кто* говорит и *для кого*, что составляет один и тот же вопрос.

Но захотите ли вы дать ему это понять, допросив его в том воображаемом месте, где он находится, зависит от вашего такта – от того, сможете ли вы согласовать этот фокус с тем местом его дискурса, в которое намертво уперлась его речь.

Таким образом вы получите подтверждение, что пунктуация расставлена вами правильно. Именно здесь гармонически и разрешается противопоставление (формально придерживаться которого было бы гибельно) между анализом сопротивления и анализом материала – техника, которой вы практически овладеваете на так называемом контрольном семинаре.

Для тех же, кто освоил другую технику, систематика которой мне слишком хорошо известна и которая еще пользуется некоторым доверием, я хочу сказать так: да, изучая агрессивность, которую субъект к вам проявляет, вы не преминете, конечно, получить некий актуальный для вас ответ и даже продемонстрируете известную проницательность, распознав под личиной ее противоположности так называемую "потребность в любви". После чего вы сможете сполна продемонстрировать свое жокейское искусство на манеже защиты. Хорошенькое дело! Ведь всем прекрасно известно, что за теми границами, где слагает свои полномочия слово, начинается область насилия, которое царствует там даже не дожидаясь, пока его спровоцируют.

Поэтому если уж вы развязываете там войну, узнайте сначала, по крайней мере, ее правила и помните, что нельзя получить правильное представление о ее границах, не рассматривая ее вслед за Клаузевицем как частный случай человеческого общения.

Хорошо известно, что именно постижение ее внутренней диалектики в качестве тотальной войны позволило этому последнему прийти к формулировке, согласно которой она должна рассматриваться как продолжение политики иными средствами.

Что позволило тем многоопытным современным практикам социальной войны, которым он послужил предшественником, вывести королларий, гласящий, что первейшее правило ее – это не упустить момент, когда противник становится другим, нежели был раньше, и по сигналу этому немедленно приступить к тому распределению интересов, которое создает почву для справедливого мира. Вы принадлежите к поколению, успевшему испытать на себе, что искусство это недоступно демагогам, чья неспособность отказываться от абстракций роднит их с вульгарными психоаналитиками. Вот почему даже войны, ими выигранные, влекут за собой конфликты, в которых трудно признать те блага, что они прежде сулили.

Тут-то они и пускаются очертя голову в предприятие по гуманизации оказавшегося после поражения им обузой противника – и даже зовут на выручку психоаналитика, приглашая его сотрудничать в восстановлении *human relations*, во что тот, учитывая нынешнее состояние дел, ничтоже сумняшеся и впутывается.

Все это представляется довольно естественным, если вовремя вспомнить примечание Фрейда, на котором я уже в этой же работе останавливался. Не исключено даже, что это прольет новый свет на смысл его слов о том, что видя сражение, месяцами бушующее вокруг какого-нибудь одиноко стоящего хутора, не следует делать вывод, будто в хуторе этом заключена национальная святыня одной из воюющих сторон или важное военное предприятие. Другими словами, речь идет о том, что смысл атаки или обороны нужно искать не в объекте, который оспаривается у противника, а, скорее, в замысле, частью которых они являются и чья стратегия характеризует противника.

Осадное настроение, выдающее себя в занудстве анализа защиты, принесло бы, без сомнения, тем, кто на нее надеется, плоды более ощутимые, если бы они хоть раз потрудились пройти школу хоть малейшей реальной борьбы, которая научила бы их, что лучший способ ответа на защиту – это не испытывать ее силой.

На самом деле, по нежеланию подчиняться диалектике, на путях которой создавался анализ, и по отсутствию таланта для откровенного возврата к использованию внушения, все, на что они способны, – это прибегнуть к ученой форме этого послед-

него под прикрытием господствующего в культуре психологизма. В результате в глазах окружающих они являют собой странное зрелище людей, которые выбрали свою профессию единственно затем, чтобы занять позицию, где последнее слово всегда оставалось бы за ними, и которые, встретившись с несколько большими трудностями, чем в других так называемых свободных профессиях, оказались в забавном положении этакого Пургона, помешанного на идее, будто всякий, кто не понимает, почему его дочь немая, "защищается".

Тем самым, однако, они просто-напросто возвращаются в ту диалектику "собственного я" и "другого", в которой тупик невротика и состоит, и которая ставит его в ситуацию, отвечающую предвзятому убеждению в отсутствии у него доброй воли. Вот почему мне случается говорить, что кроме сопротивления аналитика другого сопротивления в анализе нет. Ибо победить это предубеждение можно лишь путем подлинно диалектического обращения, которое, вдобавок, должно поддерживаться у субъекта постоянным упражнением. Именно к этому и сводятся на самом деле все условия подготовки психоаналитика.

Там, где такая подготовка отсутствует, всегда будет господствовать предрассудок, получивший свою наиболее стабильную формулировку в концепции нервных расстройств, излечиваемых внушением. Ему, в свою очередь, предшествовали другие, и опасаясь голословных предложений о том, как мог относиться к ним Фрейд, я напомню вам, что он думал по поводу последнего из тех, кого он в молодости застал. Свидетельством мне послужит IV глава его фундаментальной работы "Психология масс и анализ человеческого Я"". Он рассказывает о поразительных случаях насилия при внушении, свидетелем которых он был у Бернхайма в 1899 году.

"Мне вспоминается, – пишет он, – смутное чувство протеста против тирании внушения, которое я испытывал, когда на больного, оказавшегося недостаточно податливым, кричали: "что же вы делаете? Vous vous contre-suggestionner! (Вы внушаете себе обратное)".Про себя я говорил себе, что это вопиющая несправедливость и насилие, что если больного пытаются подчинить искуственным путем внушения, он вправе воспользоваться внушением обратным. Мое сопротивление приняло затем более

конкретную форму возмущения тем фактом, что внушение, все якобы объяснявшее, само объяснению не подлежало. Я повторял по этому поводу одну старую шутку:

Христофор носил Христа,
Христос носил весь мир.
Скажи-ка, куда же тогда
Христофора ступала нога?"

И если, продолжая, Фрейд сожалеет о том, что понятие внушения перерождается в концепцию все более и более неопределенную, не подающую ему надежд на скорейшее разъяснение этого явления, что сказал бы он о современном использовании понятия сопротивления – неужели бы он отказался, по меньшей мере, поддержать усилия, которые мы прилагаем, чтобы сделать его техническое употребление как можно более строгим? Замечу, что именно наш способ реинтегрировать его в диалектический ход анализа как единое целое возможно как раз и позволит когда-нибудь найти формулу внушению, способную выдержать испытание практикой.

Таков замысел, который руководит нами, когда мы бросаем взгляд на сопротивление в тот миг прозрачности, когда оно позволяет увидеть себя, по удачному выражению Маннони, со стороны переноса.

Именно поэтому мы и пользуемся примерами, в которых проигрывается все та же диалектическая синкопа.

Мы взяли на вооружение тот пример[5], на котором Фрейд с почти акробатическим искусством показывает, что он понимает под желанием во сне. И хотя приводит он этот пример лишь для того, чтобы оградить себя от возражений, опирающихся на изменения, которые сон претерпевает, когда его, припоминая, рассказывают, читателю совершенно ясно, что интересует его лишь развертывание сна, происходящее в самом процессе рассказа, то есть что сам сон имеет для него ценность лишь в качестве вектора речи. Так что все феномены забывания и даже сомнения, ход рассказа нарушающие, следует интерпретиро-

---

[5] G.W. II-III, S. 522, прим. 1; S.E.V. p.517, прим. 2; *"Sceience des rêves"*, p. 427.

вать как означающие этой речи, и даже если от сна остается клочок столь же эфемерный, сколь витающее в воздухе воспоминание о коте, который растворяется столь странным в глазах Алисы способом, это лишний раз подтверждает, что речь идет об отломанном кончике того, что образует собой во сне его острие, направляемое переносом, то есть того, что адресуется в этом сне непосредственно самому аналитику! Адресуется в данном случае с помощью слова "канал", единственного остатка сна, да еще разве что дерзкой улыбки, на этот раз женской, – улыбки, которой та, кого Фрейд удосужился познакомить со своей теорией острословия (Witz), его приношение удостоила и которая расшифровывается завершающей забавную историю фразой, которую, следуя просьбе Фрейда, ассоциирует она со словом "канал": "От возвышенного до смешного всего один шаг".

Точно так же и в примере с забытым именем, которым мы некогда воспользовались буквально как первым попавшимся[6] , – примере, взятом из "Психопатологии обыденной жизни", – стало для нас очевидно, что неспособность Фрейда вспомнить в разговоре с коллегой, являющимся в этот момент его спутником, имя Синьорелли, связана с тем фактом, что когда в предыдущем разговоре с тем же собеседником Фрейд подверг цензуре все, что в словах этого последнего напоминало ему, будь то по содержанию своему или по воспоминаниям, за ними тянувшимся, об отношении человека и медицины к смерти, т. е. к верховному господину, *Herr*, *Signor*, он буквальным образом оставил в своем собеседнике, а значит, отделил от себя, отломанное острие (будем понимать это в самом материальном смысле слова) своей словесной шпаги и на какое-то время, точнее на то именно, пока он к этому собеседнику продолжал обращаться, лишен был возможности пользоваться этим термином в качестве означающего материала ввиду его связи с вытесненным значением, тем более что произведение, автора которого, Синьорелли, нужно было вспомнить – изображающая Антихриста фреска в Орвьето – служит живописной иллюстрацией в форме самой яркой, хотя и апокалиптической, к теме господства смерти.

---

6 Примером этим, собственно, открывается книга. См. G.W. IV, S. 5-12; "*Psychopatologie de la vie quotidienne*", p. 1-8.

Но довольно ли будет указать здесь на факт вытеснения? Конечно, уже тех сверхдетерминаций этого явления, о которых Фрейд нам сообщает, вполне достаточно, чтобы его наличие уверенно констатировать, и актуальность сопутствующих ему обстоятельств лишний раз подтверждает важность того, что я хочу донести до вас своей формулой: бессознательное – это дискурс Другого.

Ибо человек, который в акте речи преломляет со своим ближним хлеб истины, разделяет заблуждение.

Не все ли этим сказано? И может ли урезанная здесь речь не угаснуть перед бытием-к-смерти, приблизившись к нему на тот уровень, где лишь острота способна к выживанию, ибо изображая значительность, соответствующую его серьезности, мы выглядим не более чем лицемерами.

Таким образом, смерть ставит перед нами вопрос о том, что служит отрицанием дискурса. Но одновременно она ставит и другой вопрос: не она ли сама вводит в дискурс отрицание? Ибо отрицание в дискурсе, вызывающее в нем к бытию то, чего нет, отсылает нас к вопросу о том, чем же именно заявляющее о себе в символическом порядке небытие обязано реальности смерти.

А это значит, что ось полюсов, в которых было сориентировано первое поле речи, чьим первообразом является тессер (дающий нам ключ к этимологии символа), пересекается здесь вторым измерением – не вытесненным, но неизбежно вводящим в заблуждение. Это и есть то измерение, из которого, вместе с небытием, возникает определение реальности.

На наших глазах рассыпается тот цемент, которым самозванная новая техника заделывала покрывавшие ее трещины, абсолютно некритично опираясь на отношение к реальности.

Нам показалось, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы показать вам, что критика этого отношения от мысли Фрейда абсолютно неотделима, это дать слово Жану Ипполиту, который делает честь этому семинару тем благосклонным интересом, что он к нему проявляет, и чье присутствие, к тому же, служит вам своего рода гарантом, что диалектика моя безошибочна.

Я попросил его прокомментировать один очень небольшой текст Фрейда. Написанный в 1925 году, т. е. отражающий по-

зднейшее развитие мысли Фрейда – он появился после выхода фундаментальных работ, посвященных его новой топике[7] – текст этот вводит нас в самую суть нового вопроса, возникшего в свете нашего анализа сопротивления. Я имею в виду текст о запирательстве.

Месье Жан Ипполит, взявшись за этот текст, снял с моих плеч задачу, лежащую в области, где его компетенция далеко превосходит мою собственную. Я благодарю его за согласие удовлетворить мою просьбу и предоставляю ему рассказать вам о *Verneinung*[8].

---

[7] Следующий год семинара нам как раз и пришлось посвятить работе, озаглавленной "По ту сторону принципа удовольствия".

[8] Сообщение Ипполита см. ниже.

Устный комментарий Жана Ипполита к статье Фрейда “Verneinung”

Прежде всего, я должен поблагодарить доктора Лакана за настойчивость, которую он проявил, уговорив меня представить вам эту статью, что дало мне хороший повод ночь потрудиться: плод этой ночи я и приношу сейчас на ваш суд[1]. Надеюсь, что вы примете его благосклонно. Доктор Лакан наряду с французским переводом статьи счел нужным прислать мне ее немецкий оригинал. И правильно сделал, так как, не будь у меня немецкого текста, я, наверное, абсолютно ничего не понял бы в тексте французском.[2]

С текстом этим я был незнаком. Он имеет абсолютно необычную структуру и по сути своей чрезвычайно загадочен. Он построен совершенно не так, как строит обычно текст преподаватель. Построен не скажу диалектически, чтобы не злоупотреблять этим словом, но чрезвычайно тонко. И это вынудило меня, вооружившись немецким текстом и французским переводом (не очень точным, но, по сравнению с другими, вполне добросовестным), заняться самым настоящим истолкованием. Именно это истолкование я и собираюсь сейчас вам предложить. Мне оно представляется основательным, но не единственно возможным и, само собой разумеется, заслуживающим обсуждения.

Фрейд начинает с представления самого заглавия: “*Die Verneinung*”. И я заметил, вслед за доктором Лаканом, что лучше

---

1 “Я приношу тебе плод идумейской ночи” (Прим. – Ж. Л.) [Первая строка стихотворения Малларме “Дар поэмы”]

2 Французский перевод статьи Фрейда *Verneinung* был опубликован в №2 тома VIII (1934 г.) официального органа Парижского психоаналитического общества под заглавием “Отрицание” (*La négation*). Немецкий текст появился в “Imago”, т. IX, в 1925 г., и впоследствии перепечатывался во многих сборниках трудов Фрейда. Его можно найти в G.W. XIV на стр. 11-15 [Русский перевод опубликован в №2 журнала “Иной” Спб-Париж. 1994].

было бы перевести его французским словом *"dénégation"* (запирательство).

Тем более что дальше в тексте вы встречаете выражение *etwas im Urteil verneinen*, представляющее собой не отрицание чего-то в суждении, а своего рода отречение от прежнего суждения.[3] Я полагаю, что и во всем дальнейшем тексте следует различать отрицание внутри самого суждения и позицию отрицания – в противном случае он мне представляется непонятным.

Французский текст недостаточно рельефно передает исключительно конкретный, почти развлекательный стиль тех примеров запирательства, которые служат для мысли Фрейда отправным пунктом. Вот первый из них – содержащий проекцию, роль которой вы сможете легко определить на основе аналитической работы, ведущейся в рамках данного семинара. В этом примере больной – назовем его психоанализируемым – говорит своему аналитику следующее: "Вы, конечно, подумаете, что я собираюсь сказать вам что-то для вас оскорбительное, но на самом деле это в мои намерения не входит". Мы понимаем – говорит Фрейд, – что речь идет о попытке отвергнуть мысль, которая как раз тут-то, посредством проекции, и вышла на поверхность.

"Я обратил внимание, что когда в повседневной жизни, как это частенько бывает, кто-нибудь говорит, что я, мол, нисколько не хочу обидеть вас тем, что собираюсь сказать, то правильный перевод как раз и гласит: "Я хочу вас обидеть". "Хочу" остается на своем месте".

Но замечание это ведет Фрейда к необычайно смелому обобщению, в котором он ставит проблему запирательства как возможного истока самой способности мышления. Именно здесь мне и видится философская насыщенность этой статьи.

Далее, в другом примере, некто говорит: "Я видел во сне такого-то человека. Вам интересно, кто бы это мог быть. Это была

---

[3] Смысл, на который достаточно ясно указывает следующая, логически связанная с предыдущей фраза, где *Verurteiling*, осуждение, характеризуется как эквивалент (Ersatz) вытеснения, само "нет" которого должно восприниматься как марка, как свидетельство о происхождении, вроде стоящего на изделиях клейма *Made in Germany*. (Ж. Л.)

точно не моя мать". В этом случае проверено и можно не сомневаться, что это именно она и была.

Фрейд упоминает далее еще один прием, которым психоаналитики, да и не только они, обычно пользуются, чтобы выяснить что-то такое, что в данной ситуации оказалось вытесненным. "Скажите мне, что, по вашему, в данной ситуации должно бы считаться самым неправдоподобным, что отстоит от нее как небо от земли?" И если пациент, или, если угодно, любой, кто при случае, за столом или в гостиной, обращается к вам за советом, попадается в вашу ловушку и действительно говорит, что кажется ему самым невероятным, то этому-то и следует верить.

Перед нами, таким образом, анализ конкретных примеров поведения, при обобщении которых оказывается, что в основе их всех лежит способ сказать о себе правду, эту правду отрицая. В этом-то суть данного способа и состоит. "Я сейчас скажу вам, что обо мне не следует думать: внимание, это как раз и есть то самое, что обо мне думать следует". Тут-то и подходит Фрейд к изучению функции "запирательства". Для выполнения этой задачи он пользуется словом, которое мне волей-неволей хорошо знакомо и которое, как вы знаете, имеет трудную судьбу – словом "*Aufhebung*". Не мне об этом говорить...

Лакан: Позвольте, а кому же, если не вам?

Ипполит: Это слово диалектики Гегеля, означающее одновременно "отрицать", "упразднять" и "сохранять", по сути же дела "поднимать". В обыденной речи это может быть *Aufhebung* камня, но также и прекращение подписки на журнал. Фрейд выражается здесь так: "Запирательство – это *Aufhebung* вытеснения, но без принятия вытесняемого".

Здесь анализ Фрейда принимает совершенно необычный оборот, в результате которого анекдоты, которые поначалу могли восприниматься несерьезно, приобретают поразительный философский смысл, который я попытаюсь сейчас сжато до вас донести.

Рассказать о том, что ты есть, под видом того, что ты не есть, – вот о чем идет речь в этом *Aufhebung* вытеснения, которое не является принятием вытесняемого. Говорящий утверждает в этом случае следующее: "Вот каков я не есть на самом деле".

Если вытеснение предполагает бессознательность, то здесь его вроде как нет, потому что утверждение вполне сознательно. Но по сути своей[4] вытеснение сохраняется – в форме неприятия.

Здесь Фрейд начинает развивать мысль исключительную по своей философской тонкости, которую легко просмотреть, если оставить без должного внимания, как нечто тривиальное, следующую важную в дальнейшем фразу: "Тут интеллектуальное отделяется от аффективного". Ибо в том, какой смысл она у него в дальнейшем получает, содержится действительно глубокое открытие.

Продолжая развивать свою гипотезу, я сказал так: чтобы анализировать интеллектуальное Фрейд показывает не то, как интеллектуальное отделяется от аффективного, а что само оно, интеллектуальное, представляет собой то особое остранение содержания, которому на несколько варварском языке вполне пристало бы именоваться сублимацией[5]. Быть может то, что рождается здесь, и есть мысль как таковая, но происходит это рождение не прежде, чем содержание оказывается искажено запирательством.

Обратившись к философскому тексту (за что я еще раз приношу извинения, хотя доктор Лакан подтвердит вам, что без этого здесь не обойтись), заметим, что в конце одной главы Гегеля речь идет о том, чтобы поставить подлинную негативность на место той жажды разрушения, которая завладевает желанием и мыслится здесь скорее глубоко мифическим, нежели психологическим образом – чтобы заменить, говорю я, эту жажду разрушения, которая овладевает желанием и доходит до такой степени, что в конце первобытной схватки, в которой встречаются два соперника, не остается уже никого, кто мог бы признать в одном из них победителя или побежденного, на идеальное отрицание.

---

[4] "Bei Fortbestand des Wesentlichen andert Verdrängung" (При сохранении существенного вытеснение изменяется) (G.W. XIV, S.12).

[5] Когда-нибудь мы рассчитываем дать этому термину подобающее ему в анализе строгое определение – что до сих пор еще так и не сделано (Ж. Л. 1955). Впоследствии обещание было выполнено (1966).

Запирательство, о котором говорит здесь Фрейд, отличаясь от идеального отрицания, в котором конституируется интеллектуальное как таковое, демонстрирует нам процесс порождения, подобный тому, остатки которого Фрейд, завершая свою статью, усматривает в негативизме, характерном для некоторых психоаналитиков.

И далее Фрейд, на языке по-прежнему мифологическом, объясняет нам то, что этот момент от негативности отличает.[6]

На мой взгляд, если мы хотим понять, о чем же, собственно, в этой статье под именем запирательства идет речь, со сказанным придется согласиться, хотя прямой очевидности здесь нет. Подобным же образом придется признать и диссимметрию – выраженную в тексте Фрейда употреблением двух разных слов там, где французский перевод дает лишь одно – между переходом к утверждению, обусловленным стремлением любви к единению, с одной стороны, и становлением, обусловленным стремлением к разрушению, того запирательства, чья подлинная функция состоит в порождении ума и самой позиции мысли, с другой.

Но не будем забегать вперед.

Мы видели, что Фрейд полагает интеллектуальное как отделенное от аффективного, и если при этом дополнительно возникает желательная в анализе модификация, "принятие вытесненного", само вытеснение тем самым не упраздняется. Попробуем представить себе эту ситуацию.

Первый этап: вот то, что я не есть. Из этого сделано заключение о том, что я есть. Вытеснение по-прежнему сохраняется в форме запирательства.

Второй этап: психоанализ заставляет меня умом признать то, что я только что отрицал, – и тут Фрейд, через тире, без дальней-

---

[6] "Die allgemeine Verneinugslust, der Negativismus mancher Psychotiker, ist wahrscheinlich als Anzeichen der Triebentmischung durch Abzug der libidinösen Komponenten zu verstehen" (Удовольствие от отрицания вообще, свойственный многим психотикам негативизм, следует, по всей видимости, рассматривать как признак расслоения влечений путем отъятия либидинозных составляющих) (G. W. XIV, S. 15).

ших объяснений, прибавляет: "Сам процесс вытеснения тем самым еще не снят (aufgehoben)".

Эта мысль представляется мне очень глубокой: если анализируемый соглашается, он берет свое отнекивание назад, но вытеснение все еще имеет место! Я заключаю из этого, что происшедшее следует охарактеризовать философским термином – термином, который сам Фрейд не произнес – "отрицание отрицания". Ведь, буквально, то, что здесь перед нами – это интеллектуальное утверждение, но именно чисто интеллектуальное, в форме отрицания отрицания. Терминов этих у Фрейда нет, но мне кажется, что подобная формулировка просто продолжает его мысль. Именно это и имеется здесь в виду.

В этот момент Фрейд (вчитаемся в этот трудный текст внимательно!) видит, что он в силах показать, как интеллектуальное отделяется (в действии)[7] от аффективного, сформулировать своего рода порождение суждения, если не порождение мысли вообще.

Прошу прощения собравшихся здесь психологов, но саму по себе положительную психологию я не люблю; то, что сказано здесь о порождении, можно, конечно, принять за положительную психологию, но мне это представляется чем-то более масштабным и глубоким, относящимся, скорее, к истории или мифу. И судя по той роли, которую эта изначальная аффективность, поскольку ей предстоит породить разумность, у Фрейда играет, мне представляется, что понимать ее нужно именно так, как учит доктор Лакан, т. е. что первичная форма того отношения, которое на языке психологии мы именуем аффективным, сама расположена в области, специфичной именно для человеческой ситуации, и что если она порождает разум, то это означает, что она уже в самых истоках своих содержит в самой своей основе некую историчность – не существует, другими словами, чисто аффективного, целиком погруженного в реальное, с одной стороны, и чисто интеллектуального, освобождающегося от этого аффективного, чтобы овладеть им, с другой. В описанном здесь становлении мне видится великий миф – именно он кроется у

---

[7] Слова добавлены нами. В дальнейшем они будут заключаться в такие же скобки. (Ж. Л.)

Фрейда за видимостью позитивности и сам эту видимость создает.

Итак, что же за этим утверждением[8] кроется? За ним кроется *Vereinigung*, которое есть не что иное, как Эрос. А за запирательством (внимание: об интеллектуальном запирательстве речь здесь пока не идет) – что за ним? И вот здесь появляется символ принципиально диссиметричный. Изначальное утверждение – это утверждение и ничего больше, в то время как "отрицать" значит нечто большее, нежели просто стремиться к разрушению.

Процесс, который к нему ведет – во французском переводе переданный словом "*rejet*", неприятие, хотя в оригинале соответствующее ему "*Verwerfung*" не используется – охарактеризован у Фрейда словом еще более энергичным: "*Ausstossung*"[9], что означает "выброс", "исключение".

В некотором роде перед нами здесь две первичные силы: сила притяжения[10] и сила отталкивания, причем обе, похоже, подчинены принципу удовольствия, что в этом тексте по-прежнему поразительно[11].

В соответствии с началами философии, которые мы все когда-то изучали, имеются два вида суждений: суждения атрибуции и суждения существования. "Функция суждения...– приписывать вещи или отрицать за ней определенное свойство и, исходя из представления, признавать или оспаривать реальное существование".

И вот Фрейд как раз и показывает нам, что же, собственно, за суждениями атрибуции и суждениями существования скрывается. Чтобы понять его статью, следует, мне кажется, рассмотреть отрицание атрибутивного суждения и отрицание суждения существования как бы прежде отрицания, взятого в тот момент, когда оно впервые выступает в своей символической функции. По сути дела, в этот момент возникновения никакого суждения

---

[8] *Bejahung.*

[9] G.W. XIV, S.15.

[10] *Einbeziehung.*

[11] Семинар, на котором Жак Лакан комментировал статью "По ту сторону принципа удовольствия", состоялся лишь в 1954-55 году.

еще и нет, есть лишь первоначальный миф наружного и внутреннего – именно это здесь и важно понять.

Вы уже чувствуете, как далеко идут последствия этого мифа о формировании наружного и внутреннего – ведь речь идет об отчуждении, на эти два термина опирающемся. То, что выступает как их формальная противоположность, становится по ту ее сторону отчуждением и враждебностью между ними.

Своей необычайной насыщенностью эти четыре-пять страниц обязаны, как видите, тому, что в них ставится под вопрос все, и что содержащиеся в них конкретные наблюдения, на вид столь малозначительные, но в своих обобщениях столь глубокие, ведут нас к чему-то такому, что в корне меняет нашу философию, нашу структуру мышления.

Так что же стоит за суждением атрибуции? А вот что: либо "я хочу присвоить (себе), вместить в себя", либо "я хочу изгнать, вытолкнуть из себя".

Стоит первоначально, – так, кажется, говорит Фрейд, но это "первоначально" есть не что иное, как мифическое "однажды"... В этой истории было когда-то "Я" (то есть, в данном случае, субъект), для которого ничего чужого еще не существовало.

Различение себя и чужого – это операция, операция изгнания. И это делает понятным утверждение Фрейда, высказанное столь неожиданно, что кажется поначалу нелогичным:

"*Das Schlechte*, т. е. дурное, *das dem Ich Fremde*, т. е. для "Я" чуждое, *das Aussenbefindliche*, т. е. внешнее, наружное, *ist ihm zunächst identisch*, поначалу ему идентично".

Но ведь как раз перед этим Фрейд и говорит о вмещении в себя и об изгнании из себя, т. е. говорит, что существует такая операция, как операция изгнания, (без которой) операция вмещения (не имела бы смысла). Это и есть первоначальная операция, на которой то, чему предстоит стать суждением атрибуции, как раз и основывается.

Что же касается суждения существования, то оно берет начало в связи между представлением и восприятием. Здесь очень легко не заметить в каком отношении Фрейд эту связь углубляет. Самое важное тут – это что "вначале" все равно и безразлично – знать, что существует или знать, что не существует. Существует. Субъект воспроизводит свое представление о вещах, исходя из

их первичного восприятия имевшего место ранее. Когда он теперь говорит, что это существует, то вопрос не в том[12], чтобы узнать, соответствует ли это представление реальности до сих пор, а в том, сможет ли субъект обрести его вновь. Вот подчеркиваемая Фрейдом связь между представлением (испытанием его) и реальностью – (он основывает ее) в возможности заново обрести свой объект. Значение, которое придает Фрейд фактору повторения, доказывает, что мысль его движется в измерении более глубоком, нежели то, которое исследует Юнг и которое является по преимуществу измерением памяти[13]. Здесь важно не потерять нить Фрейдова анализа. (Анализа столь сложного и детального, что я очень боюсь завести вас на ложный путь).

В суждении атрибуции речь шла о том, чтобы изгнать или вобрать в себя. В суждении существования речь идет о том, чтобы приписать "Я", или, скорее, субъекту (так будет понятнее) представление, которому более не отвечает, но отвечал в ретроспективе объект. Вопрос стоит ни о чем ином, как о происхождении "внешнего и внутреннего".

Перед нами – говорит Фрейд, – "картина рождения" суждения "из первичных влечений". Это означает, что мы имеем дело с "целенаправленной эволюцией того усвоения своему "Я" и изгнания из своего "Я", которое следует из принципа удовольствия".

Die Bejahung, утверждение – говорит Фрейд, – *als Ersatz der Vereinigung*, будучи просто эквивалентом единения, *gehört dem Eros an*, относится к Эросу: именно в нем и надо искать истоки утверждения. Так, суждение атрибуции проистекает из того фак-

---

[12] Слова, внесенные редактором в соответствии с текстом Фрейда: "Der erste und nächste Zweck bei Realitätsprüfung ist also nicht ein dem Vorgestellten entsprechendes Objekt in der realen Wahrnemung zu finden, sondern es wiederzufinden, sich zu überzeugen, dass es noch vorhanden ist." (Первая и последняя цель испытания на реальность состоит, следовательно, не в том, чтобы найти соответствующий представлению объект в реальном восприятии, а в том, чтобы найти тот же объект вновь, чтобы убедить себя в его наличии) – G.W. XIV, S. 14.

[13] Может быть, автор имеет здесь в виду платоновское припоминание? (Ж. Л.)

та, что мы вмещаем в себя, усваиваем себе, вместо того, чтобы изгонять из себя.

В отношении отрицания Фрейд употребляет не слово *Ersatz*, а слово *Nachfolge*. Французский же переводчик передает их одним и тем же словом. В немецком тексте буквально следующее: утверждение – это *Ersatz* единения, *Vereinigung*, а отрицание – *Nachfolge* изгнания, а точнее, инстинкта разрушения (Destruktionstrieb).

Картина приобретает характер мифа, и в этом лежащем в основе субъекта мифе, так сказать, переплетены два инстинкта: соединения и разрушения. Миф, как видите, грандиозный, и вторящий многим известным ранее. Однако лишь маленькая деталь в нем – а именно, что утверждение выступает просто-напросто как заместитель единения, в то время как отрицание следует за изгнанием как его результат, – способна, мне кажется, пролить свет на следующую фразу, где речь идет о негативизме и инстинкте разрушения. Ибо она хорошо объясняет тот факт, что возможно удовольствие от отрицания, негативизм, проистекающий просто-напросто из подавления[14] либидинальных составляющих, т. е. что в удовольствии от отрицания исчезает (=вытесняется) не что иное, как либидинальные составляющие.

Следует ли из этого, что инстинкт разрушения тоже зависит от (принципа) удовольствия? Ответ на этот вопрос я считаю очень важным, капитальным для техники анализа[15].

---

[14] Немецкое "*Abzug*": вычет, вычитание, удержание; "то, что в удовольствии от отрицания вычтено, и есть либидинозные компоненты".
Возможность этого объясняется ссылкой на *Triebentmischung*, представляющее собой своего рода возврат в состояние чистоты; осветление, фильтрацию влечений. Обычно термин этот не слишком удачно переводится как "расплетение инстинктов".

[15] Искусство, с которым Ипполит формулирует содержащуюся здесь трудность, вызывает тем большее восхищение, что к этому времени нами еще не были высказаны те тезисы об инстинкте смерти, что нам предстояло развить в следующем году в комментарии к работе "По ту сторону принципа удовольствия", – инстинкте, в этой работе Фрейда, вопреки всем ухищрениям ее автора, незримо присутствующем.

Однако, говорит нам Фрейд, – "выполнение функции суждения возможно лишь благодаря *созданию символа отрицания*"[16]. Почему Фрейд не говорит, что функционирование суждения возможно благодаря утверждению? Дело в том, что отрицание станет выполнять свою роль уже не в качестве тенденции к разрушению, и не просто внутри самой формы суждения, а в качестве фундаментальной стратегии эксплицированной символичности.

> "Создание символа отрицания, давшее первую степень независимости по отношению к вытеснению и его последствиям, а тем самым и к принуждению (Zwang) со стороны принципа удовольствия".

Фраза, смысл которой не составлял бы для меня проблемы, не свяжи я только что стремление к разрушению с принципом удовольствия.

Ибо здесь возникает одна трудность. Что означает теперь диссимметрия между утверждением и отрицанием? Она означает, что все вытесненное может быть заново взято и использовано в виде как бы изъятом, и что вместе того, чтобы оставаться под властью инстинктов привлечения и выталкивания, оно может создать себе свободное, подобно полям в тетради, пространство мысли, призрак бытия в форме небытия – призрак, возникающий при запирательстве, т. е. когда символ отрицания связан с конкретной позицией запирательства.

Именно так и нужно понимать этот текст, если принять всерьез его заключение, которое поначалу казалось мне несколько странным.

> "Этой трактовке запирательства очень хорошо соответствует тот факт, что в анализе не обнаруживается никакого "нет", которое исходило бы от бессознательного..."

Но зато в анализе обнаруживается разрушение. Поэтому инстинкт разрушения нужно четко отделить от его формы – иначе сказанное Фрейдом останется непонятным. Следует рассматривать запирательство как конкретную позицию, обусловившую возникновение эксплицитного символа отрицания – символа,

---

[16] Выделено самим Фрейдом.

который и делает возможным нечто вроде использования бессознательного с одновременным сохранением вытеснения.

Именно таким мне видится смысл окончания заключительной фразы: "...и что признание бессознательного со стороны "Я" выражается формулой отрицания".

Итак, вот наш вывод: в анализе не обнаруживается никакого "нет", которое исходило бы от бессознательного; признание бессознательного со стороны собственного Я показывает, что собственное Я – это всегда непризнание; даже в знании своем собственное Я всегда несет на себе печать возможности сохранить бессознательное, в то же время от него отрекаясь, – печать, выраженную формулой отрицания.

"Лучшее доказательство, что мы обнаружили бессознательное, – это когда пациент реагирует фразой вроде 'Я об этом не подумал', или даже 'Я всегда был далек от такой мысли'".

Итак, на этих четырех-пяти страницах Фрейда, к прочтению которых мне самому, – должен к стыду своему признаться, не без труда – удалось найти – не знаю, насколько верные – ориентиры, мы находим, с одной стороны, анализ конкретной поведенческой позиции, которая вырисовывается при наблюдении запирательства, с другой стороны, картину того, как интеллектуальное отделяется (в акте) от аффективного; и наконец – самое главное – происхождение всего того, что предшествует на первичном уровне, а следовательно, происхождение суждения и самой мысли (в форме мысли как таковой, ибо мышление было и раньше, в первичном, но оно было там не в качестве мысли), получающее через запирательство свое объяснение.

Ответ на комментарий Жана Ипполита к статье Фрейда “Verneinung”

Я надеюсь, что чувство признательности, которое все мы испытываем к месье Жану Ипполиту за любезность, оказанную нам прочтением этого блестящего доклада, сможет оправдать в ваших глазах – не менее чем, я надеюсь, и в его собственных – настоятельность, с которой я просил о ней.

Не доказывает ли это лишний раз, что представ уму непредвзятому, но отнюдь не неискушенному, текст этот, на первый взгляд представляющий вполне специальный интерес, обнаруживает перед нами неисчерпаемое богатство значений, заведомо обрекающих его дисциплине комментария. Перед нами не один из тех двумерных, бесконечно плоских, как говорят математики, текстов, что играют в организованном уже дискурсе роль своего рода средств обращения, а текст как носитель речи, поскольку эта последняя представляет собой новое явление истины.

Применить к тексту такого рода все находящиеся в нашем распоряжении средства истолкования подобает не только – и перед вами тому хороший пример – с целью изучения его взаимосвязи с тем, кто является его автором (вид исторической и литературной критики, в котором каждый профессиональный аналитик без труда распознает вид “сопротивления”), но и с целью заставить сам текст ответить на вопросы, которые он перед нами ставит. Другими словами, нам подобает обращаться с ним как с подлинной речью – и, если мы правильно пользуемся собственной терминологией, надо добавить: с речью, поскольку она имеет значение для переноса.

Это предполагает, разумеется, что текст должен подвергнуться истолкованию. А существует ли, в сущности, лучший критический метод, нежели тот, что использует для понимания сообщения те самые принципы понимания, носителем которых это сообщение выступает? Не в этом ли состоит наиболее рациональный метод испытания его подлинности?

Полная речь характеризуется своей идентичностью тому, о чем она говорит. И текст Фрейда, подтверждая наш тезис о транспсихологическом характере психоаналитического поля, блестяще это иллюстрирует, что Жан Ипполит только что, в соответствующих терминах, и разъяснил вам.

Вот почему тексты эти имеют, в конечном счете, для аналитика огромное образовательное значение, прививая ему – без чего, как мы не раз подчеркивали, в его деле не обойтись – навыки к работе в том регистре, вне которого опыту его грош цена.

Ибо речь идет ни больше ни меньше, как о его адекватной настройке на тот уровень человека, с которым он (знает он то или нет) приходит в соприкосновение, на котором он (хочет он того или нет) призван ему дать ответ, и за который он принимает (как бы дело ни обернулось) ответственность. А это значит, что он не вправе уклониться от этой ответственности, лицемерно прибегая к своей медицинской квалификации и ссылаясь без конца на клиническую базу.

Ибо психоаналитический *new deal* многолик – собственно говоря, он меняет свое лицо в зависимости от собеседника, и спустя некоторое время лиц этих становится так много, что ему самому случается иной раз поверить собственному алиби, а то и встретить, по ошибке, самого себя.

Что касается доклада, нами только что выслушанного, то сегодня я хотел бы лишь указать вам на те перспективы, которые он открывает нашим самым конкретным исследованиям.

Своим анализом Ипполит позволил нам преодолеть пропасть, отмеченную в субъекте перепадом уровня между символическим созданием отрицания, с одной стороны, и *Bejahung*, с другой. При этом он подчеркнул, что это создание символа следует мыслить как момент скорее мифический, чем генетический. И ставить это создание в связь с образованием объекта нельзя, так как затрагивает оно не отношение субъекта к миру, а отношение субъекта к бытию.

Таким образом, в коротком тексте этом, как и во всем своем творчестве, Фрейд предстает перед нами как мыслитель, значительно опередивший свою эпоху и новейшим философским построениям ничем не обязанный. Нельзя, конечно, сказать, что он ни в чем не предвосхитил современного способа мыслить су-

ществование. Но ведь способ этот представляет собой лишь демонстрацию, обнаруживающую, у одних, или скрывающую, у других, более или менее ясно осознанные последствия раздумий над бытием, ставящих под вопрос всю традицию нашего мышления как обусловленного изначальным смешением бытия и сущего.

Читателя не может не поразить сквозящая во всех работах Фрейда близость к этим проблемам, которая дает повод думать, что постоянные ссылки его на учения досократиков свидетельствуют не об использовании от случая к случаю некогда законспектированного материала (что мало правдоподобно, учитывая ту граничащую с мистификацией неохоту, с которой Фрейд обнаруживает свою поистине необъятную культуру), а именно о метафизическом, в собственном смысле этого слова, восприятии актуализированных им проблем.

Таким образом, то, что Фрейд называет здесь аффективным, не имеет – надо ли об этом снова говорить – ничего общего с тем, что скрывается за этим термином у сторонников нового психоанализа, которые используют его как психологическое *qualitus occulta* для обозначения "переживания" – этого золота, которое, если послушать их, добывается в такой чистоте лишь таинствами их алхимии, на поверку же, как ни колдуют они над самыми нехитрыми его составами, всегда оказывается весьма невысокой пробы.

Для Фрейда в данном тексте аффективное – это то, что в итоге изначальной символизации сохраняет ее последствия вплоть до включения их в структурную организацию дискурса. Ибо структурная организация эта, именуемая также интеллектуальной, как раз и служит тому, чтобы в форме непризнания передать то самое, чем эта первичная символизация обязана смерти.

Мы оказываемся, таким образом, перед особого рода пересечением символического и реального, которое можно назвать непосредственным, ибо происходит оно без посредства воображаемого, будучи опосредовано – пусть не иначе, как в форме самоотрицания – тем, что было исключено уже на первом временном этапе символизации.

Несмотря на сухость этих формул, они понятны вам, ибо являются конденсированным выражением нашего с вами подхода к использованию категорий символического, воображаемого и реального.

Я хотел бы дать вам представление о плодородных землях, к которым то, что я только что назвал горным перевалом, как раз и ведет.

Для этого я возьму в качестве посылок два примера из двух различных областей: первый из них покажет нам, что могут эти формулы прояснить нам в психопатологических структурах, и вместе с тем дать понять в нозографии, а второй – что они позволяют понять в психотерапевтической клинике и одновременно прояснить в теории техники.

Первый пример касается функции галлюцинаций. При этом нельзя, разумеется, переоценить значение изменений, внесенных в постановку этой проблемы феноменологическим подходом к изучению ее данных.

Но какие бы успехи ни были в этом направлении достигнуты, проблема галлюцинирования по-прежнему остается сосредоточена на атрибутах сознания. Камень преткновения для теории мышления, которая искала в сознании гарантию своей достоверности, камень, легший в основу гипотезы о той подделке сознания, которую худо-бедно характеризует понятие эпифеномена – галлюцинация вновь, и в большей степени чем когда-либо в качестве именно феномена сознания, окажется подвергнута феноменологической редукции, в жерновах которой, растирающих составляющие формы ее интенциональности, и явится, наконец, как предполагается, ее смысл.

Наиболее впечатляющий пример подобного метода дают нам посвященные галлюцинации страницы "Феноменологии восприятия" Мерло-Понти. Но границы автономии сознания, наличия которых в самом феномене он с такой замечательной проницательностью опасается, требуют слишком изощренного манипулирования, чтобы поставить преграду грубому упрощению галлюцинаторного ноэсиса, в которое обыкновенно впадают психоаналитики, насилующие фрейдовские понятия, дабы

мотивировать галлюцинирующее сознание вулканическим вторжением принципа наслаждения.[1]

Нетрудно, однако, в возражение указать, что связь ноэмы галлюцинации, т. е. того, что вульгарно именуют ее содержанием, с какого бы то ни было рода удовлетворением субъекта оказывается на поверку самой что ни на есть случайной. Да и феноменологическая проработка проблемы ясно показывает, что смысл она может приобрести лишь при условии, что мы дадим вопросу совершенно обратную формулировку: состоит ли ноэсис феномена в какой-нибудь необходимой связи с его ноэмой?

Вот здесь-то рассматриваемая нами статья Фрейда как раз и дает нам понять, насколько более структуралистской, чем это принято думать, является на самом деле его мысль. Ибо смысл принципа удовольствия окажется искаженным, если упустить из виду, что в теории он никогда не полагается совершенно независимо.

Уже структурное построение, на наших глазах выявленное Ипполитом в этой статье, сразу же ставит нас – сумей мы в него вглядеться – перед той самой обратной формулировкой, о необходимости которой мы только что говорили. И для того, чтобы вас к этой обратной формулировке приучить, я проанализирую пример, в котором, я надеюсь, вы почувствуете предзнаменование того подлинно научного восстановления данной проблемы, которое, может статься, будет делом и наших с вами рук, если только удастся нам найти к ней подходы, ускользавшие до сих пор от решающей альтернативы, перед которой ставит нас опыт.

Далеко за примером ходить не понадобиться – достаточно вновь обратиться к тому, который верой-правдой послужил нам в прошлый раз, и рассмотреть один многозначительный момент в анализе "человека с волками".[2]

---

[1] Образцом такого упрощенчества может послужить доклад Р. де Соссюра на Психиатрическом Конгрессе 1950 года и использование им при всяком удобном случае такого откровенно нового термина, как галлюцинированная эмоция.

[2] G.W., XII, S. 103-121.

Я думаю, вы еще не забыли ту галлюцинацию, след которой субъект обретает вместе с воспоминанием. След этот неясно проскальзывает на пятом году его жизни, сопровождаемый иллюзией, чья ошибочность будет впоследствии доказана, будто субъект уже рассказывал о нем Фрейду раньше. Изучение этого явления будет облегчено для нас тем, что мы знаем о его контексте. Ибо ясность вносит не нагромождение фактов, а факт, хорошо увязанный в изложении со всем тем, что ему сопутствует, т. е. с тем, о чем, не понимая факта, естественно забывают, – и лишь гений (что не менее естественно) формулирует загадку так, словно он заранее знает одно или множество решений, ее удовлетворяющее.

Контекст этот уже дан вам – дан в тех препятствиях, которые стояли в данном случае перед анализом, преподнося Фрейду один сюрприз за другим. Ибо он, конечно уж, не обладал тем всезнанием, которое позволяет нашим нео-практикам делать планирование отдельного случая основным принципом анализа. Более того, своим замечанием, что он готов скорее дать рухнуть всей теории, нежели проигнорировать мельчайшее детали ставящего ее под сомнение отдельного случая, Фрейд как раз и утверждает с наибольшей решительностью принцип прямо противоположный. То есть принцип, согласно которому отдельный анализ продвигается лишь от частного к частному, хотя вся сумма аналитического опыта и позволяет выявить в нем какие-то общие формы.

Препятствия, возникавшие в данном случае, равно как и преподносимые ими Фрейду сюрпризы – вспомним хотя бы, наряду с тем, что мы говорили об этом в последний раз, тот комментарий к этому случаю, который я предложил на первом году моего семинара[3], – целиком налицо и в нашей сегодняшней ситуации, где происходит "интеллектуализация" аналитического процесса, с одной стороны, и сохранение вытеснения, несмотря на сознательный отчет о том, что вытеснено, с другой.

В результате Фрейд, неуклонно склоняясь к данным опыта, констатирует, что хотя в поведении своем субъект и продемонстрировал – и довольно отважно, – что генитальная реальность

---

[3] Т. е. в 1951-1952.

ему доступна, реальность эта так и осталась мертвой буквой для его подсознания, где по-прежнему безрадостно царит "сексуальная теория" анальной фазы.

Причину этого явления Фрейд усматривает в том факте, что женская позиция, усвоенная себе субъектом в воображаемом плену первоначального травматизма (того, чья историчность и явилась главным мотивом для сообщения об этом случае), не позволяет ему принять генитальную реальность, не испытав при этом неизбежную для него с этого момента угрозу кастрации.

Но гораздо интереснее то, что говорит нам Фрейд о природе этого явления. Речь не идет – говорит он – о вытеснении (Verdrängung), ибо вытеснение неотличимо от возвращения вытесняемого, когда то, что субъект не может сказать, он буквально выкрикивает всем своим существом.

В данном случае – говорит Фрейд – *субъект о кастрации не желает ничего знать в смысле вытеснения*: "*er von ihr nichts wissen wollte im Sinne der Verdrängung*".[4] И далее, чтобы обозначить этот процесс, Фрейд использует термин "*Verwerfung*", который мы, в конечном итоге, предложили бы перевести как "отторжение".[5]

Результатом отторжения является символическая утрата. Ибо говоря "*Er verwarf Sie*", он отторгает кастрацию (добавляя при этом: "*und blieb auf dem Standpunkt des Verkehrs in After*", сохраняя *status quo* анального соития[6]), Фрейд продолжает: "При этом не то чтобы он выносил какое-то суждение о ее существовании – просто он поступает так, как если бы ее не было вовсе".[7]

Несколько страницами выше, т. е. сразу же после того, как историческое место этого процесса в биографии субъекта было Фрейдом определено, он недвусмысленно проводит различие между ним и вытеснением, формулируя свой вывод в следующих выражениях: "*Eine Verdrängung ist etwas anderes als eine Ver-*

---

[4] G.W., XII, S. 117.

[5] В дальнейшем, поразмыслив над этим термином, мы предложили другой перевод: "*forclusion*" (букв.: отказ за истечением срока), который, как известно, и стал нашими стараниями общепринятым.

[6] G.W., XII, S. 117.

[7] Там же.

neinung"[8]. Что во французском переводе преподносится нам так: "Вытеснение – это не то же, что суждение, которое отбрасывает и выбирает". Предоставляю вам самим судить о том, чьим козням обязаны мы злосчастной судьбой французских переводов Фрейда – не можем же мы допустить, что переводчики нарочно сговорились сделать их невразумительными! Я уж не говорю о полном обесцвечивании стиля, которое этот эффект лишь усугубляет.

Процесс, который именуется здесь "*Verwerfung*" и относительно которого до сих пор в аналитической литературе, насколько я знаю, ничего сколько-нибудь толкового сказано не было, очень точно укладывается в один из тактов, только что выделенных здесь Ипполитом в диалектике *Verneinung*'а, – перед нами то самое, что противостоит первичному *Bejahung* и в качестве такового представляет собою то, что изгнано, отброшено.

Доказательством послужит вам признак, который изумит вас своей очевидностью. Ибо мы возвращаемся здесь к тому порогу, на котором я в прошлый раз вас оставил и который теперь, когда вы прослушали выступление Ипполита, вам значительно проще будет преодолеть.

Итак, я иду дальше, зная, что даже самые горячие энтузиасты идеи развития, если таковые здесь остались, не смогут в возражение указать мне на позднюю дату этого феномена после того, как Ипполит с блеском продемонстрировал, что первичным он является для Фрейда лишь в мифическом смысле.

Итак, *Verwerfung* полагает конец всякому проявлению символического порядка, то есть пресловутому *Bejahung*, которое предстает у Фрейда как тот первичный процесс, в котором атрибутивное суждение берет свое начало и который являет собой не что иное, как изначальное условие для того, чтобы нечто реальное могло предстать в откровении бытия, или, говоря языком Хайдеггера, быть отпущено в бытие. Именно к этому дальнему рубежу Фрейд и ведет нас, ибо лишь позже может что бы то ни было оказаться обретенным там в качестве сущего.

Таково основополагающее утверждение, возобновление которого возможно лишь посредством завуалированных форм

---

[8] G.W., XII, S. 111.

бессознательной речи, ибо единственным путем, которым человеческий дискурс позволяет к нему вернуться, служит отрицание отрицания.

Но что же происходит с тем, что этому *Bejahung* принадлежит, но в бытие "не отпущено"? И Фрейд с самого начала на этот вопрос отвечает следующее: то, что субъект отторг (verworfen) таким образом от, скажем так, открытости бытию, не обнаружится больше в его истории, понятой как то место, куда вновь и вновь является то, что было вытеснено. Причем я прошу обратить внимание, насколько впечатляет отсутствие в формуле Фрейда малейшей двусмысленности: субъект не захочет об этом "*ничего знать в смысле вытеснения*". И в самом деле, ведь чтобы у него было нечто, что можно было бы в этом смысле знать, это нечто должно было бы прежде так или иначе явиться на свет первоначальной символизации. А что же, повторяю, происходит с нем на самом деле? Происходит то, что вы сами прекрасно видите: то, что не явилось на свет символического, возникает в реальном.

Именно так и следует понимать фрейдовские *Einbeziehung ins Ich*, включение в субъект, и *Ausstossung aus dem Ich*, выталкивание из субъекта. Именно это последнее и образует реальное как область того, что пребывает вне символизации. Вот почему кастрация, в данном случае отторженная субъектом и оказавшаяся для него в результате за границей возможного, а тем самым и за пределами возможностей речи, станет возникать в реальном, и возникать бессвязно, то есть в отношениях сопротивления без переноса – подобно пунктуации без текста, сказали бы мы, развивая только что использованную нами метафору.

Ведь реальное не ждет, собственно говоря, субъекта, ибо оно ничего не ожидает от речи. Но оно здесь, идентичное с собственным существованием, шум, в котором можно расслышать все что угодно и который готов заглушить своими раскатами все то, что создает в нем под именем внешнего мира "принцип реальности". Ибо если суждение существования действительно функционирует так, как явствует это из фрейдовского мифа, то происходит это за счет мира, у которого хитрость разума дважды изъяла причитающуюся ей часть.

Какой же еще смысл можно придать тому повторному разделению на внутреннее и внешнее, которое артикулируется во фразе Фрейда: "*Es ist, wie man sieht, wieder eine Frage des Aussen und Innen*" ("Речь снова идет, как видим, о проблеме внешнего и внутреннего")? Посмотрим, в самом деле, когда возникает у Фрейда эта фраза. Вначале имеет место первичное отторжение, то есть возникает реальное как внешнее по отношению к субъекту. Затем внутри представления (Vorstellung), образованного путем воспроизведения (воображаемого) первоначального восприятия, возникает различение реальности как той составляющей этого объекта первоначального восприятия, которая не просто полагается самим субъектом в качестве существующей, а может быть вновь найдена им (wiedergefunden) на том месте, где он способен овладеть ею. В этом, и только в этом, отношении операция эта, всецело спровоцированная принципом удовольствия, выходит, тем не менее, из под его контроля. Но в реальности этой, которую субъекту предстоит скомпоновать в хорошо темперированной гамме своих объектов, реальное, будучи отторгнуто от первоначальной символизации, содержится *уже заранее*. Можно даже было бы сказать, что оно разговаривает само по себе. Субъект может наблюдать, как оно появляется оттуда в форме вещи, весьма далекой от предмета, который мог бы принести ему удовлетворение, – вещи, по отношению к нынешнему характеру его намерений самой неуместной. Вот что такое галлюцинация в ее радикальном отличии от интерпретационного феномена. А вот свидетельство о ней, записанное под диктовку субъекта рукою Фрейда.

Субъект рассказывает ему, что "пятилетним ребенком он играл с няней в саду, делая надрезы в коре орешника (*роль которого в его сне известна*). Неожиданно он с необъяснимым ужасом заметил, что разрезал себе мизинец (*на правой руке или на левой – этого он не помнит*), и что мизинец этот держится только на коже. Боли он при этом не испытывал – только страшное волнение. Сказать что бы то ни было находившейся от него в паре шагов няне у него не хватало духу. Он опустился на скамью и сидел, не в силах снова взглянуть на раненый палец. В конце концов он успокоился, посмотрел-таки на палец, и – представьте себе – тот оказался невредимым".

Предоставим самому Фрейду со свойственной ему скрупулезностью подтвердить, используя тематические резонансы и биографические соотношения, извлеченные им из субъекта путем ассоциации, все символическое богатство этого галлюцинаторного сценария. Но не позволим этому богатству вскружить нам голову.

В отношении предмета, нас интересующего, мы гораздо больше узнаем из того, что данному явлению сопутствует, нежели из самого рассказа, который подчиняет явление условиям возможности его передачи. То, что содержание его укладывается в эти условия настолько хорошо, что становится неотличимо от известных мотивов поэзии и мифологии, ставит нас, конечно, перед серьезной проблемой. Но хотя формулировка проблемы возникает сразу же, не исключено, что решение ее следует отложить до следующего этапа – хотя бы лишь для того, чтобы мы с самого начала знали, что простым решением здесь не обойтись.

И в самом деле: в рассказе об этом эпизоде бросается в глаза факт, для понимания его совершенно не нужный, скорее наоборот – мы имеем в виду неспособность субъекта рассказать о случившимся в момент, когда оно произошло. Обратим внимание на то, что перед нами случай, обратный той трудности в отношении забытого имени, которую мы с вами только что анализировали. Там субъект потерял способность распоряжаться означающим, здесь же его останавливает странность означаемого. Дело доходит до того, что он бессилен даже дать знать о чувстве, которое при этом испытывает, хотя бы в форме крика о помощи – и это несмотря на то, что рядом человек, более чем кто-либо готовый на этот призыв откликнуться: его любимая няня.

Больше того – если вы позволите мне употребить, ради выразительности, словечко, заимствованное из просторечия, я бы сказал, что он "не возникает"; его описание собственного поведения в этот момент наводит на мысль, что он не просто замирает в неподвижности, а затягивается в какую-то временную воронку, возвратившись из которой он уже не в состоянии сосчитать круги, преодоленные им во время спуска и подъема, тем бо-

лее, что возвращение на поверхность обычного времени никак не зависело от его собственных усилий.

Эта черта немотствующего изумления встречается замечательным образом еще в одном случае, почти точной копии этого, сообщенном Фрейду случайным корреспондентом.[9]

Черта временного провала непременно получит какие-то значимые соответствия.

Мы найдем их в тех формах, в которых происходит припоминание в момент рассказа. Вы знаете, что когда субъект собирался говорить, ему вначале показалось, что он эту историю прежде уже рассказывал, и что эта деталь галлюцинаторного феномена показалась Фрейду достойной отдельного рассмотрения, став впоследствии предметом одной из работ, которые стоят в этом году у нас в программе.[10]

Что касается способа, которым Фрейд эту иллюзию воспоминания объясняет – а объясняет он ее тем фактом, что субъект прежде несколько раз рассказывал ему, как его дядя купил ему по его просьбе карманный нож, в то время как сестра его получила в подарок книгу, – то он будет занимать нас лишь постольку, поскольку в нем подразумевается нечто от функции памяти как экрана.

Другой аспект процесса припоминания сближается, как нам кажется, с идеей, которую мы собираемся высказать. Мы имеем в виду поправку, которую субъект вносит в свой рассказ задним числом: орешник, о котором в этой истории идет речь; орешник, который, знаком нам не хуже, чем ему, когда он упоминает о присутствии его в своем кошмарном сне, представляющем в материале этого случая некоторым образом самый существенный элемент – орешник этот, оказывается, привнесен в его сон извне, из воспоминания о другой галлюцинации, где не себе, а дереву ребенок пускает кровь.

Все это вместе взятое не говорит ли нам о том, что во вневременном характере припоминания просматривается нечто вроде первичного отпечатка того, что, собственно, припоминается?

---

[9] Ср.: "Über fausse reconnaissance (*déjà raconté*) während der psychoanalytishen Arbeit" – G. W., X, S. 116-123; цитата на S. 122.

[10] Имеется в виду только что цитированная статья.

И не обнаруживается ли в этом характере нечто не то чтобы идентичное, а, можно сказать, дополнительное по отношению к тому, что происходит в широко известном явлении *дежа вю*, которое, будучи для психологов камнем преткновения, так и осталось, несмотря на множество предложенных объяснений, неясным и о котором отнюдь не случайно и не от избытка эрудиции напоминает нам Фрейд в статье, которую мы сейчас обсуждаем.

Можно сказать, что чувство *дежа вю* идет навстречу блуждающей галлюцинации, что это не что иное, как воображаемое эхо, возникающее как реакция на элемент реальности, который принадлежит тому пределу ее, где он оказался отторженным от символического.

Это означает, что если под чувством реальности понимать тот “щелчок”, что оповещает о воскрешении – которого столь редко удается добиться – забытого воспоминания, то чувство нереальности и чувство реальности представляют собой одно и то же явление. Если второе воспринимается именно как таковое, то это происходит потому, что оно возникает внутри символического текста, образующего регистр припоминания, тогда как первое откликается на незапамятные формы, проявляющиеся на палимпсесте воображаемоего, когда обрывающийся текст обнажает фундамент реминисценции.

Чтобы сделать из истории Фрейда этот вывод, достаточно выслушать ее до конца, ибо если всякое представление имеет в ней ценность лишь постольку, поскольку оно воспроизводит первичное восприятие, повторение может остановиться на этом последнем разве что в форме мифа. Именно это соображение, отославшее некогда Платона к вечной идее, способствует в наши дни возрождению архетипа. С нашей стороны, мы ограничимся замечанием, что лишь благодаря символическим артикуляциям, сплетающим восприятие со всем остальным миром, принимает оно характер реальности.

Но не менее убедительное чувство испытывает субъект, столкнувшись с символом, который он с самого начала отторг от *Bejahung*. Ибо символ этот отнюдь не вступает от этого в воображаемое. Он образует, говорит нам Фрейд, то, что, собственно говоря, не существует, и в качестве такового он вне-существу-

ет (ek-siste), ибо все существующее существует лишь на фоне предполагаемого отсутствия. Все существующее существует лишь постольку, поскольку не существует он.

Это самое происходит и в нашем примере. Содержание галлюцинации, столь насыщенное здесь символикой, обязано своим появлением в реальном тому, что для субъекта не существует. Ибо все говорит о том, что в своем бессознательном субъект прочно занял воображаемую позицию женщины – позицию, с которой его галлюцинаторное увечье лишается всякого смысла.

В символическом порядке пустые места являются столь же значимыми, сколь и заполненные, и, читая Фрейда сегодня, приходишь к выводу, что именно зияние пустоты и стало первым шагом описанного им здесь диалектического процесса.

Похоже, что именно этим и объясняется упорство, с которым шизофреник пытается сделать этот шаг вновь. Упорство напрасное, ибо все символическое для него реально.

И в этом его отличие от параноика, чьи преобладающие воображаемые структуры мы показали в нашей диссертации; мы имеем в виду ту ретроспективность в циклическом времени, которая столь затрудняет анамнез его расстройств – тех элементарных феноменов, которые являются всего-навсего пред-означающими и которые лишь после долгой и болезненной дискурсивной организации образуют и обустраивают ту вечно неполную вселенную, что именуется бредом.[11]

Этими указаниями, которые еще пригодятся нам в дальнейшем в клинической работе, мы ограничимся здесь, чтобы перейти ко второму примеру, на котором постараемся подтвердить высказанные нами сегодня положения.

Пример этот затрагивает другой вид интерференции символического и реального, и на этот раз субъект не пассивен, а действует. Это, собственно говоря, и есть тот вид реакции, который в технике часто, не определив хорошенько его смысла, именуют "*acting out*". В дальнейшем мы убедимся, что наши сегодняшние соображения позволят придать этому понятию новый смысл.

---

[11] *О параноидальном психозе в его взаимосвязях с личностью.* – Париж, Ле Франсуаз, 1932 г.

Хотя *acting out*, который нам предстоит изучить, имел, на первый взгляд, для субъекта последствия столь же незначительные, сколь и галлюцинация, о которой мы только что говорили, он, будем надеяться, не окажется от этого менее поучительным. И если он не позволяет нам сделать столь же далеко идущих выводов, то объясняется это лишь тем, что автор, у которого мы его заимствуем, не выказывает в нем свойственной Фрейду энергии исследователя и пророческой проницательности, так что, попытавшись извлечь из него более серьезные уроки, мы быстро столкнемся с недостатком материала.

Опубликован этот случай Эрнстом Крисом – автором, все значение которого обусловлено тем, что он входит в триумвират, поставивший своей задачей придать *new deal* в эго-психологии статус до некоторой степени официальный. Более того, он слывет мозгом этого триумвирата.

Нельзя сказать, тем не менее, что он формирует их идеи лучшим образом. Что же касается технических рекомендаций, которые данный пример в статье "*Ego psychology and interpretation in psychoanalytic therapy*"[12] призван проиллюстрировать, то они, с их шатким равновесием, в котором сквозит ностальгия потомственного аналитика, упираются в несколько черно-белых понятий, рассмотрение которых мы отложим до лучших времен, в надежде, что явится рано или поздно простец, который, наивно поддавшись свойственной нормативному анализу самовлюбленности, нанесет ему, наконец, никого в это дело не вмешивая, смертельный удар.

Ну, а мы, в ожидании этого события, рассмотрим случай, который он предлагает нам, чтобы выставить в выгодном свете то изящество, с которым ему удалось с ним, можно сказать, справиться, благодаря тем принципам, умелое применение которых продемонстрировано его решающим вмешательством; среди принципов этих и апеллирование к "собственному я" субъекта, и "поверхностный" подход, и опора на реальность, и *tutti quanti*.

---

[12] Опубликована в "The psychoanalitic quarterly", v. XX, №1, январь.

Итак, к нему обращается субъект, ранее проходивший анализ у другого аналитика. Субъект этот испытывает серьезные неприятности в своей профессиональной деятельности – деятельности интеллектуальной и по характеру своему, надо полагать, не столь уж далекой от нашей. О чем можно заключить из того, что, занимая хорошую академическую должность, анализируемый не сумел продвинуться выше по служебной лестнице в связи с невозможностью опубликовать свои научные работы. Препятствием тому служило ощущаемое им навязчивое побуждение к заимствованию чужих идей, т. е. одержимость плагиатом – точнее, совершением плагиата. В данный момент, уже после первого анализа, который принес ему было некоторое практическое облегчение, жизнь его тяготеет к одному блестящему *scholar*., заимствований у которого он вновь и вновь мучительно пытается избежать. Но как бы то ни было, работа его готова выйти в свет.

Но вот в один прекрасный день он является на сеанс с видом триумфатора. Доказательство у него в руках: он только что видел в библиотеке книгу, в которой все его идеи уже высказаны. Можно уверенно сказать, что он не пользовался этой книгой, так как обнаружил ее недавно. И тем не менее он теперь плагиатор поневоле. Аналитик (женщина) снявшая с него (как выражаемся мы на нашем сленге) первый слой, была права, говоря ему что-то вроде “кто однажды украл, украдет еще раз”, ибо еще подростком он не упускал случая стянуть книжку или сладости.

И тут, вооруженный своими научными познаниями вкупе с решимостью и полный желания позволить нам оценить их по достоинству (боюсь, что оценки наши не будут его желанию полностью соответствовать), Эрнст Крис берет дело в свои руки. Он просит взглянуть на пресловутую книгу. Он прочитывает ее. Он обнаруживает, что на самом деле в ней нет ничего похожего на то, что вычитал в ней субъект. Именно субъект приписал автору книги все то, что он хотел сказать сам.

С этого момента, говорит нам Крис, вопрос встал совсем по-другому. Вскоре обнаруживается, что уважаемый коллега присвоил, уже вторичным образом, идеи субъекта, перекроил их на свой вкус и изложил в своей работе, на него не ссылаясь. И вот эти-то идеи субъект, не признав своего, и опасался у него заимствовать.

Итак, встает заря нового понимания. Но если я скажу, что занимается она от душевной щедрости самого Криса, то это вряд ли ему понравится. С серьезностью, которую пословица приписывает Римскому папе, он мне ответит, что просто-напросто следовал известному великому принципу: начинать решение проблемы с того, что лежит на поверхности. С тем же успехом можно сказать, что он начинает с того, что к делу не относится и что в подходе его к материи столь деликатной, как факт плагиата, проскальзывает некое безотчетное донкихотство.

Придание намерению противоположного смысла, урок которого мы взяли сегодня у Фрейда заново, к чему-то, разумеется, ведет, но совсем не обязательно к объективности. Нет сомнения, что если отвлечь внимание прекрасной души от мировой несправедливости, против которой она бунтует, и указать ей на ту роль, которую она в этой несправедливости играет сама, то это пройдет для нее не без пользы. Но это не значит, что противоположное обязательно будет истинным, и если кто-то обвиняет себя в дурных намерениях, то это еще не дает нам достаточных оснований убеждать его, что он ни в чем не виновен.

И все же перед нами прекрасный случай обратить внимание на то, что если существует по крайней мере один предрассудок, от которого психоанализ должен был бы, по идее, психоаналитика избавить, то это предрассудок интеллектуальной собственности. Человеку, по стопам которого мы сейчас следуем, это помогло бы разглядеть в том, каким образом понимал ее пациент, себя самого.

И коли уж преодолен барьер запрета – скорее воображаемого, нежели реального – не позволяющего аналитику делать заключения на фактическом основании, почему бы не заметить, что само содержание идей, о котором идет здесь тяжба, тоже далеко не безразлично, и игнорировать его значит не покидать области абстракций.

Одним словом, то, как сказывается это внутреннее торможение на призвании субъекта, не следует, наверное, оставлять без внимания – при всем том, что его профессиональные последствия представляются, очевидно, более значительными в обусловленной культурой перспективе *успеха*.

Ибо если в изложении принципов интерпретации, которых держится психоанализ, вернувшийся отныне в лоно *ego-psychology*, я мог отметить у автора некоторую сдержанность, то при комментировании случая он нам никаких поблажек не делает.

Радуясь попутно совпадениям, которые он почитает счастливыми, с формулами почтенного г-на Бибринга, Крис излагает нам свой метод в следующих выражениях: "Речь идет о том, чтобы в течение подготовительного периода (*sic*) установить *patterns* поведения субъекта в прошлом и настоящем (ср. стр. 24). Первым делом следует обратить внимание на отношение к чужим идеям – будь то критика или восхищение, – а затем на отношение этих идей к собственным идеям пациента". Извините, что вынужден следовать тексту шаг за шагом, но мне важно, чтобы относительно мыслей автора никаких сомнений не оставалось. "Когда это проделано, предстоит провести самое детальное сравнение творческой продукции самого пациента с работами его коллег. И только затем искажения, выразившиеся в приписывании другим собственных идей, могут быть проанализированы, а механизм "долга и наличности" сделан сознательным.

Один из блаженной памяти учителей моей юности (чьей мысли, однако, я далеко не до конца оказался верен) однажды очень удачно назвал то, о чем нам здесь говорят, "бухгалтерией". Конечно, в том, чтобы сделать навязчивый симптом сознательным, ничего предосудительного нет, но совсем другое дело состряпать этот символ самому.

С абстрактной точки зрения мне не кажется, что анализ этот – описательный, уточняют нам – принципиально отличается от подхода, которому, насколько это нам известно, следовал первый аналитик этого пациента. Автор ведь не делает секрета из того, что аналитиком этим была мадам Мелитта Шмидеберг, когда цитирует фразу из комментария к этому случаю, который был, по его словам, ею опубликован: "Пациент, который в подростковом возрасте от случая к случаю воровал ... сохранил впоследствии склонность к плагиату... Отсюда, поскольку активность была связана для него с воровством, попытка совершения плагиата в науке, и т. д."

Мы не можем проверить, действительно ли вклад в анализ автора этой фразы ею исчерпывается, так как часть аналитичес-

кой литературы оказалась в наши дни чрезвычайно труднодоступна.[13]

Но зато куда лучше понимаем мы пафос, с которым автор, чей текст мы держим в руках, в заключение провозглашает: "Теперь можно сравнить два типа аналитического подхода".

Ибо по мере того, как он уточняет, в чем состоит его собственный, становится ясно, что анализируя *patterns* поведения субъекта он пытается, собственно говоря, вписать это поведение в *patterns* аналитика.

Разумеется, при этом выясняется и кое-что еще. Так, вырисовываются фигуры отца и деда, создавая ситуацию с тремя персонажами, которая выглядит тем более интересной, что первый из них, похоже, не дотягивал до уровня второго, известного на своей родине как выдающийся ученый. Далее автор изощряется на предмет деда и отца, который был человеком незначительным, – мы бы предпочли, чтобы он получше указал ту роль, которая во всей этой игре принадлежит смерти. Что большие и маленькие рыбы на совместной с отцом рыбалке символизируют классическое "сравнение", занявшее в мире современной ментальности место, принадлежавшее в ушедшие века другим, более галантным – мы в этом не сомневаемся! Но подход ко всему этому выбран, осмелюсь заметить, не слишком удачный.

Единственным доказательством тому с моей стороны послужит обещанный в моем примере состав преступления, т. е. то самое, что демонстрирует нам Крис как свой победный трофей. Полагая, что уже достиг своей цели, он сообщает об этом пациенту. "Интересны только чужие идеи, они единственное, что стоит заимствовать; овладевать ими – вопрос сноровки" (именно так перевожу я слово *engineering*, потому что думаю, что оно перекликается со знаменитым американским *how to* – хотя можно перевести и иначе, скажем: вопрос планирования).

«В этот момент моей интерпретации, – рассказывает Крис, – я ожидал реакции пациента. Пациент молчал, и сама продолжительность этого молчания – уверяет Крис, ибо послед-

[13] Ср.: Мелитта Шмидеберг "Intellektuelle Hemmung und Es-Störung" – Ztschr. f. psa. Päd, VIII, 1934.

ствия у него рассчитаны, – имеет особое значение. Затем, словно пораженный внезапным озарением, он произносит: "Каждый день после сеанса, перед завтраком, прежде чем возвратиться на свою работу в бюро, я захожу на такую-то улицу (улицу, поясняет автор, известную своими маленькими, но изысканными ресторанами) и изучаю меню за стеклами витрин. В одном из ресторанчиков на этой улице я и нахожу обычно мое любимое блюдо – сырые мозги".»

Вот последнее слово его наблюдений. Но живейший интерес, который я испытываю к случаям, когда горы, повинуясь внушению, рождают мышей, удержит, я надеюсь, еще ненадолго ваше внимание, если я попрошу вас рассмотреть со мной вместе данный случай.

Речь всецело идет об индивидуальной особи рода *acting out* – мелковатой, правда, но зато прекрасно сформировавшейся.

Одно то удовольствие, которое она приносит своему акушеру, приводит меня в изумление. Уж не думает ли он, что перед ним неподдельное обнаружение *id*[14], которое его высокому мастерству удалось спровоцировать?

В том, что сделанное субъектом признание вполне может рассматриваться в качестве переноса, не вызывает сомнений, хотя автор и поставил себе задачей – сознательно, что он подчеркивает, – избавить нас от деталей, касающихся – и здесь уже я подчеркиваю – сочленения *между средствами защиты* (демонтаж которых он только что нам продемонстрировал) и *сопротивлением пациента в ходе анализа.*

Но сам акт, как понимать его? Не иначе как внезапное проявление изначально отторгнутых "оральных" отношений, что и объясняет, разумеется, относительную неудачу первого анализа.

То, что отношения эти проявляются здесь в форме акта субъекта, оставшегося совершенно непонятым, не несет для этого последнего никаких преимуществ, но зато наглядно показывает нам, во что упирается анализ сопротивлений, состоящий в том, чтобы во имя анализа защиты атаковать мир (patterns) субъекта с целью реорганизовать его по образцу мира самого аналитика.

---

[14] Общепринятый английский перевод фрейдовского термина *"Es"*.

Я не сомневаюсь, что пациент, в конечном счете, с большим удовольствием сядет на диету свежих мозгов и здесь. Поступив таким образом, он уложится в еще один лишний *pattern* – тот самый, что многие теоретики буквально навязывают процессу анализа, именуя его интроекцией собственного Я аналитика. Надо надеяться, конечно, что и здесь они имеют в виду здоровую его часть. И в этой связи идеи Криса об интеллектуальной продуктивности должны, нам кажется, пользоваться в Америке гарантированным успехом.

Представляется второстепенным вопрос о том, как пойдут у него дела с настоящими мозгами, сырыми, теми, что предварительно подрумянивают в разогретом масле, для чего рекомендуется предварительно снять с них оболочку – операция не из легких. Но все же вопрос это не совсем праздный: представьте себе, скажем, что он обнаружит у себя вкус, не менее утонченно-требовательный, к мальчикам нежного возраста – разве не возникнет при этом, в сущности, то же самое недоразумение? И разве это, так сказать, *acting out*, не окажется для субъекта столь же чуждым?

Это означает, что подходя к сопротивлению собственного Я субъекта в его защите и ставя перед его миром вопросы, на которые он должен был бы дать ответ сам, мы рискуем получить ответы весьма неуместные, чье реальностное достоинство, в области влечений определяемая стоимость, не совпадает с тем, что заявляет о себе в симптомах. И это позволяет нам лучше понять выводы, сделанные Ипполитом при изучении положений, которые были высказаны Фрейдом в работе "*Verneinung*".

СОДЕРЖАНИЕ

По ту сторону психологии

Тупики Микаэля Балинта

Речь в переносе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Научное издание

Жак Лакан

Семинары, Книга I:

Работы Фрейда по технике психоанализа

(1953/54)

Перевод с французского –
Марии Титовой, А. Черноглазова
Координация проекта –
О. Никифоров, журнал "Логос" (Москва)

ИТДК "Гнозис", Издательство "Логос"
Москва, Зубовский бульвар, 17
Тел: 2471757

Подписано в печать 23.10.1997. Формат 60x90/16.
Печать офсетная Тираж 5000 экз.
Заказ № 2830 .
Типография №2 "Наука"
121099 г. Москва, Шубинский пер. 6.


Книга I ◆ Работы Фрейда по технике психоанализа
Livre II ◆ Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse
Livre III ◆ Les psychoses
Livre IV ◆ La relation d'objet
Livre V ◆ Les formations de l'inconscient
Livre VI ◆ Le désir et son interprétation
Livre VII ◆ L'éthique de la psychanalyse
Livre VIII ◆ Le transfert
Livre IX ◆ L'identification
Livre X ◆ L'angoisse
Livre XI ◆ Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse
Livre XII ◆ Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Livre XIII ◆ L'objet de la psychanalyse
Livre XIV ◆ La logique du fantasme
Livre XV ◆ L'acte psychanalytique
Livre XVI ◆ D'un Autre à l'autre
Livre XVII ◆ L'envers de la psychanalyse
Livre XVIII ◆ D'un discours qui ne serait pas du semblant
Livre XIX ◆ …ou pire
Livre XX ◆ Encore
Livre XXI ◆ Les non-dupes errent
Livre XXII ◆ R.S.I.
Livre XXIII ◆ Le sinthome
Livre XXIV ◆ L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourre
Livre XXV ◆ Le moment de conclure
Livre XXVI ◆ La topologie et le temps
Гнозис / Логос
ЖАК ЛАКАН
КНИГА 1
РАБОТЫ ФРЕЙДА ПО ТЕХНИКЕ ПСИХОАНАЛИЗА
(1953/1954) СЕМИНАРЫ
Гнозис / Логос
Jaques Lacan
ЖАК ЛАКАН
СЕМИНАРЫ КНИГА 1
РАБОТЫ ФРЕЙДА ПО ТЕХНИКЕ ПСИХОАНАЛИЗА
(1953/1954)
LE SÉMINAIRE